

А. Сандовский Я. Содома
Т. Колодзейчак Я. Дукаў

ПОЛЬСКАЯ ФАНТАЗИЯ



Век
Дракона







Сканировал и создал книгу - vtmakhankov

2002



**ANDRZEJ SAPKOWSKI
JACEK SOBOTA
TOMASZ KOŁODZEJCZAK
JACEK DUKAJ**

ПОЛЬСКАЯ ФЭНТЕЗИ

А. Сандовский

Я. Содома

Т. Колодзейчак

Я. Дукаў

УДК 821.162.1-312.9

ББК 84 (4Пол)-44

П49

Серия основана в 1996 году

Перевод с польского

Серийное оформление С. Герцевой и А. Кудрявцева

Художник А. Дубовик

Публикуется с разрешения издательства Nowa Publishers и литературного агентства Александра Корженевского.

Подписано в печать 23.08.02. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 10000 экз. Заказ № 1685.

Польская фэнтези: Сб.: Пер. с пол. /А. Сапковский, Я. Собота,
П49 Т. Колодзейчак, Я. Дукай. — М.: ООО «Издательство АСТ»,
2002. — 380, [4] с. — (Век Дракона).

ISBN 5-17-015041-5

Поклонники польской фэнтези!

Вы и вправду верите, что в этом жанре все «началось с Сапковского и им же заканчивается»?

Вы не правы!

Хотите проверить? Пожалуйста!

Перед вами — ПОЛЬСКАЯ ФЭНТЕЗИ как она есть. Повести и рассказы — озорные и ироничные, мрачновато-суровые, философские и поэтичные, ОЧЕНЬ разные — и ОЧЕНЬ талантливые.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

УДК 821.162.1-312.9

ББК 84 (4Пол)-44

© Художник. А. Дубовик, 2002
© ООО «Издательство АСТ», 2002

A. Cankovskuć

СЛУЧАЙ В МИСЧИФ-КРИК



На труп они наткнулись случайно. Он неожиданно глянул на них черными провалами глазниц из-под веток охшего можжевельника, с которым, казалось, составлял иное целое. На первый взгляд именно так оно и было — овно человек и дерево умерли вместе. Одновременно. Будто ослись в момент смерти.

Джесон Ривет вздрогнул.

«Конечно, — мысленно поправился он, — вместе уметь они никак не могли. Дерево почти совсем без веток, лое, уродливое, полуистлевшее, искореженное, расщепленное чуть ли не пополам. Ясно — оно умерло давно, оченьично. Человек, останки которого прибиты к нему, наверня-умер позже. Тоже давно, но позже дерева».

— А чтоб тебя... — начал было Адам Стэутон, но тут умолк.

Дядюшка Уильям сплюнул, наклонившись с седла. Пребородный Мэддокс не пошевелился и не произнес ни слова.

Абирам Торп слез с седла, осторожно подошел, раздвинул можжевельники стволов мушкета. Остановился рядом с Измаилом Сассамоном. Спросил что-то. Индеец ответил. Коротко и гортанно.

Череп, отделенный от скелета, был насажен на сук в добрых шести футах от земли. Под черепом, примерно футом ниже, была прибита грудная клетка; между обросшими мхом ребрами торчали трухлявые деревянные клинья. Одна рука, кошмарно растопырившая пальцы, висела около ключицы. Вторая вместе с тазовыми и берцовыми костями, голенями и массой мелких косточек валялась у корня высохшего дерева.

— Краснокожие, — убежденно сказал констебль Генри Корвин. — Работа дикарей.

— Измаил говорит, что нет, — возразил Абирам Торп. — Верно, Измаил?

— Не могавки, — гортанно проговорил индеец. — Не сенеки. Не могикане. Не ленни-ленапы.

— Он сам-то краснокожий, — фыркнул констебль, — вот и болтает. Ни один христианин так с покойником не обойдется. Я не удивлюсь, если окажется, что несчастного прибили к стволу живьем. Как думаете, мистер Торп? Ведь вы читаете следы не хуже дикаря, извините за сравнение...

— Какие там следы, — буркнул охотник. — Это же древность. Он тут уже не один год висит...

— Во времена войны «Короля Филиппа», — заметил Адам Стaутон, — в лесах хватало трупов, не диво набрести в кустах на скелет. Как по-твоему, Абирам, этот тоже висит где-нибудь с семьдесят пятого?

— Возможно. Мне сдается...

— Надо похоронить останки, — перебил преподобный Мэддокс, явно не интересуясь тем, что сдается трапперу. — Ну, господа, с коней.

— А времени не жаль? — поморщился дядюшка Уильям. — Это ж всего несколько мослов какого-то дикаря, убитого другими дикарями. Пусть...

— Мы — христиане, — хрипло оборвал Джон Мэддокс свойственным ему неприятным и не терпящим возражений тоном. Худой, в высокой шляпе, завернувшись в епанчу пастор напоминал большую черную птицу. «Большую черную ворону, — в которой уже раз подумал Джесон Ривет, — тощую черную ворону на сивом мерине».

Преподобный повернулся в седле и просверлил юношу взглядом, словно исхитрился прочитать его мысли.

— Возьми лошадей, парень. Отведи к ручью и напои. Побыстрее! Ну, шевелись же! Слезайте, господа. Предадим останки земле.

— Не взопреем, — фыркнул плотник Стэутон. — Делов-то всего ничего. Каблуком землю разгости...

Генри Корвин что-то недовольно пробурчал; Джесон Ривет не рассыпал. Он вел коней в котловинку.

От ручья веяло прохладой, пахло шалфеем и прелой корой. Вода была коричневой от торфа, а в местах поглубже, где течение вымыло ямы, казалась черной в тени склонившихся над котловинкой деревьев. У самого берега росли буки, их ветви наверху сплетались, образуя навес. Под буками, за спутавшимся покрывалом терна, расположились сассафрасы, лиственницы и сосны.

На излучине, на глубине под подмытым берегом, выскочила форель, пlesнув не хуже бобра. Джесон Ривет вздрогнул, лошади подняли морды.

— Если кони напились, — долетел сверху голос преподобного Мэддокса, — то веди их сюда, парень. И побыстрее! Двигайся!

«Да перестань ты мною командовать! — подумал Джесон. — Перестань смотреть на меня как на слугу, как на негра, перестань мной распоряжаться, да еще таким тоном, словно ругаешь за лень и неверное выполнение приказов. С меня хватит. И хватит с меня, что дядюшка Уильям допускает это, смотрит равнодушно, а то и вовсе прикидывается, будто не видит и не слышит. Эх, был бы жив отец, уж он бы не позволил, никому б не позволил ничего такого. Даже самому преподобному Джону Мэддоксу».

«Хватит с меня», — мысленно повторял Джесон Ривет, захватывая в кулак вожжи всех шести лошадей сразу. Они послушно пошли, скользя, топая и звеня подковами по камням, — сивый мерин преподобного, гнедая плотника Ставтона, гнедая кобыла Абирама Торпа, серая в яблоках кобылка констебля Корвина, булавый жеребец дядюшки Уильяма и его собственный булавый.

— Ну, парень, — поторопил пастор. — Не тяни!

«Ну, я сыт по горлышко, — подумал Джесон, — сыт и им, и всей этой погоней. Похоже, осточертело не только мне».

— Надо взглянуть правде в глаза, — угрюмо проговорил Адам Ставтон. — Мы больше чем в шестидесяти милях от дома. Корм для лошадей кончается, а достать его будет негде, потому что если здесь в лесах и есть какое-то жилье или ферма, то наверняка нищенские, и ничего мы там не получим. К черту, господа, и долго вы еще собираетесь тянуть? До зимы? Докуда собираетесь дойти, до реки Коннектикут? До Аппалачей? Абирам Торп, черт побери, раскрой рот, повтори, что недавно мне сказал. Кто-нибудь, дьявольщина, должен же наконец сказать!

Опираясь на мушкет Абирам Торп переступил с ноги на ногу, помял в руках украшенную енотовым хвостом шап-

ку. Все знали, что он не любитель трепать языком. Если спрашивали — отвечал кратко, ворчливо, и то не всегда. А если не спрашивали, подавал голос очень редко.

— Мне думается, — пробурчал наконец охотник, кашлянув в кулак, — надо возвращаться. Мы отошли, пожалуй, далековато.

— Далековато! — фыркнул Адам Стaутон. — Ничего себе далековато. Да мы больше чем в шестидесяти милях западнее Уотертауна. Ушли даже дальше, чем капитан Элизар Холиок в тысяча шестьсот тридцать третьем.

— Вы, господа, оба, — преподобный Мэддок вперился в плотника и траппера пронизывающим взглядом, глаза сверкали, словно черные озера, между полями шляпы и немного подпорченной белизной отложного воротничка, — оба вы добровольно взялись участвовать в погоне, никто вас не принуждал. Поэтому меня удивляют ваши слова и ваше неожиданное уныние, мистер Стaутон. Похоже, вы забыли о стоящей перед нами задаче. Закон и правосудие...

— Закон! — снова фыркнул плотник Стaутон. Во всей группе — Джесон Ривет заметил это уже давно — плотник был единственным человеком, которому хватало смелости запросто прерывать преподобного. — Законом лошадей не накормишь, черт побери!

— Берегись! — сказал Генри Корвин. — Поостерегись призывать черта, Адам Стaутон. Он готов явиться в любую минуту.

Плотник опасливо оглянулся, покосился на холмик свежей земли, укрывающей снятый с дерева скелет. Но тут же гордо поднял голову.

— Что до вашей справедливости, — проговорил он, глядя на пастора, — так я и сам уверен, и вас уверяю, что с ней управятся и без нас. Ее лошадь пала тут же за Пена-

куком, не иначе — загнала, вы же видели труп. А прорваться пешом по безлюдью она долго не сможет, потому как хромая она. Так что правосудие ей свершат холод и голод, и за палача будут медведь, волк или краснокожие. Останется от нее не более, чем вон от этого... Белые косточки, дрогала обглоданные. Так что можно возворачиваться домой и с чистой совестью сообщить всему графству...

— Нет! — оборвал его констебль Корвин резко и убедительно. — Я не поверну, пока не схвачу ее. Или не увижу труп. Впрочем, касательно трупа — сомневаюсь. Не забывайте, с кем мы имеем дело. Будь это обыкновенная девка, мы бы ее уже давно поймали. Но она не обыкновенная. Таким, как она, ни голод, ни зверь дикий нипочем. Нипочем, потому как сила в ней бесовская! Забыли, на что был способен Джордж Берроуз из Салема? Хоть внешность у него была никудышная, однако ж в раскинутых руках он мог держать тяжелый мушкет и бочонок патоки неведомо сколько, потому что...

— Какое это имеет отношение к делу? — резко перебил плотник. — А?

— А такое, — фыркнул Генри Корвин, — что не в пример некоторым слабакам я не трус какой-нито. Я при виде всякого мертвеца в штаны не напускаю и не пою, мол, домой хочу.

— Ты ж сам только что чертом пугал, Корвин.

— Я ничего не боюсь!

— И я!

— Успокойтесь, господа, — остановил пререкания хриплый голос Джона Мэддокса. — Примирайтесь. А бояться Бога одного следует. Я так понимаю, констебль Корвин, что вы за продолжение погони?

— Да и впрямь. Хочу видеть девку на виселице и не намерен передоверять казнь ни волкам, ни краснокожим. И я не плотник, скелетов не пугаюсь.

— Мистер Гопвуд?

Дядюшка Уильям передвинул языком жвачку табака за другую щеку, сплюнул на папоротники. Несколько секунд помолчал. Но Джесон Ривет не сомневался в его ответе. И не ошибся.

— А мне — все едино. Как скажете, преподобный. Велите идти — пойду. Велите возвращаться — тоже хорошо. Я — как вы.

— А я, — пастор пронзил плотника взглядом, — я за то, чтобы погоню продолжать. Ибо так велит закон и так велит Писание. И этого было бы довольно даже в том случае, если б я оказался в меньшинстве. Но в меньшинстве-то вы, мистер Стaутон.

— Интересная у вас арифметика, преподобный. И похоже, маленько рановато вы подсчитывать начали.

— Арифметика у меня верная, — холодно ответил пастор. — Господа Корвин и Гопвуд согласны со мной. Стало быть, у нас три голоса против двух. И на том конец голосованию. Не спрашивать же мнение мальчишки. И уж тем более — индейца. Стало быть, идем дальше по следу.

— Нету следов, — проговорил гортанным голосом Измаил Сассамон, словно дух появляясь из чаши.

— Что значит нету? — поморщился Абирам Торп. — И куда же они подевались? Ты как следует смотрел, Измаил?

— Нету следов.

— Следов нету, — после долгого молчания повторил Адам Стaутон. — Так куда же идти? Куда прикажете, преподобный? Куда, констебль? И ты, Измаил? Твоего

индейского мнения тут не спрашивают и с ним не считаются. Но я, черт побери, как раз охотно б его узнал.

Индеец смотрел на него, и лицо у него было словно у вырезанной из дерева куклы.

— Куда, — повторил плотник, даже не пытаясь скрывать насмешки, — прикажешь идти?

— Туда, где тропы. — Лицо Иэмаила Сассамона по-прежнему ничего не выражало. — Топоры слышно. Тут недалеко лесосека.

Отряд молча, даже не дожидаясь команды, оказался в седлах. Иэмаил мчался первым, остальные — за ним с такой скоростью, с какой только можно было ехать в лесу. Вели Абирам Торп, уже готовящий мушкет, и констебль Корвин. Джесон Ривет замыкал группу. Его уже приучили знать свое место.

— Интересно, — ворчал ехавший перед ним Адам Статон, — кто тут шуряет посереди пущи? Чтой-то не слыхал я о поселениях к западу от Уорчестера и плантаций Пенакук.

Уильям Гопвуд не ответил, занятый рассматриванием полок пистолета и аркебузы. Джесон Ривет знал, что дядюшка умеет обращаться с оружием. Впрочем, это знали все. Кстати, только из-за этого дядюшку взяли в отряд. Уильям Гопвуд пользовался, если так можно выразиться, славой убийцы. Все знали, что он с молоду охотился в лесах на пенобскотов, пекуотов и нашуев, ходил на сенеков и могавков, что у него хранится коллекция скальпов. В основном, как утверждали злословы, женских.

Преподобный Мэддокс, встревоженный скрежетом колесцового замка, обернулся в седле. Он тоже знал расхожее мнение о дядюшке. И тоже заметил, как из сонного и безразличного ко всему ленивца Уильям Гопвуд неожиданно превратился в огненноглазого хищника.

— Стрелять, — прошипел он, — только по команде, мистер Гопвуд. По команде, не раньше. Вы поняли?

Они ехали вверх по течению, лавируя меж зарослей сас-сафрасов и сумахов. Вскоре и нетренированный слух Джесона уловил сопровождаемый эхом стук нескольких топоров. А немнога погодя резкий треск и совсем близкий шум и хруст ломающихся веток известили о результатах усилий лесорубов. Через минуту уотертаунский отряд выехал на лесосеку. Заблестели срубленные деревья и щепки. Пахнуло смолой.

Лесорубов было шестеро. Трое обрубали ветви с поваленной сосны. Двое оттаскивали к краю поляны большие пни, ловко управляя двуконной упряжкой низкорослых лохматых лошадок. Третий, тот, что был ближе всех, собирая и складывая ветви в кучи.

Увидев отряд, лесорубы замерли. Джесон заметил, что у них у всех одинаковые светлые волосы и какие-то странные лица.

— Не бойтесь, люди! — возгласил Мэддокс, немного распахнув епанчу, чтобы стала видна серебряная бахрома, оторачивающая отложной воротник. — Мы добрые христиане, сторонники короля, порядка и закона.

Не походило на то, чтобы лесорубы испугались. Их застали врасплох, это верно, но не испугали. Они, несомненно, видели и мушкет, и аркебузу, и пистолеты, однако на их широких — прямо-таки полная луна — лицах не появилось и тени страха. Эти широкие лица — Джесон Ривет уже понял, что странными они казались из-за отсутствия бород и неестественно светлых бровей и ресниц, — не выражали ничего, кроме полного и тупого безразличия.

— Мы христиане и стражи закона, — повторил преподобный, выпрямляясь в седле и осматривая лесосеку. —

Мы прибыли из Уотертауна, что в графстве Миддлсекс. Мы преследуем сбежавшего из тюрьмы преступника, осужденного судом Массачусетской Колонии на Заливе.

— Этот преступник, — добавил констебль Корвин, — женщина. Молодая светловолосая женщина. Вы видели такую?

Лесорубы глядели на него так, словно он был прозрачным. Словно вообще не понимали слов. Словно вообще их не слышали. Тот, что стоял ближе, отвернулся и спокойно, как ни в чем не бывало стал подбирать ветки.

— Вы что, не понимаете? — заорал Корвин. — Или прикидываетесь?

Один из лесорубов, самый высокий, переложил топор из руки в руку, раскрыл рот, несколько раз пошевелил губами, ну совсем как рыба. Потом выдал что-то невнятное. И совершенно невразумительное.

— Голландцы, — убежденно отметил дядюшка Уильям. — Это голландцы. Или немцы.

— Голландцы, — заметил Мэддокс, — обычно говорят по-французски. Вы же знаете французский, мистер Стэутон.

— Какое там знаю, — буркнул плотник. — Едва-едва. Да и сдается, вы голландцев с бельгийцами путаете, преподобный. Однако чего уж там, спробую... Мусье! Бонжур. Ну сом... Ну шерше юн... Девку одну... Фам, значицца. Юн фам, которая из призъон сбегла.*

— Спросите, — вставил пастор, — из какого они поселка?

* Господин! Здравствуйте. Мы есть... Мы ищем... Девку одну... Бабу, значицца. Бабу, которая из тюрьмы сбежала (искаж. фр.). — Здесь и далее примеч. пер.

— Вуле ву? Компри? Парле, кель поселок? Кель...* А, к черту! Не знаю, как сказать...

— Да и не помогло бы, — прервал констебль Корвин, — если б даже знал, Стэутон. Они в этом ни в зуб ногой. И дело не во французском. Они просто кретины. Кретины, и все тут!

Светлые лица лесорубов — Джесон мог бы поклясться — посветлели еще больше, водянисто-голубые глаза на мгновение ожили. Тот, что выше других, снова пощевелил губами, как будто повторял за констеблем знакомое слово. Потом расплылся в улыбке, показав прекрасные белые зубы. Снова издал несколько невнятных и непонятных звуков. А потом отвернулся, взмахнул топором и отрубил от поваленного ствола очередную ветку. Остальные тоже вернулись к своим занятиям, полностью, казалось, забыв о прибывших из Уотертауна добрых христианах и стражах закона.

— Трудно не согласиться с вами, констебль, — кисло проговорил Мэддокс. — Эти люди, несомненно, слабы умом. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»**.

— Первые, кого мы встретили за два дня, — покачал головой Стэутон. — И надо же — тупицы. Им, стало быть, царствие небесное. Им, значицца, счастье, а нам неудача. И что теперь делать? Кого расспрашивать?

Плотник смотрел на Измаила. Индеец молча, с лицом почти таким же безразличным, как у лесорубов, указал на уходящую с лесосеки дорогу, проторенную телегами и копыгами. Абирам Торп чмокнул мышино-серому мерину. Констебль и Мэддокс двинулись следом. Дядюшка освободил замок аркебузы, чтобы не расслаблять пружину.

* Хотите? Понимаете? Говорите, какой поселок? Какой...

** Евангелие от Матфея 5,3.

— Поселок, верно, где-то поблизости, — догадался Джесон, подъезжая ближе к лошади плотника. — Как вы думаете, мистер Стартон?

— А ты что думаешь, парень? Из Бостона они пришли, что ли?

— Не смейтесь. Я просто спросил. Ведь говорили, что к западу от плантаций Пенакук поселений нету.

— Говорили.

— Ну и как?

— Ошибались.

Джесон Ривет наклонился к самой шее лошади, чтобы проехать под низкой веткой сосны.

— Мистер Стартон?

— Ну, что еще?

— Я о том скелете, что к дереву прибит... А теперь вот эти странные лесорубы... Вы не боитесь, что...

— Ну?

— Что это волшебство? Нечистая сила?

— Не пори ерунды, парень.

Речка преградила им путь, но дорога вела прямо к броду, так что они без труда, даже не замочив стремян, перешли речку по песчаному дну. Сразу за бродом лес редел, наезженная дорога сворачивала вдоль опушки. Они выехали на луг, зеленый, залитый солнцем, пахнущий собранным в несколько стогов сеном. Измаил Сассамон остановился, кашлянул, указал рукой: Можно было и не показывать, все уже и без того видели.

Рядом с полуразвалившимся стогом стоял пегий жеребец, запряженный в покрашенную сильно облупившейся зеленью двухколку. Не успел кто-либо из отряда словом, жестом или хотя бы даже мимой проявить удивление, как из стога выскочил, словно напуганный олень, светловолосый,

по пояс голый мужчина. Не теряя ни минуты, он, не оглядываясь, кинулся бежать, ловко перепрыгивая через стерню и кучки соломы; при этом ему вовсе не мешали поддерживаемые обеими руками широкие штаны. И все же штаны то и дело сваливались, и прежде чем беглец достиг темной стены леса, он несколько раз сверкнул белыми ягодицами, резко контрастирующими с загорелой спиной.

— Чтоб меня черти... — завел Адам Стaутон и осекся, видя, как со стога поднимается новая фигура. На сей раз — женщина.

Джесон Ривет сглотнул и раскрыл рот.

Абирам Торп фыркнул, плотник поддержал его, дядюшка захочотал. Преподобный Мэддокс повернулся в седле и обвел их яростным взглядом.

— Будто животные, — процедил он. — Погрязли в похоти и пребывают во грехе, аки скоты. И ничего смешного, мистер Гопвуд. И нечего хохотать, мистер Стaутон. Сие есть не только наглость и распутство, но и нарушение закона. Господин констебль Корвин...

— Лучше, — с нажимом сказал Абирам Торп, становясь серьезным, — сначала выведать. Про дорогу у этой бабы спросить.

— Святые слова, — добавил плотник. — Для начала надо взять языка. Так что не пугайте девку законом и какой, не то и она сбежит.

Однако не походило на то, чтобы женщина намеревалась бежать. Она поднялась с сена, подтянула чулки, надела башмаки. Застегнула платье, прикрыла различные округлости, до последнего момента совершенно отчетливо различимые, от лицезрения которых у Джесона Ривета участилось дыхание. Пареньку показалось, что почаше вроде бы дышат и дядюшка, и плотник Стaутон, и кон-

стебль. Учащеннее. И тем учащеннее, чем ближе подходила женщина. А она подходила, выбирая пальцами травинки из роскошных каштановых волос, доходящих до середины спины.

— Не бойся. — Адам Стэйтон облизнулся. — Мы христиане, мы служим королю и закону.

— А я и не боюсь, — улыбнулась женщина, действительно смело поднимая на наездников зеленые глаза. Тонкое льняное платье плотно облегало ее груди.

Джесон Ривет снова сглотнул и почувствовал, что седло вдруг сделалось неудобным, а штаны тесными.

— Я не боюсь вас, христиане, слуги короля и закона. Если вы и вправду те, за кого себя выдаете.

— Воистину те, — подтвердил Генри Корвин, гордо выпрямляя костлявую фигуру. — А в здешние края привело нас...

— То, что привело нас сюда, — хрипло перебил преподобный Мэддокс, — предназначено для более достойных ушей. И разума, способного сие понять. Прикрой бесстыдную наготу, женщина.

Понадобилось какое-то время, прежде чем темноволосая поняла, что преподобный имеет в виду предплечья, оголенные подвернутыми выше локтей рукавами платья. Она прикрыла их очищенным от сена платком, не спуская с пастора глаз, что, следовало думать, очень злило Мэддокса.

— В Массачусетской Колонии на Заливе, — загримел пастор, поглядывая на женщину как бы не с седла сивого мерина, а с вершины горы Синай, — бесстыдное обнажение преследуется законом. Равно как и разврат. Это я говорю, дабы ты запомнила, чему я, кстати, постараюсь помочь хлыстом, как только побеседую с кем-либо из здешних властей. А теперь укажи нам путь в поселок,

коий, полагаю, находится неподалеку. Укажи дорогу к кому-нибудь, с кем поговорить. С человеком соответствующего положения, должности и, разумеется, пола! Ты понимаешь мои слова, женщина?

— А кто таков, — быстро спросил констебль Корвин, — тот мужчина, который сбежал?

— Мой муж, — спокойно пояснила темноволосая. — Работает на лесосеке. А сбежал потому, что боится посторонних. Он — чужеземец. Швед.

— Как и те, что на поляне, да? Тоже шведы?

— Некоторые. — Женщина мило улыбнулась. — Есть еще голландцы и один норвежец. Вы, как я понимаю, их встретили. И конечно, ничего не узнали. Ну что ж, надо признаться, они слабо владеют нашим языком. К тому же, что скрывать — они люди необразованные...

— Это мы заметили. А поселок тут где?

— Неподалеку, на берегу речки Мисчиф-Крик. Мы и поселок тоже зовем Мисчиф-Крик. А я — Франсез Флауэрс.

— Твое имя нас не интересует, — обрезал Мэддокс. — Веди в поселок, женщина. Я сказал, нам срочно нужен человек серьезный, обладающий разумом.

— Конечно, конечно. — Женщина не улыбнулась, но в ее зеленых глазах, Джесон Ривет дал бы голову на отсечение, заплясали веселые искорки. — Как прикажете, слуги короля и закона. Я, с вашего позволения, поеду впереди, чтобы предупредить о визите соответствующих компетентных особ.

Мэддокс не соблаговолил ответить. Он тронул коня пяткой и направил на хорошо видную, сворачивающую за лес дорогу. Индеец шел рядом. Женщина — Франсез Флауэрс — запрыгнула в двуколку, пронзительно свистнула и щелкнула

поводьями, пегий жеребец рванул дышло и с места пошел рысью, так, что обшарпанная двуколка поскакала за ним, словно пятнистая лягушка.

— Хлестко, — буркнул Абирам Торп, — девка ездит-то...

— В сене, — ослабился Адам Стоутон, — наверное, не слабже.

Дядюшка Уильям хохотнул.

Они ехали вдоль речки, которая сразу за лесом разливалась в ширь. Тут же за разливом, за полями кукурузы и хлеба, меж кленов, вязов и берез забелели черепицы. Домов, насколько можно судить, было около дюжины.

— Как она сказала-то? — бросил констебль Корвин. — Мисчиф-Крик? Никогда не слышал. Речка, несомненно, приток Свифт-ривер, но мне ни разу не доводилось слышать о поселениях к западу от плантаций Пенакук и Иловис-Марш. Раньше, правда, были, но все сгорели в семьдесят пятом, во время войны «Короля Филиппа».

— Тому уж восемнадцать лет, — заметил Абирам Торп. — Строятся люди. Новые земли ищут. Иногда далеко...

— Далеко, — горько подтвердил пастор. — Порой очень далеко. Особенно если имеют к тому повод.

— О чём вы, преподобный?

Мэддокс не ответил.

Они увидели, как мчащаяся прямо-таки по-кавалерийски двуколка притормозила, потом остановилась. Франсез Флауэрс наклонилась и перебросилась парой слов с кем-то, разглядеть кого им мешала кукуруза. Потом свистнула и рысью покатила к поселку.

Они быстро нагнали ее собеседника, которым оказалась девчушка лет, может, двенадцати с корзиной кукурузных

початков. Увидев их, остановилась, подняла голову. Глаза у девочки были такие же зеленые, как у Франсез Флауэрс, волосы тоже — длинные, завитые, выбивающиеся из-под соломенной шляпы локоны.

— И чего эта Франсез болтнула, — сказала она смело, водя глазами от одного наездника к другому. — Какой осел? Одни ж лошади. Никакого осла и нету вовсе. А ты — ты индеец?

Измаил Сассамон слегка кивнул. Мэддокс подогнал коня. Адам Ставтон своего придержал, немного отстал, ехал шагом рядом с девочкой. Генри Корвин сделал так же. И Джесон Ривет тоже.

— А может, — предложил плотник, — взять тебя на седло, мисс?

Девочка подняла голову и раздула ноздри.

— Нет. Большое спасибо. И никакая я не мисс, а Верити Кларк.

— Ха! А я думал, Франсез Флауэрс — твоя мать. Ты на нее похожа.

— Франсез — моя кузина, а никакая не мать. У нее нет детей. Но она старается вовсю. Как только выпадает минута и возможность. Даже когда Арне Леннарт, ее муж, уходит на лесосеку, Франсез ездит к нему на двуколке. И они там делают ребенка.

Плотник кашлянул, замолчал, уставился на гриву коня. Констебль внимательно посматривал на девочку.

— Стало быть, — поморщился он, — того шведа зовут Леннарт. А у твоей кузины фамилия Флауэрс. Что ж это за семья такая?

— А?

— Твоя кузина не носит фамилии мужа.

— А чего ради носить?

Корвин замолчал. Но лишь на минуту.

— А какая фамилия у твоего отца?

— Папа умер.

У речки на усыпанной перьями лужайке паслись гуси. За лужайкой в тени кленов примостилось кладбище, окруженнное низкой каменной оградкой. Могил было много. Это сразу бросалось в глаза.

На самом краю селения, за зелеными оградами, возводили большое строение, уже обозначившееся ажурной ярко-белой клеткой балок и стропил. На строительстве трудились несколько мужчин, до конников долетал стук молотков. Почти из-под самых копыт сивки пастора Мэддокса выпрыгнул рыжий кот и рысью помчался к заборчикам.

— А верно, — вдруг заговорила Верити Кларк, — что в городах есть машины?

— Какие машины?

— Ну, которые сами делают разные вещи. И у которых есть колеса.

— Конный привод? Молотилки? Водяные молоты?

— Ага. И разные повозки, которые ездят по дорогам? Есть?

— Есть.

— Как здорово!

— А как, — преподобный Мэддокс вдруг обернулся в седле и прошил девочку прямо-таки ястребиным взглядом, — чувствует себя Дженет Харгрейвс?

— Кто-кто?

— Дженет Харгрейвс. Ну, та чужая женщина, что недавно... пришла к вам. У которой нога болела. Здорова ли? Или нога все еще болит?

Девочка смотрела на него, широко раскрыв глаза и еще шире рот. «То ли такая хитрая, — подумал Джесон Ри-

вет, — то ли верно ничего не знает, ничего не видела и тонкий маневр преподобного ничего не дал».

Мэддокс, видимо, пришел к такому же выводу, потому что подстегнул коня, перестав обращать на девочку внимание. Верити Кларк громко вздохнула. Она, подпрыгивая и напевая, шла рядом с лошадью Джесона.

Они были уже очень близко к поселку, так близко от строящегося дома, что к стуку молотков присоединилось визгливое пение пил, а ветерок донес резкий запах свежеспиленной сосны. Уже были видны плотники, их было шестеро. Адам Стaутон окинул стройку глазом специалиста.

— Хорошая работа. Хорошо у них дело идет.

— Верно.

Увидев отряд, плотники прервали работу, а Джесон Ривет даже вздохнул от удивления. Если б это не противоречило доводам рассудка, он мог бы поклясться, что перед ними недавно встреченные лесорубы с лесосеки, каким-то чудом переброшенные сюда. Такие же светловолосые, с такими же странными безбровыми лицами без ресниц. Совершенно с такими же безразличными, пустыми глазами, в которых незаметна была какая-нибудь реакция.

— Здравствуйте. Мы приехали из Уотертауна. Мы сторонники короля и закона.

Мэддокс осекся. Он тоже понял, что разговаривать с плотниками бессмысленно.

— С ними, — эвонким голоском подтвердил очевидное Верити Кларк, — не поговоришь. Не бойся их, Адриан ван Рейссел. Они тебя не обидят. Продолжай работу.

— Tot Uw dienst, juffrom.*

* Как прикажете, мадемуазель (гол.).

Проехав между домами, они тут же увидели тех, кто ждал их на одной из террас.

Одну женщину они уже знали — Франсез Флауэрс. То, что вторая, постарше, походила на маленькую Верити, не заметить было невозможно, значит, она, несомненно, мать девочки. Третья женщина была высокая и худая, восковая кожа лица плотно обтягивала череп, а из-под чепца выбивались седые прядки. У четвертой женщины, удивительно красивой, были черные, блестящие как вороново крыло волосы и кроваво-красные губы. Скромный жакет, простая шерстяная юбка и белый фартучек сидели на ней лучше и выглядели эффектней, чем шелка и атласы на жене губернатора Колонии. Но самой удивительной была пятая.

Пятая женщина, сидевшая в кресле-качалке с высокой резной спинкой, была уже в весьма солидных годах. На ней была черная шляпа с пряжкой и короткая пелерина. Глаза — салатного цвета, настолько светлые, что казалось, у них нет радужки, а только темное пятнышко зрачков. Джесон Ривет отметил, что в этих глазах было что-то такое, от чего сразу же хотелось уставиться в пол и признаться в том, что варенье съел ты. От полной женщины исходила властность, авторитет. Но Джесон Ривет не знал такого слова.

— Я встретила их на поляне, бабушка, — пропищала в тишине Верити Кларк. — Это слуги короля и чего-то еще.

— Это мы уже знаем, — сказала Франсез Флауэрс, ехидно улыбнувшись. — Вы, господа, выражали желание поговорить с кем-либо, у кого есть должное положение, авторитет и, разумеется, пол. Ну вот, извольте. Они перед вами.

— Приветствую вас, господа, — сказала полная светлоглазая. Если бы Джесон услышал ее голос за

спиной, то наверняка б решил, что говорит юная девушка. — Приветствую вас в Мисчиф-Крик. Я — Дороти Саттон.

— Что еще за ребячество? — громко проворчал пастор Мэддокс. — Что за шуточки? Где твой муж, женщина?

— Вы не могли не видеть кладбища за поселком. Он лежит там, упокой Господь его душу.

— Я хочу говорить с мужчиной!

— Вы уже разговаривали. — С губ Франсез Флауэрс не сходила ехидная и нагловатая ухмылка. — С лесорубами. И с плотниками, строящими амбар. Вам этого мало?

— Других здесь нет?

— Есть, почему же, — проговорила красивая, черноволосая. — Вот хотя бы этот.

Между домами появился мужчина в подвернутых портках, толкающий тачку с навозом. Проходя мимо, он одарил их глупой улыбкой и немного испуганным взглядом и тут же пошел быстрее. Констебль Корвин тихо ругнулся, плотник Стэйтон фыркнул, дядюшка Уильям сплюнул. Преподобный Мэддокс заскрежетал зубами.

— Значит, здесь нет... — прохрипел он и откашлялся, — нет здесь... других мужчин. Ваших отцов? Братьев? Ни у одной нет мужа?

— Нет, — подтвердила Дороти Саттон. — Так распорядилась судьба, не слишком благоволившая к нам в последнее время. Посему никто, кроме меня, не может приветствовать вас в Мисчиф-Крик, пришельцы из дальних краев. Я, а вместе со мной госпожи Файт Кларк, Аннабел Прентисс и Джемайма Тиндалл.

Взгляд ее светлых глаз явно действовал на пастора, потому что, когда он заговорил, сдерживаемая злоба исчезла из его голоса. Как будто.

— Ну что ж, — пожал он плечами, — похоже, тяжкое испытание ниспоспал вам Господь. Нелегко вам, должно быть, без мужчин.

— Бывают такие минуты.

— Посему послушайте. Я Джон Мэддокс, пастор из Уотертауна в графстве Миддлсекс. Это — господин Генри Корвин, констебль того же графства. И другие господа, состоящие на службе закона. Мы преследуем сбежавшую из тюрьмы преступницу по имени Дженет Харгрейвс. Что вы можете на сей счет сказать?

— Ничего.

— Напоминаю: каждый подданный короля обязан подчиняться и помогать закону. А кто преступника укрывает либо помогает ему, тот карается наравне с оным.

— Мы знаем. В чем, если дозволено спросить, провинилась упомянутая Дженет Харгрейвс?

— В колдовстве.

— Не поняла?

— Дженет Харгрейвс, — в голосе преподобного снова пробились злоба и нетерпение, — ведьма. Она занималась черной магией и была осуждена правомочным решением суда.

— И вы преследуете эту Дженет Харгрейвс от самого Уотертауна? Из-под самого Бостона? За занятия магией?

— Именно. Отвечай на мои вопросы, женщина!

Дороти Саттон долго смотрела на него.

— Мне ничего не известно ни о какой Дженет Харгрейвс, — проговорила она наконец. — Равно как и о других особых, преследуемых за черную магию. Я не могу вам помочь. То есть не могу предложить ничего, кроме гостеприимства, угощения, ежели господа не побрезгуют скром-

ной едой, и ночлега, если вы не слишком привыкли к изысканному комфорту, которого я предоставить не могу.

Адам Стартон, констебль и Абирам Торп охотно слезли с лошадей, дядюшка Уильям последовал их примеру. Преподобный Мэддокс остался в седле, продолжая сверлить женщину взглядом.

— Мы — добрые пуритане, — проговорил он наконец, указывая глазами и пальцем на Франсез Флауэрс. — Мы придерживаемся законов Колонии. А вот ее мы застали за развратом, за бесстыдной распущенностью. Средь бела дня. Не важно, что с мужем. Ибо сказал апостол Павел в послании к Фессалоникийцам: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда»*.

— Однако же, — лицо Дороти Саттон даже не дрогнуло, — тот же самый Павел пишет Коринфянам: «Не уклоняйтесь друг от друга»**. И говорит книга притчей Соломоновых: «Утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасною серною; груди ее да уповают тебя по всякое время; любовию ее услаждайся постоянно»***.

— Умолкни, женщина, — озлился Мэддокс, и лицо его стало волчьим. — Воистину не ведаешь ты ничего худшего, как только извращать слова Божии, произносимые неразумными существами. Воистину отдает мне сие еретичеством, безбожными идеями антиномиан. Особливо же Анны Хатчинсон. Тебе, случайно, не знакомо имя сие: Анна Хатчинсон? А? Ибо что-то ты мне таковую напоминаешь, коей более мужем быть подобает, нежели женою, более пропове-

* Первое послание к Фессалоникийцам 4,3.

** Первое послание к Коринфянам 7,5.

*** Книга притчей Соломоновых 5,18—19.

дующей, нежели внимающей, более властью, нежели власти подчиненной. Надо знать свое место!

— Совершенно согласна с вами, преподобный.

Мэддокс переждал минуту, чтобы не выглядело так, будто он легко поддается, потом слез со своей сивки.

— Мы принимаем твоё приглашение, женщина.

— Мы отведем ваших лошадей в конюшню и позабочимся о них.

— Этим займется индеец. Возьми лошадей, Измаил.

— Измаил, — серьезно повторила Дороти Саттон. — Как точно! Измаил, сын Агари! Ибо сказано: «Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев своих»*.

— Измаил Сассамон — крещеный дикарь, — сухо бросил Мэддокс. — И прирученный. Хотя, сказать по правде, из язычника, как и из зверя дикого, дикость с корнем вырвать невозможно. Измаил с детства каждое утро и вечер слушает в доме моем молитвы, слова Писания и псалмы, то же делает и его родительница. Бояться его не следует.

— Мы вовсе и не боимся. По христианскому обычаю приглашаю войти в горницу. Гость в дом — Бог в дом.

— Да святится имя Его. Сейчас войдем. Только отряхнемся и осмотрим выюки.

Как только женщина скрылась в доме, пастор повернулся к остальным членам отряда. Лицо у него было — как заметил Джесон Ривет — по-прежнему искривленное, злое, но сейчас оно больше напоминало лисью морду, чем волчью. Констебль Корвин тоже это заметил.

— Вы подозреваете...

* Книга Бытия 16,12.

— Подозреваю, — вполголоса отрезал Мэддокс. — Эти чужеземные простаки смахивают на беглецов, по возвращении надо будет дать знать в Хартфорд и Провиденс, послать сообщение даже в Олбани. Что до женщин, от них несет сектантством или вероотступничеством. Безбожными антиномическими идеями бостонских сект, всяческих Хатчинсонов и Дайеров. Либо, что вернее, это квакерские отщепенцы, ибо они, как правило, поселяются на безлюдье. И об этом по возвращении тоже надо будет уведомить губернатора. Ныне, однако, важнее другое — ведьма Харгрейвс. Нельзя исключить, что они лгут и прячут ее здесь. Так что тут надо действовать похитрее. С умом. Послушайте — войдем, будто воспользовавшись приглашением, но кто-нибудь пусть время от времени выходит и как следует смотрит. В дома и овины заглядывает, на окошки внимание обращает, не выгляднет ли где ведьма. А ты, Иэмаил, оставь лошадей в конюшне. А сам давай по поселку покрутись, ищи следы, ведущие от домов к лесу, к стогам или в какое другое укрытие. Ежели кто погоню видит и спрятаться хочет, обычно бежит из села в лес.

— Вам бы, — с нескрываемым восхищением сказал Генри Корвин, — констеблем быть, а не пастором.

— Если же, — не ответив, продолжал Мэддокс, — какая-нибудь из этих женщин, пока мы в горнице будем, выйдет из нее, то пусть кто-нибудь из вас тут же за ней следом пойдет и посмотрит...

— Так она же сразу сообразит, — буркнул Абирам Торп.

— Это-то и надо, чтобы сообразила и испугалась. На воре шапка горит, глядишь, может, ведьма и всполошится, а как попробует бежать, тут ее Иэмаил и схватит.

— Воистину, — повторил Корвин, — вы напрасно просябаете в священниках.

— Иэмаил — в конюшню. Мистер Стэутон, вы с парнем сначала покрутитесь по поселку, поглядите. Но не слишком долго, чтобы вас не заподозрили. И сразу же возвращайтесь.

— Скорее, чем сразу, — проворчал себе под нос плотник. — Из горницы едом несет, аж кишкы скручивает. А тут, понимаешь, тебя на шпионство посылают. Пошли, парень.

На середине разъезженной улицы играли трое детишек, три девочки. Две пытались вырядить собаку в чепец с тесемками. Третья, Верити Кларк, каталась с помощью прутика какую-то странную, состоящую из множества колесиков игрушку. Увидев их, помахала рукой. Адам Стэутон тоже махнул, криво и принужденно улыбаясь.

— Чума на этого Мэддокса, — буркнул он. — Как он представляет себе шпионство? Заглядывать бабам в альковы, что ли, в комоды? А может, под кровати и вочные горшки?

— Преподобный говорил, — слогнул Джесон, — чтобы на окошки посматривать. А вон там, где зеленые ставни, занавеска пошевелилась... Я видел.

— За нами наблюдают.

Конечно, за ними наблюдали, и не только скрытно, из-за занавесок, но и вполне явно, демонстративно. Две девушки, из которых ни одна не могла быть старше Джесона, внимательно глядели на них из-за ограды, и не думая прятаться за растущими там мальвами. Одна была черненькая, другая светленькая. И обе очень даже хороши собой. Джесон почувствовал, что краснеет, и отвернулся. По

другую сторону улицы на украшенной пучками трав террасе сидела на скамеечке молодая, но весьма полная женщина, курившая трубку. Она тоже помахала им рукой, при этом весело улыбнувшись. На этот раз плотник махать в ответ не стал.

— Странные бабы, — буркнул он, — попадаются в тутовых лесных поселках.

— Мистер Стартон?

— Ну чего тебе?

— Пастор говорил, что это анто... мяне...

— Антиномиане. Как Анна Хатчинсон. И Мэри Дайер, которую повесили в Бостоне в шестидесятом году. Обе утверждали, что заветы и заповеди Господни вовсе нет нужды исполнять. Сторонников у них было много, потому что, как ты сам понимаешь, немало людей, которым мила такая свобода, когда каждому дозволено, что и как он пожелает.

— А еще преподобный говорил, — Джесон оглянулся через плечо на веселую женщину с трубкой, — что это могут быть квакеры. Отщепенцы. А если... Мистер Стартон, если...

— Если что?

— Если они — ведьмы? Сплошь одни ведьмы? Поселок ведьм?

— Не будь дураком.

— Мужчины-то те словно заколдованные... Да и скелет в лесу... Мистер Стартон, а? Ведь в Салеме...

— Не будь дураком, сказал. Пошли, возвращаемся. Нет мочи чуять, как та жратва вкусно пахнет.

Девушки из-за ограды с мальвами, черненькая и беленькая, проводили их взглядами. А глаза у них были

блестящие, огненные, настырные. Нахальные. Опасные. Джесон Ривет отвернулся. Но чувствовал, что от их взглядов у него волосы на затылке поднимаются.

Вкусно пахнущая еда оказалась кукурузой с фасолью, поданными в больших тарелках, в сопровождении огромных хлебов с темно-коричневыми, поджаренными корками и кувшинов кленового сока. Джесон и плотник ели быстро и жадно. Констебль Корвин и Абирам Торп, воспользовавшись случаем, за компанию положили себе по второму разу. Дядюшка Уильям отодвинул тарелку и запихал в рот большую щепоть жевательного табака. Преподобный Мэддокс нудно болтал.

Подававшие блюда молодые женщины скрылись из горницы. Вместе с ними исчезла Файт Кларк, мать маленькой Верити. И Франсез Флауэрс. Джесон отогнал вызывавшую румянец на щеках и дрожь в чреслах мысль, что Франсез вернулась на луг к стогу сена. Отогнал настойчивую и даже подробную картинку того, что она там со своим шведом делает.

В горнице остались только светлоглазая Дороти Саттон и с нею женщины — тощага по имени Джемайма Тиндалл и красивая по имени Аннабел Прентисс. Когда Джесон и плотник вошли, преподобный Мэддокс как раз поругивал красивую. Джесон слушал невнимательно. Он был увлечен едой, к тому же слышал пастора раньше, а именно в Пенакуке и Элвэ-Марше, где Мэддокс такой же речью отвечал на выражаемое людьми удивление.

— Я не понимаю тебя, женщина, воистину не понимаю. Если б речь шла об убийце, разбойнике, конокраде или грабителе, никто б не удивлялся преследованию. Если б здесь,

в поселке, вас кто-то ограбил, опозорил, изнасиловав, одну из ваших девочек, вы бы и сами поторопили преследователей и хотели бы, чтобы преступника загнали на самый край света и покарали. А когда мы преследуем ведьму, так вы — надо же! — удивляйтесь, головами крутите, носы кривите, думаете, я не вижу. Колдовство — такое же преступление и даже еще похуже, чем убийство либо воровство или насилиничание. Отцы Пилигримы постановили, что Массачусетская Колония на Заливе будет управляться в соответствии с законами Божиими, а книга Исхода говорит: «Ворожеи...

— ...ворожеи не оставляй в живых»*, — бесстрастно докончила Дороти Саттон, положив на колени пяльцы для вышивания. — Знаем, преподобный, читали. А ежели нас порой что и удивляет, так уж простите, такова наша суэтная и несовершенная женская натура. А посему не отчityвайте нас, а продолжайте рассказ. Мы рады послушать, что случилось в Салеме. Слухи и до нас сюда, в Мисчиф-Крик, доходили, однако ж не дано было нам ни разу послушать людей мудрых и благочестивых.

Мэддокс засопел и выпрямился на скамейке. Он не понимал, насмехается ли над ним светлоглазая или же и верно, проявляет уважение. Наконец остановился на втором.

— В Салеме, в графстве Эссекс, — продолжил он рассказ, — преступные люди и колдуны сговорились с Сатаной. Если б не внимательность людей просвещенных, праведных и богобоязненных, так зло бы оно, ровно проказа, сожрало бы сердца, и рухнули бы церкви... Ночь опустилась бы над миром. А началось все с черной, негри-

* Исход 22,18.

тянки, стало быть, носившей языческое имя Титуба. Воистину верно сказал кто-то, не помню кто, но он был из Нью-Йорка, что из-за этих язычников-негров зло одно нас встречает и встречать будет. Плохо, что они сюда из Африки приползли.

— А и верно. — Дороти Саттон вдела нитку в иглу. — Я тоже слышала, как кто-то, не помню кто и откуда, говорил, будто напрасно мы этих африканцев пригласили и позволили им сюда приплыть.

Констебль Корвин громко кашлянул. *Дядюшка Уильям* пощелкал слюной за щекой, но не сплюнул, остановленный белизной отдраенного пола. Мэддокс некоторое время молчал, сурово глядя на худощавую женщину.

— Что-то от тебя квакерством отдает, женщина, — проговорил он наконец, медленно и раздельно выговаривая слова. — Торговля невольниками вопреки тому, что плетут квакеры, есть равно право и человеческое, и Божие. Священное Писание гласит: «А чтоб и раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас»*. Ересь, что это, мол, деяние злое и грешное, придумали квакеры, и будут за сие осуждены. Но я говорю о неграх и утверждаю, что мы здесь видеть негров не желаем. В Англии хватает людей заблудших, вступивших в конфликт с законом, кои должны за это расплатиться. И не в ямах следует их гноить и, как я слышал, на острова разные безлюдные вывозить, а именно сюда, в Колонию, к нам и в Вирджинию посыпать, и тут трудиться им ко всеобщему благу и приумножению имущества.

— А-а, — покачала головой Джемайма Тиндалл. — Это другое дело.

* Левит 25.44.

— Другое. — Мэддокс продолжал говорить, словно проповедь читал: — Другое, женщина.

— За черных много платить велят. — Дядюшка Уильям сочно щелкнул слюной, но и на этот раз не сплюнул. — А пташки из Ньюгейта были бы задаром...

— Христианин — он всегда христианин, — добавил констебль Корвин. — До негра черт всегда доберется, потому что рождены они в язычестве африканском. Кто меж дьявольского идолопоклонства и колдовства уродился и вопрос, из того дьявола не так-то просто изгнать, даже и святой водой. К примеру, Титуба из Салема.

— Именно, — поддакнула Дороти Саттон, уколов пальцем иглой. — Мы не придерживаемся темы. Вернемся в графство Эссекс, преподобный. В Салем.

— Колдовство и до Салема было, — проворчал молчавший до того Абирам Торп. — Уж годов, почитай, десять тому, как схватили ведьму одну... В самом Бостоне.

— Ведьма Гловер. — Плотник Стартон проглотил ложку фасоли, кивком дав знать, что слышал. — Повесили ее. Чернокнижеством она занималась. Порчу наводила на одного бостонского печника...

— Джона Гудвина. — Оказалось, что больше всего подробностей знал сам преподобный Мэддокс. — Колдунья Гловер истязала чарами печника Джона Гудвина, его жену и деток его при помощи тряпичных куколок, набитых магической материей, в основном козьей шерстью.

— Ах! — чересчур театрально принял ломать руки Аннабел Прентисс. — Надо же! Козьей шерстью! Ужасно!

— Эта Гловер, — прокричал констебль, — была, как выяснилось на следствии, ирландкой и паписткой! Черт все-

гда папистов придерживается. Где папист, там того и гляди — черт. Особенно это касается ихних продажных прелатов. Все зло — от папистов!

— Ну разумеется, — серьезно сказала Дороти Саттон. — Кто бы спорил.

— На необитаемые острова их! — фыркнула Джемайма Тиндалл, но смолкла под взглядом, брошенным на нее поверх пялец.

Дороти Саттон осмотрела иглу, вздохнула:

— Продолжайте, преподобный, продолжайте. Мы внимательно слушаем.

— Сатана не дремлет. — Мэддокс снова превратился в проповедника. — Не устает вводить во искушение. Кто слаб духом и верою, тщеславен либо робок, тот запросто может оказаться в когтях диавольских. Особенно, заметьте, сие женщин касается.

Джемайма Тиндалл и Аннабел Прентисс опустили головы и словно по команде перекрестились. Пастор кивком и сопением выразил одобрение.

— Диавол, — продолжал он, — коий в графство Эссекс, несомненно, с негритянкой Титубой прибыл, нашел в Салеме благодатную почву для своего мерзопакостного семени. И тут же дал о себе знать. В феврале прошлого, то есть тысяча шестьсот девяносто второго, года начался кошмар. Несколько молодых девочек, среди них Элизабет, дочка преподобного Парриса, а с нею Абигайль Уильямс, Анна Патмен, Сара Виббер, Сьюзи Шелдон и Мэри Уолкотт начали проявлять признаки колдовских напастей и одержимости. Говорили без склада и лада, а тела их и лица искали ужасающие конвульсии...

— Господи Иисусе! — На этот раз руки принялась ломать Джемайма Тиндалл — не менее театрально, нежели

до того Аннабел Прентисс. Констебль Корвин не переставал злово глядеть на обеих.

— Против конвульсий не помогли ни клистиры, ни кровопускания, — продолжал Мэддокс, не замечая ничего и, казалось, уже близкий к трансу. — Но девочки признали, кто их околдовывает и истязает. Арестовали и взяли на допрос черную Титубу, и та в сговоре с диаволом призналась и назвала других, в заговор вступивших. Первой — Сару Гуд.

— Сара Гуд! — На сей раз дядюшка Уильям не смог сдержаться и смачно плюнул на пол. Тут же слегка зарумянился и размазал плевок башмаком. — Сара Гуд, — покашливая, начал он оправдываться. — Чертово семя. Самая что ни на есть наихудшая из них, изо всех ведьма. Дома держала дьявольские творения. Собаку, какую-то желтую птицу, что-то косматое и кота по прозвищу Тайллингс. И не кот это был, а истинное чудовище с тигру величиной, людоед с железными когтями. Жуть истинная.

— На метле летала, — ворчливо добавил Абирам Торп. — На шабаши. Вместе с той... ну... Повивальной бабкой из Андовера... Как ее там...

— Марта Каррье, — угрюмо напомнил констебль. — А другую Нурс звали. Ребекка Нурс.

— Мы не придерживаемся темы, — мягко проговорила Дороти Саттон, — постоянно плутаем в отступлениях. Вернемся к Саре Гуд. Так как там было с ней? В чем провинилась? Ну, кроме, разумеется, того, что держала косматого пса и канарейку?

— Сара Гуд, — сухо проговорил Мэддокс, — уперлась, не без диавольской, видать, поддержки, ни в чем не хотела признаваться и выдавать соучастников. К счастью,

одна из вышеназванных девочек, невинная Анна Патмен, показала, кто принуждал ее к диавольским деяниям и кто, как она сама видела, летал на чертовы шабаши, на которых премерзопакостнейшим образом насмехались над таинствами. Молоденькая Анна Патмен...

— Обвинила, кого только могла. — Дороти Саттон подняла пяльцы, осмотрела вышивку. — Особенно тех, кто когда-либо ее обидел.

— Она обвинила виновных. — Мэддокс снова окатил ее холодным взглядом. — Виновных, женщина! Тех из графства Эссекс, кои с диаволом вступили в сговор и колдовскими своими махинациями терзали и преследовали людей, а в мыслях держали свержение христианского порядка и введение правления Сатаны над всем миром. Суд изучил дело и рассмотрел доказательства, а доказательства были неопровергимые. Виновных постигла суровая, но справедливая и заслуженная кара. Джордж Берроуз, Бриджит Бишоп, упомянутая уже Сара Гуд, Ребекка Нерс, Джон Проктор и жена его Элизабет, Джон Уиллард, Марта Каррье и два ее потомка, Джайлз Кори и жена его Марта... были вздернуты на виселицу на Гэллоуз Хилл.

Он замолчал. В тишине был слышен стук молотков на строившемся амбаре. Потом запел петух. Джемайма Тиндалл забавлялась тем, что накручивала на палец ленточку. Красивая Аннабел Прентисс, закинув ногу на ногу, соблазнительно покачивала обутой в шнурованный башмачок ступней. У плотника Стактона, как заметил Джесон Ривет, глаза чуть не вылезли, так плялился он на изящную косточку на неприкрытой части лодыжки.

— В сумме, — прервала тишину Дороти Саттон, — девятнадцать повешенных, двое скончавшихся в тюрьме. И

Джайлз Кори, которого не повесили, а замучили, забили насмерть камнями. И сюда, на безлюдье, тоже доходят вести. Но слабовато там старались, в Салеме-то, слабо и попусту. В Старом Свете один только епископ Бамбергский отправил на костер шестьсот женщин. Кстати, преподобный, а почему вы в Салеме вешали, а не сжигали? Ведь сжигать велит Библия, когда говорит: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают»*. И в другом месте: «собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего»**. «И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов»***.

— Замолкни, женщина, — проворчал пастор. — Верно, пользуемся мы твоим гостеприимством, но трудно вытерпеть, когда тот, кто сам в себе есть сосуд греха, бросается Божиими словами. А знаешь ли ты, что есть грех? Грех же, притом смертный, есть сомнение. И потакание. Ибо в Писании, кое ты здесь, ровно попугай, цитируешь, и так еще сказано: «Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царства, а плевелы — сыны лукавого, враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы»****. Но здесь, на земле, нам, священникам и судьям, должно на свои плечи взваливать бремя сие, мы должны истреблять Зло и изгонять Диавола, ибо, если мы поколеблемся, рухнет Порядок и настанет Хаос!

Дороти, а глядя на нее и остальные женщины схватились за головы, показывая тем самым, что слова преподоб-

* Евангелие от Иоанна 15,6.

** Евангелие от Матфея 13,40.

*** Евангелие от Матфея 13,42.

**** Евангелие от Матфея 13,42.

нога якобы пробрали их до глубины души. Корвин заворчал, но Мэддокс не обратил на это внимания.

— Идет война! — кричал он, наливаясь кровью. — Извечная война! Война с Диаволом, но и с земным врагом тоже! Мы окружены врагами! На севере — французы, на юге — папистские испанцы, извечные враги истинной веры! Как нам одолеть их, ежели недостанет порядка? Не одолеть! Посему тот, кто — как ведьмы — увеличивает непорядок и подрывает порядок, тот действует на грани вреда, это предатель, рука об руку с врагом идущий. А для предателя есть одна лишь кара — смерть! Того требует закон, того желает Бог! А кто способствует предателю и колдуны, тот сам есть разбойник, и смерть ему! По приговору человеческому, или ежели избежит он человеческого, то Божескому! Попспешествующих колдунам Бог покарает, как покарал Ахава! Но мы снисходительности не проявим. Поймаем мерзкую преступницу! И исполняются слова Писания о том, что «псы съедят Иезавель за стеною Изреели»*!

За окном с огромным чувством драматизма заскулила собака. Потом снова надолго наступила тишина.

— Прошу прощения, господа. — Аннабел Прентисс встала, истинно сладострастным жестом огладила на себе одежду. — Обязанности призывают.

Как только она вышла, Мэддокс подал вполне понятный знак Абираму Торпу. Однако не успел еще охотник отставить кубок, как с места сорвался Адам Стэутон. Пастор согласно пожал плечами, Абирам Торп облегченно вздохнул и пододвинул к себе тарелку с кукурузой.

— Мне тоже... — попросил Джесон Ривет, стараясь заглушить громкое бурчание в животе. — Мне тоже надо...

* Третья книга Царств 21,23.

Дороти Саттон материински улыбнулась:
— За дом и налево, мальчик. Не промахнешься.

Через несколько минут Джесон Ривет уже сидел на отдраеной добела доске с дырой и мужественно боролся с реакцией организма на первый за два дня обильный обед, отгоняя мух и посматривая на свет через вырезанное в двери сердечко. «Удивительное селение, — думал он. — Тут даже уборная странная. Вполне может быть заколдованное место. Плотник Стгаутон напрасно подсмеивался надо мной. Интересно, а куда отправился плотник за красивой черноволосой Аннабел Прентисс? Интересно еще, где сейчас находится и что делает Измаил Сассамон? И отыскал ли что-нибудь?»

Первые следы, на которые наткнулся Измаил Сассамон, шли от оград к реке. Индеец слышал разносившийся над водой стук валков. Однако ни одна из прачек не могла быть преследуемой Харгрейвс. Харгрейвс хромала на одну ногу, Измаил уже насмотрелся на ее следы, узнал бы даже носью.

Он свернул за дровяной сарай, вышел к огороду, окруженному подсолнухами. Унюхал дым, быстро установил его источник — пасеку. Две женщины в шлемах и сетках, одна, судя по росту, скорее девочка, собирали мед, окуривая жужжащих над ульями пчел. Измаил несколько раз взглянул на женщин. Больше по необходимости, чтобы удостовериться. Высокая фигурой походила на преследуемую Харгрейвс. Но, тут же отметил индеец, это была не она. Та двигалась иначе.

Он пошел дальше. И за очередной оградкой, у открытых дверей дровяного сарая, столкнулся с Файт Кларк, матерью маленькой Верити.

Он поклонился, низко опустил голову, хотел пройти мимо, не поднимая на женщину глаз. Когда оказался рядом, она схватила его за рукав. Он хотел вырваться, но она не пустила. Индеец оглянулся, испуганный не на шутку.

— Не бойся, — сказала Файт.

«Тебе легко говорить», — подумал Измаил, которого безжалостно, до крови, выпороли два года назад за гораздо более невинный контакт с белой женщиной.

— Никто нас не видит и не выследит. — Женщина,казалось, читала его мысли. — К тому же я просто хотела задать тебе несколько вопросов, библейский Измаил Сассамон. — Первый: ты знаешь, что тебя зовут вовсе не Измаил Сассамон? Не знаешь, — отметила она, поскольку он не только не ответил, но и вообще на его темном грубо отесанном лице не дрогнул ни один мускул. — А из какого ты племени — знаешь? Ответь.

— Пасамакоды.

Посредине дровяного сарая, окруженный щепками и стружками, стоял большой пень для рубки дров. Файт Кларк наклонилась и положила на него несколько предметов. Измаил Сассамон вздрогнул. Внутренне.

Ожерелье из белых и пурпурных раковин. Три связанных вместе орлиных пера. И покомокон — ребристую палицу из твердого дерева.

— Любопытная, — продолжала женщина, внимательно глядя на него, — и в то же время печальная игра судьбы, что именно ты прислуживаешь в качестве гончего пса потомку проститутки из Ист-Энда и проповедника-баптиста,

которых вытащили из тюрьмы в Ньюгейте, силой затолкали на корабль и выслали в Новый Свет. Ибо ты не пассамокуд и зовут тебя не Измаил.

Индеец и теперь не показал и виду.

— Ты не пассамокод, и зовут тебя не Измаил, — певуче повторила Файт Кларк. — Ты из рода Лосей, из племени вампаноагов, а зовут тебя Покумутук, сын Вагунсы, который был сыном Нинигрета. Та, которую ты считаешь матерью, скрыла твое истинное имя и происхождение, утаила их, чтобы никто не узнал, что ты дитя самой Менномини, сестры Метакомета, великого сахема вампаноагов. Да-да, того самого, которого дженгизы* называли Королем Филиппом, предводителем большого восстания в тысяча шестьсот семьдесят пятом. Того, чье имя до сих пор вызывает у дженгизов ужас и ассоциируется с кровью и пожарищами.

Эй эй эй, эй эй,
Эй эй, хо охо эй,
Ате, хэйя ло,
Атэ, хэйя ло...

Он даже не уловил того момента, когда начал покачиваться сам и тихо вторить ей.

— Трепещите, дженгизы! Идут вампаноаги, идут наррагансеки, идут нашуи, идут воины нимпуков и пекуотов. Месть! Мы прольем вашу кровь, дженгизы, утопим вас в море, из-за которого вы пришли, чтобы красть наши землю, убивать и заражать болезнями. Месть! Хороший белый — мертвый белый! Ты помнишь, Покумутук, сын Вагунсы? Тебе было всего шесть лет, но ты должен по-

* так индейцы называли всех бледнолицых.

мнить! Как лилась кровь дженгизов под ножами и томагавками воинов, как они убегали в панике, как пылали их селения! Ты должен помнить, как огонь взвивался над крышами домов Сванзи, Таутона, Миддлфрантика, как горели Брукфилд, Хедли, Тортфилд, Дирфилд, Миддлфилд и Врентам...

Эйя эй эй, эйя эй,
Аке-де, ате ло,
Айя-ку, эйя хо,
Ате эйя хо...

— Пылали, — продолжала женщина, говорившая теперь на языке, который Измаил уже начинал, хоть и с трудом, понимать, — не только их дома. Огонь пожирал их мерзкие английские названия. Перекрашенные дженгизами местности очищались огнем, возрождались, вновь становились тем, чем были: Опеханкануг, Нонатум, Натик, Кискимин, Покопопук, Вапанге, Массапекуа, Муттамуссимсак, Тавакони, Лаповинза...

Эйя эй эй, эйя эй,
Эця эй, ате ло,
Ате, эйе ло,
Ате, эйя хо...

Однако быстро развеялись надежды, победа обернулась поражением, а поражение — бойней. Великого сахема Метакомета, именуемого «Королем Филиппом», предательски убил подкупленный дженгизами регент. Твоего отца, Вагунсу, раненного, дженгизы закололи шпагами на Великих Болотах Окифеноки. Твоей настоящей матери, Меномини, дочери Киниквы, раздробили голову прикладом мушкета. Возьми вампум. Возьми покомокон. Возьми и это.

Измаил Сассамон-Покомтук увидел на пне томагавк. И нож, прекрасный, длинный, острый стальной нож, какими когда-то торговали голландцы под Олбани.

— Хороший дженгиз, — сказала женщина, — мертвый дженгиз.

Эйя эй, эйя эй,
Ате, эейе ло,
Эйя эй, ате хо...

Измаил Сассамон, продолжая плясать, расстегнул и сбросил кафтан. «Шенектади, — лихорадочно думал он, — никакая не Олбани. Не Уорчестер, а Квисингамон, не Бельмонт, Линн и Арлингтон, а Пекуосет, Саутгус и Менотоми. И Шавмут, а не Бостон. К черту Бостон!»

Он разорвал и скинул с себя рубаху. К черту рубаху! К черту ботинки! К черту брюки и шапку!

Ате, хойя ло,
Эйя, эйя эй...

Измаил Сассамон возрождался и очищался, освобождаясь от имен и названий.

Адам Стартон заслонил глаза ладонью, его на мгновение ослепило солнце. И этого мгновения хватило, чтобы Аннабел Прентисс, черноволосая красавица, за которой он следил, растаяла. Просто так вот — растаяла.

Он немного постоял, осматриваясь. Неразговорчивые плотники-чужеземцы исчезли со стройки. Теперь у каркаса будущего амбара поставили длинный стол, вокруг которого возились три женщины. Двух, очень молодых, черненькую и светленькую, он уже видел. Это были де-

вушки, которые так внимательно разглядывали Джесона Ривета, когда тот раньше приходил сюда со Стартоном. На террасе ближнего дома в окружении пучков трав сидела одна из женщин, которых Стартон уже видел — та, в теле, что курила трубку.

Он повернулся. Какое-то мгновение думал, не воротиться ли в горницу? Не для того, чтобы продолжать обед или слушать пастора, а чтобы вздремнуть, привалившись спиной к побеленной стене. Но не вернулся. Из головы не шел вид осиной талии Аннабел Прентисс. И ее призывные ягодицы, форму которых не могла скрыть юбка. Он переступил с ноги на ногу и поправил портки в промежности.

В воротах овина мелькнуло что-то белое. Адам Стартон не заметил, что именно. Но предполагал. Что-то такое, какое-то неодолимое желание, какой-то приказ или нужда заставляли его войти. Подозрения оказались верными. И выяснилось это сразу же, как только глаза привыкли к полумраку.

— Я знала, — сказала Аннабел Прентисс. — Я знала, что ты придешь за мной.

Плотник сглотнул, чувствуя, как краснеет. Женщина рассмеялась — легко, свободно, серебристо. Она стояла, опершись о столб, поддерживающий крышу овина, и соблазнительно наклонившись.

— Но, — она переменила позу на еще более призывную, — стыдиться нечего, милый мой. Дело житейское. Мы, как правило, стремимся к тому, чего желаем, идем за тем, к чему испытываем неодолимое влечение. А ведь ты испытываешь ко мне неодолимое влечение? Признайся.

Плотник не признался. Аннабел Прентисс снова рассмеялась.

— Испытываешь, испытываешь, — заверила она. — Я видела, как ты на меня смотрел. Раздевал меня взглядом. Словно перед судом, где судят за колдовство. А? Мистер страж закона из Уотертауна? Ведь это ж обычная процедура, именно так поступали в Салеме и Андовере, в Медфорте и Линне, так делали в Чарлстоне, то же проделывали перед судами всех других городов и графств Массачусетской Колонии на Заливе. Я не ошибаюсь, ведь верно? Судьи раздеваются девушки догола, скрупулезно отыскивая на ней знак, пятно, знамение Диавола. О, не сомневаюсь, тогда неугасимый священный пыл и страсть поглощают господ судей! Они тщательно осматривают, разглядывают, не пропуская ни уголка, ни складочки, ни морщинки, помогая себе, ежели требуется, пальцем, предварительно послюнив его. И сколь же велика оказывается радость, когда находят! А ведь обязательно что-нибудь да найдется! Ведь верно, господин страж порядка? Ты ведь и сам видел что-то подобное, сам присутствовал при осмотрах.

Прежде чем плотник успел что-нибудь сделать, Аннабел Прентисс быстро расстегнула и сбросила верхнюю одежду. Под ней была тонкая блузка, совершенно не скрывающая форм. Очень привлекательных форм. Стартон с трудом сглотнул. «Уйти отсюда, — подумал он. — Как можно скорее уйти, иначе это плохо кончится. Эта баба — психованная».

— Да, присутствовал, — повторила Аннабел Прентисс. — Ты был свидетелем, когда перед судом графства Миддлсекс раздевали Дженет Харгрейвс. И я прекрасно знаю, что ты тогда думал. Знаю также, что рисовал себе позже, ночью, когда, закрыв глаза, исполнял супружеский долг перед женой, которая за восемь лет брака не позволила

тебе поднять ее платья выше, чем это абсолютно необходимо, и не иначе, как в полной темноте. Поэтому ты поехал с пастором и констеблем, поэтому принял участие в погоне. Правда? Потому что тебе милее и приятнее, чем костлявая жена в покаянной рубашке до пят, грех Онана во тьме бивуака, со стиснутыми веками, под которыми ты неустанно видишь нагую колдуною.

«Выйти, — думал плотник, красный как свекла. — Немедленно уйти отсюда!»

Но он был не в состоянии сделать ни шага. Стоял и таращился. Аннабел Прентисс усмехнулась. И медленно принялась расстегивать блузку.

— Ты думаешь, — угадала она, — что это чары, что я колдовски читаю твои мысли? Мне это ни к чему. Твои мысли банальны, очевидны и прозрачны, как ключевая вода. Я читаю и вижу каждую из них, в том числе и ту, что ты не веришь ни в колдовство, ни в ведьм. Ха! Ты так уверен в себе? Лучше не рискуй, проверь, убедись воочию. И осозаемо. Ну, иди сюда, ко мне. Посмотри. Коснись.

Под уже расстегнутой блузкой был лифчик на украшенных кружевами бретельках. Адам Стaутон никогда не видывал ничего подобного. Но часто воображал.

— Рассмотри меня как следует. — Аннабел Прентисс отвела плечи, и глубоко открытые груди еще сильнее выгляднули из объятий лифчика. — Осмотрим меня всю, дюйм за дюймом. Может, увидишь на мне знак Изверга, клеймо Сатаны? Может, здесь, между двумя обычными сосками, увидишь третий, тот, который на шабашах дают сосать Диаволу. Ну, иди. Загляни. Коснись.

— Ах, ты боишься своего пастора? — угадала она опять, видя, что он не пошевелился и не сделал ни шагу. — Не

бойся. Если пастор спросит, что мы тут делали, скажешь, читали псалмы. И Песнью Песней. Иди ко мне, «Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищ твоих?»*.

Она подошла к нему так легко, что казалось, плывет по ветру, не касаясь ступнями рассыпанной на глинистном полу соломы. Плотник стоял столбом — ни дать ни взять вылитая жена Лота.

— «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; лягута, как преисподняя, ревность»**, и ревность ее непримирима, как Шеол.

Он не упирался и не протестовал, когда она потянула его на кучу сена. От нее шел аромат мыла.

— «Воды великие, — прошептала она, — не могут потушить любви, и реки не зальют ее»***. Сымай штаны, господин мой.

Адам Стартон вжался лицом в ее черные волосы. «Этот молокосос Джесон, — мелькнула у него мысль, — был, пожалуй, прав. Это не обычные женщины, не такие, каких я знал и встречал. Все они пахнут мылом, все, даже маленькая Верити. Все пахнут мылом», — думал он, резкими движениями дрожащих рук разрывая застежки кружевного лифчика. Груди Аннабел Прентисс выскочили из-под ткани, словно две резвые, дерзкие и агрессивные бестии. Адам Стартон застонал и впился в них губами и руками, возможно, слишком сильно и чересчур резко, по-

* Песнь Песней Соломона 1,6.

** Там же 8,6.

*** Там же 8,7.

тому что женщина ударила его по лбу ладонью, успокоила. Сама она была занята пряжкой его ремня и гульфиком штанов, а когда справилась с задачей, когда добралась до сущи и жадно схватила эту суть в кулак, плотник душераздирающе застонал и напрягся. Несколько мгновений ему казалось, что он сам — придаток своего мужского естества, а не наоборот. Он стащил с черноволосой лифчик и блузку, сжал ее, приник губами к соску, твердому, как гуттаперча, гладил, тиская, вторую грудь, задрал другой рукой юбку. И опять он был слишком резким, и Аннабел Прентисс снова успокоила его, на этот раз крепко, по настоящему крепко сжав кулак и то, что в нем держала. Адам Стартон взвыл и поджал колени. Женщина схватила его за плечи, перевернула навзничь — она была сильна и решительна, он, наверное, не смог бы сопротивляться, если бы даже хотел. Усевшись всей тяжестью на его бедрах, она одним движением сорвала с него брюки. И пантерой запрыгнула на него. Плотник завыл еще громче, но ничего не смог сделать, прижатый к сену и заклиненный ляжками женщины и промежностью. Аннабел Прентисс наклонилась и, приоткрыв в улыбке зубы, заглянула ему в глаза. Потом медленно приподнялась, почти до предела, и медленно опустилась. Наклонилась, подарив его рукам то, чего они жаждали. Адам Стартон застонал, но на сей раз только от вожделения и страсти. Движения женщины стали более спокойными, размеренными. Уже можно было не опасаться, что она раздавит то, что он считал самым для себя ценным. В висках и ушах кровь пульсировала и шумела, словно океан.

Вскоре — слишком быстро — все кончилось. Аннабел Прентисс не изменила позы. Только вздохнула, сдула с носа

травинку. Адам Стэутон пожалел, что уже всему конец. И тут же увидел, что сожалеет не только он, но и женщина тоже.

— Ну-ну, — сказала она не без приятного удивления в голосе. — Я в тебе не ошиблась, страж права и порядка. Удачно выбрала. Теперь ты мой. Думаю, ты понимаешь, что — мой?

Адам Стэутон не ответил и ни о чем не спросил. Анна-бел Прентисс вытерла зачесавшийся нос, обеими руками взъерошила черные волосы, уперлась ладонями в плечи плотника, сильнее стиснула его коленями, медленно приподнялась и медленно опустилась — раз, другой, третий, все быстрее и быстрее. Он забыл о Божьем свете. Уже не имело значения ничто. Ни Дженет Харгрейвс, ни погоня, ни преподобный Мэддокс, ни король, ни закон, ни судьи Массачусетской Колонии на Заливе.

Ничто.

Дороти Саттон продолжала вышивать. Джемайма Тиндалл рассматривала паука, спускающегося по паутине с потолочной балки.

— После Салема, — снова взялся за свое преподобный Мэддокс, — эта дьявольская зараза дала о себе знать и в Андовере, и в Чарлстоне, и в Дорчестере, а также в Линне, Медфорде, Роксбери; наконец, спустя год после салемских событий, появилась и у нас, в Уотертауне. Происходили всяческие загадочные явления. У молодых девушек начинались конвульсии и судороги, они в бреду принимались выкрикивать всяческие слова, вызывающие опасение. Несколько женщин пожаловались на то, что у их мужей время от времени наблюдается немощь мужских членов, несомненно, из-за глаза. Вскоре подозрение пало на

Мэри Харгрейвс, матросскую вдову. Ее арестовали и подвергли следствию. Но ведьма ни в чем признаваться не хотела.

— Несмотря на то, — Джемайма Тиндалл оторвала взгляд от паука, — что ее настойчиво уговаривали?

— Побереги сарказм для себя, женщина, — буркнул констебль Корвин. — Хоть это и странно, но ты уже несколько раз доказывала, что неглупа, поэтому нечего дурочку из себя строить. Ты прекрасно знаешь, что пытки во время следствия применять не дозволено. Закон запрещает. Никто, ни в Салеме, ни в Андовере и вообще нигде, колдуний во время следствия не пытал. Не пытали и старуху Харгрейвс.

— И она ни в чем не призналась? Правда?

— Не призналась, — угрюмо согласился Мэддокс. — Но доказательства были неопровергимые. А показания, представленные суду, не вызывали сомнений. Ведьму Харгрейвс закопали другие арестованные колдуньи. Они под присягой показали, что Харгрейвс собственноручно изготавляла из жира, вытопленного из младенцев, мазь для полетов. Что Харгрейвс на шабашах подсовывала им на подпись Черную Дьявольскую Книгу. Что брала у Диавола и давала другим мерзкое, святотатственное причастие — красную облатку и красное вино. Кровь, значит.

— Необыкновенно! После таких показаний Мэри Харгрейвс, конечно, призналась?

— Нет, — смутился констебль. — Не призналась и тогда. Продолжала упорствовать. Лишь позже... Уже после того, как старуха померла в тюрьме, у ее дочери... В общем, когда тщательное изучение обнаружило у Дженет в промежности знак Диавола и когда на нее указали все свидете-

ли, Дженет Харгрейвс признала свою вину. Она, Дженет, как и ее мать, Мэри, тоже была ведьмой.

— Ах! Невероятно!

— Но истинно. Был вынесен приговор: смерть через повешение. Однако не успели его привести в исполнение, как колдунья исчезла из узилища. Неведомым образом, несомненно, воспользовавшись чарами. Под арест взяли часовых, те клянутся, что не знают, что с ними творилось, и что ведьма их околдовала. Это вполне возможно, ибо она красива...

— Дьявольской красотой, — буркнул Мэддокс, — которой подвластен только грешник. Часовые, из-под присмотра коих колдунья сбежала, искупят свой грех. Искупят — и строго, уж об этом я позабочусь.

— Не сомневаюсь, — кивнула Джемайма Тиндалл и встала. — Прошу прощения. Дела, знаете ли...

Пастор взглядом дал знать констеблю, Корвин кивнул.

— Ну конечно, идите, идите, — сказала Дороти Саттон. — А мы тут с преподобным еще немного побеседуем. Мне вот что интересно: вроде бы сам губернатор Колонии, сир Уильям Фиппс...

Генри Корвин не дослушал, торопясь выйти вслед за Джемаймой Тиндалл.

Около стоящегося амбара стоял длинный стол, покрытый скатертью, вокруг него крутились три женщины, расставляя тарелки и блюда. Корвин заметил, что от реки, покончив с омовением, возвращаются мужчины. Человек пятнадцать. Плотники со стройки, лесорубы с лесосеки.

Корвин быстро повернулся. Приглядываясь, он почти забыл о женщинах, за которой должен был следить. Однако

Джемайма Тиндалл не исчезла, а шла медленно, то и дело останавливалась и оглядываясь, как бы проверяя, следует ли за ней констебль. «Хорошо, — зло подумал он. — Хочешь поиграть? Ну что ж, поиграем на пару».

Он последовал за ней, но, сделав несколько шагов, остановился, заслонил глаза ладонью, прикинувшись, будтоглядит на крыши домов и кружащего над ними ястреба. Женщина свернула за угол дома, констебль пошел быстрее, почти побежал. За домом стоял большой овин, он еще успел заметить, как двери качаются на петлях. Чуть подумав, вошел.

Джемайма Тиндалл была там, она стояла в косой, густой от пыли полосе света, падающего через отверстие в потолке.

— Ты сам признал, — резко прервала она неловкое молчание. — Ты сам недавно признал, что я неглупа. Я оценила комплимент, знаю, что дался он тебе нелегко. Так почему ж ты вдруг подумал, что если будешь за мной следить, то я тебя куда-то приведу? Смешно.

— Я вовсе не надеялся на то, — хрипло ответил он, — что ты меня куда-нибудь приведешь.

— На что же ты рассчитываешь?

— Есть иные способы дойти до истины.

— Верно, есть, — согласилась она. — Однако воспользоваться большинством из них, особенно наиболее эффективными, запрещает закон. Ты сам недавно изволил меня этому поучать. Хотя тебе этот запрет не очень-то мешал в Уотертауне. Правда?

— Ты много знаешь, — буркнул констебль. — И верно, много. Похваляешься, стараешься запугать меня, прикидываясь провидицей, ворожейкой или колдуньей. Так знай — пустое это дело.

Джемайма улыбнулась. Улыбка была невеселой. Ее худощавое восковое лицо из-за этого стало походить на череп.

— Знаю, — подтвердила она, — что пустое. Ты не веришь в магию и колдовство. Ты не верил в них, когда лепил обвинение против Мэри Харгрейвс. Ведь ты сфабриковал обвинение на волне идущей из Салема моды. Одних свидетелей подкупил, других запугал, третьи включились самостоятельно, радуясь и ликуя, что могут как-то кому-то навредить. А по сути, разговор-то шел об имуществе старухи. О земле и наличных, которые оставил ей муж.

— Ты, — процедил Корвин, — слишком много знаешь, баба.

— О, я еще больше тебя удивлю. Твоим планам помешал, как ни странно, именно Салем. О Салеме слышали все. И все, в том числе и Мэри Харгрейвс, знали, почему там во время следствия насмерть замучили Джайлза Кори. Чтобы назначить конфискацию имущества, необходимо получить признание в преступлении. Поскольку Джайлз Кори отписал имущество зятьям, находящимся в безопасности далеко в Виргинии, он выдержал пытки и не признался в дурацких обвинениях. Он умер, замученный, но наследственного имущества отнять было невозможно. Недоставало признания в вине.

— Говори. — Корвин приоткрыл зубы в волчьей усмешке. — Продолжай. Я внимательно слушаю.

— Мэри Харгрейвс, хоть и больная, перенесла все, что творили с ней во время следствия. И умерла. Но ты не мог допустить, чтобы повторилась история Джайлза Кори. В отличие от зятьев Джайлза Кори под рукой была наследница Мэри Харгрейвс. Ее дочь Дженет. Значит, можно обвинить и ее. И опять не было недостатка в свидетелях того, что Дженет летала на метле, клялась на Черной Книге, целовала Диавола в анальное отверстие, глотала красную облатку, снова нашлись куклы, набитые козьей шерстью и

утыканные шпильками, отыскалась какая-то богообязненная жена, точно зная, кто виновен в том, что у ее супруга не работает мужской член. И Дженет Харгрейвс подвергли в Уотертаунской тюрьме тем же самым испытаниям, что и ее мать. Ты продолжаешь внимательно слушать?

— Все твое знание, баба, — медленно проговорил констебль, — вопреки тому, в чем ты нагло пытаешься меня убедить, берется вовсе не из твоей колоссальной и сверхъестественной мудрости. Отнюдь нет. Обо всем, что ты знаешь, ты просто слышала. Все это тебе кто-то рассказал. Я не спрашиваю кто, поскольку знаю и без того. Твои признания мне не нужны. Ты мне только скажешь, где этот «кто-то» скрывается.

— Только-то и всего, — усмехнулась Джемайма Тиндалл. — И ничего больше? А как, интересно было бы узнатъ, ты выжмешь из меня такие признания? Применишь те же методы, что и против женщин из Салема и Мэри Харгрейвс? Лишишь сна? Воды? Пообещаешь помиловать? Свяжешь на всю ночь в клубок, пятками к шее, так, чтобы утром кровь ручьями потекла из носа? А может — как Дженет Харгрейвс, — просто раздробишь мне ступню с помощью веревки, скручиваемой палкой? Эх, констебль, констебль, поблагодари своего Бога, что мне нельзя обидеть тебя, причинить прямой вред. А жаль, потому что очень уж хочется это сделать.

Корвин медленно подошел к столбу, снял с крючка моток пеньковых вожжей.

— В отличие от тебя, баба, — сказал он, рывком прорвяя крепость веревки, — у меня есть и возможность, и желание обидеть тебя. А поскольку желание это искреннее и сильное, постольку и обида будет крупной. Ты мне мигом

выложишь все, что знаешь. А если нет, так я тебе суставы переломаю.

— Попробуй.

Он прыгнул к ней, а она сделала лишь один маленький шажок в сторону, приоткрыв небольшую дверцу в задней стене сарая. Там стоял Измаил Сассамон. Констебль едва узнал его.

Генри Корвин был человек смелый. Его не парализовал испуг, а мало кто не поддался бы панике, увидев Измаила Сассамона. Индеец был гол, только бедра ему прикрывала рваная, стянутая в виде пояса рубаха. Лицо от лба до подбородка было зачернено древесным углем, волосы завязаны в кок и украшены орлиным пером, торс покрыт росписью из сажи, глины и красной коры.

Генри Корвин не испугался. Он мгновенно выхватил из-под сюртука пистолет, взвел курок и выстрелил индейцу прямо в лицо. Но Измаил Сассамон был не менее ловок. Он отбил ствол, пуля вонзилась в балку над дверью. В клубах дыма и сыпавшейся с потолка пыли констебль на мгновение потерял ориентацию. И уже не восстановил ее.

Измаил Сассамон саданул его в висок покомоконом. Констебль покачнулся, а индеец добавил еще раз, да так, что хрустнула и вдавилась височная кость. Корвин захрипел, упал, напряженные конечности лихорадочно задергались.

Индеец уселся ему на спину, схватил за косичку. Вытащил из-под пояса нож, стальной нож, какими торговали голландцы из Шенектади. Круговым надрезом прошелся по коже на черепе, надо лбом, ушами и затылком. Он не делал этого никогда в жизни, но все прошло вполне профессионально. Рывок, быстрый плоский надрез по темени, снова резкий рывок. Констебль заорал так, что пыль опять по-

сыпалась из щелей потолка и стен. Измаил резанул его по кадыку. Потом вскочил, потрясая скальпом.

— Хииинни эй эй ээээй хииини!

Джемайма Тиндалл смотрела на все с улыбкой, придающей ее лицу вид черепа.

— Это заколдованный поселок... — простонал Джесон Ривет, не в силах успокоиться после всего, что видел сквозь щель между балками сарайя. — Зачем мы сюда приехали... Это все колдовство...

— Не болтай, — буркнул дядюшка Уильям.

— Не будь дураком, парень, — щелкнул зубами преподобный Мэддокс.

Джесон предупредил их вовремя. Все они теперь уже были снаружи — пастор, Абирам Торп с мушкетом, дядюшка с аркебузой. От домов, с террас за ними наблюдали женщины. Молчаливые. Неподвижные, как столбы на крыльце. За длинным столом около каркаса строящегося амбара сидели мужчины. Они ели молча, медленно работая деревянными ложками. Их ничто не интересовало. В том числе и приближающийся Измаил Сассамон, распевающий, кричащий, размахивающий ножом и томагавком, голый, с зачерненным лицом, измазанный глиной, забрызганный кровью.

— Эй эйя эйя эй эй эй...

— Стой, Измаил! — рявкнул пастор. — Именем Господа приказываю тебе остановиться! Измаил!

— Стреляй, Абирам, — прошипел Уильям Гопвуд, видя, что индеец не только не думает останавливаться, но даже переходит на бег. — Стреляй! Отправь его к дьяволу! К дьяволу отправим красношкурого!

Они одновременно потянули за спусковые крючки. Аркебуз Уильяма Гопвуда зашипела, завоняла и задымила горящим на полке порохом. Мушкет траппера только металлически щелкнул.

— Иис... — застонал Абирам Торп, глядя на пустые щеки губы курка. Кремня не было. Видимо, выпал из-под ослабленного винта. — Господи...

Уильям Гопвуд дрожащей рукой потянулся к пороховнице. Абирам успел лишь схватить мушкет за ствол и завернуть им, собираясь нанести страшный удар по голове нападающего Измаила. Однако индеец ловко поднырнул под приклад, ударом наотмашь вонзил Абираму нож в живот, а когда траппер согнулся пополам, мощным ударом томагавка развалил ему череп.

— Измаил! — заорал Мэддокс. — Очнись, сумасшедший!

Уильям Гопвуд отбросил аркебузу, прицелился из пистолета. Измаил Сассамон закружился и запустил томагавк. Топорик угодил дядюшке Уильяму прямо в руку, державшую оружие, отскочил, ударил в лицо. Дядюшка тяжело осел, а пистолет выстрелил. Пастор странно кашлянул и покачнулся, на белом воротничке расцвело большое кровавое пятно. Тщетно пытаясь ухватиться за столб, преподобный Мэддокс рухнул на ступени. Джесон Ривет съежился под забором.

Измаил Сассамон наклонился над телом Абирама Торпа, схватил его за обрызганные мозгом волосы. Уильям Гопвуд, зажимая текущую с лица кровь, сумел-таки насыпать на полочку аркебузы пороху, отвел курок и всадил в индейца полфунта дроби. Измаил отлетел назад, упал, подняв тучи пыли. Уильям Гопвуд дико и торжествующе зарычал, отбросил аркебузу, выхватил нож, тремя прыжками подско-

чил к упавшему индейцу, вцепился в завязанные в кок волосы, продолжая рычать, резанул над ухом, кровь хлынула на руки и лицо. Увлеченный скальпированием, он заметил нож в руке Измаила только тогда, когда клинок вонзился ему в живот. Индеец резко рванул нож кверху, Уильям Гопвуд дико взвыл, рыгнул кровью. И упал. Измаил поднялся. Джесон Ривет тонко закричал, прижимаясь к земле. Индеец повернул голову, странно наклоняя ее. И увидел парня. Джесон закричал снова.

Индейцу дробью выбило один глаз, раздробило щеку, оторвало ухо, превратило плечи и торс в кровавое месиво из свисающих лохм. И все-таки он твердо держался на ногах. Не спуская с Джесона единственного глаза, он наклонился, схватил дядюшку Уильяма за волосы. Джесон Ривет завыл от ужаса. Измаил Сассамон тряхнул скальпом. Кривя покалеченное лицо, он хотел издать боевой клич вампироагов. Но не успел. За спиной Джесона громыхнуло, и полголовы индейца скрылось в кровавом облаке.

Пастор упал на ступени, дымящийся пистолет вывалился у него из руки. Весь воротник и перед епанчи уже полностью пропитались кровью. Джесон Ривет пополз к нему. Сквозь охвативший его ужас и безнадежность он видел на порогах домов и террасах женщин, неподвижных как статуи, как кариатиды. Видел мужчин за длинным столом, безразличных, медленно действовавших ложками. «Колдовство, — лихорадочно думал он, — черная магия, это ведьмы. И все-таки я был прав, мы приехали сюда на погибель...»

— Преподобный... Это... колдуны...

Джон Мэддокс затрясся как в лихорадке и раскашлялся, оплевывая Джесона кровью. Его глаза — до той поры жутко сверкавшие одними белками — вдруг стали нормальны-

ми — злыми и враждебными. «Сейчас он меня отругает, — подумал Джесон. — Даже умирая, отругает».

Преподобный захрипел.

— Беги отсюда... парень, — едва внятно прошептал он. — Двигай... Не тяни...

Джесон поднялся с колен. Оглянулся. Вытер лицо, размазав на нем кровь пастора. И кинулся бежать. Между домами, за уборную, от которой, как он знал, уже недалеко было до речки, лозняка и леса.

Он не сумел сделать и трех шагов.

Неожиданно почувствовал себя так, словно на каждой ноге висел стофунтовый груз, а на спине — мельничный жернов. Утоптаный грунт внезапно превратился в топкую и тягучую тину, в болото, в котором паренек увяз выше колен. И теперь торчал неподвижный и бессильный, будто насекомое в липком чреве хищной орхидеи.

Страх парализовал его настолько, что он не мог даже кричать.

— Браво, — послышался голос Дороти Саттон. — Очень хорошо, мисс Патиенс Уитни. Отличные чары, мисс Эйлин Блю. Хвалю.

— Я поймала его первой! — воскликнула Патиенс Уитни — та, черненькая — хватая Джесона за рукав. — Оставь его, Эйлин!

— И не подумаю! — тонко крикнула Эйлин Блю — та, светленькая — хватая Джесона за другой рукав. Паренек почти повис, распятый между ними. — Первой его схватила я!

— Аккурат! Отпусти!

— Сама отпусти!

— Спокойнее, спокойнее, девушки, — утихомирила их Дороти Саттон. — Зло вредит красоте. И нечего драться

за добычу, потому что добыча не ваша. Парня получит госпожа Ипатия Харлоу.

— Почему? — разоралась Патиенс Уитни. — Это по какому же праву?

— У нее уже есть один! — пискляво поддержала ее Эйлин Блю. — У нее уже есть Адриан ван Рейссел! Почему же Ипатия...

— Потому, — отрезала Дороти Саттон, — что Ипатии требуется.

— Нам, — завыла Патиенс Уитни, — тоже требуется!

— Вы с вашими потребностями можете подождать, — сухо проговорила Дороти. — Либо удовлетворить их так, как вам, сопливкам, пока ещепростительно, а зрелой женщине — уже нет. И хватит об этом. Ипатия, поди сюда. Как говоривал только что преставившийся пастор Мэддокс, цитируя Левит: «А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас». Вот мы и берем. Возьми себе этого юношу, Ипатия. Я дарю его тебе.

— Благодарю, Дороти.

Отбивающий зубами дробь Джесон Ривет уловил запах мыла, трав и табака. Повернул голову, увидел ту толстую, веселую женщину, которая курила трубку, когда он вместе с плотником Стэутоном ходил по поселку. Увидел ее пухлую руку, пальцы, тянувшиеся к его глазам. Он сжал веки. Понимал прикосновение. В голове блеснуло, в ушах зашумело. Его воля лопнула, разлетелась, будто разбитая фарфоровая статуэтка, а сознание погрузилось в мягкое, теплое и ко всему равнодушное забытье.

— Ты мой, — заявил властный голос. — Пошли.

Отказаться он не мог. Мысль, что с этого момента так будет всегда, была одной из последних сознательных мыслей.

Патиенс и Эйлин глядели угрюмо, фыркая, ворча и бормоча ругательства. Дороти Саттон осмотрелась.

— Надо убрать отсюда эти бренные останки. Джемайма, — сказала она, — где Аннабел?

— Я здесь.

— Ого! Вижу, ты не теряла времени зря. Позаботилась о себе.

— А как же. — Аннабел Прентисс гордо взглянула на пустоглазого Адама Стэутона, послушно, словно пес, следившего за ней. — Хороший мужик, верно? Видный. А темпераментный — ого-го!

— А мы? — снова жалостливо затянула Патиенс Уитни. — А мы когда?

— В следующий раз, — вынесла приговор Дороти Саттон. — Аннабел, а этот страж закона и сторонник короля уже вполне под твоими чарами? Успокоился? Неожиданностей не будет?

— Не будет, — успокоила Аннабел Прентисс.

Но Адам Стэутон показал ей, сколь сильно она ошибается.

Он толкнул ее так, что она с размаху уселась на землю, прямо под ноги Джемайме Тиндалл. А плотник кинулся бежать. Он мчался по середине улицы, вдоль шеренги изумленных женщин. Пролетел мимо мужчин, застывших с ложками в руках, неподвижных за длинным столом, будто на картине. Прямо-таки пародия на «Тайную вечерю».

— Остановить его! — крикнула Дороти Саттон.

Джемайма Тиндалл подняла руки, проделала ими такой жест, словно отталкивала от себя что-то невидимое и одновременно тяжелое. Адам Стэутон упал, пополз по земле в облаке пыли, но тут же вскочил и несколькими

прыжками подлетел к зеленой двуколке Франсез Флауэрс, запрыгнул на козлы, схватил кнут.

— Йаааа-хаааа!

Напуганный криком и ударом кнута по крупу пегий жеребец рванулся вперед, гнавшиеся за плотником женщины аж присели и сжались под градом щебня, вылетающего из-под копыт. Двуколка несколько мгновений неслась за конем, не касаясь земли колесами, потом упала, подскочила на выбоине на сажень. Вцепившись в вожжи Адам Стартон повис в воздухе, казалось, он вот-вот вылетит. Но не вылетел. Он крикнул, еще раз прошелся по пегому жеребцу кнутом, двуколка помчалась к лесу не хуже гоночной квадриги. Плотник Адам Стартон сбежал бы, если б не юная Верити Кларк.

Верити шла по обрезу кукурузного поля, нежно, но крепко прижимая к себе рыжего кота. Кот растопырил лапы и радости не проявлял. Однако мужественно и стойко терпел нежности. А когда двуколка с Адамом Стартоном проносилаась неподалеку от Верити, девочка отпустила кота, направила палец на экипаж и пронзительно крикнула.

Из ступицы колеса дождем посыпались искры, повалил дым и огонь: Гнедой жеребец поднялся на дыбы, дышло и сносная вага с треском сломались, шлея сорвалась. Двуколка взлетела, будто комета с огненным хвостом, и треснулаась о землю, с неописуемым грохотом развалившись в щепы.

— Я так не хотела! — раздался в тишине тонкий и жалобный крик Верити Кларк. — Я хотела вовсе не так! Я хотела только остановить колесико. Простите!

К месту катастрофы направилось несколько женщин. Дороти Саттон, скрестив руки под грудью, подождала, пока они вернутся. Она уже знала, что они скажут.

— К сожалению, — подтвердила ее опасения Франсез Флауэрс, — он мертв. Свернул шею. Жаль.

— Жаль, — по-деловому согласилась Джемайма Тиндалл. — Только он, пастор и парень были достаточно ценным материалом для воспроизведения потомства. Что делать, чему быть, того не миновать. А вот с девочкой следовало бы поговорить. Серьезно поговорить.

— Я это сделаю, — заверила Дороти Саттон и отвернулась к столу, за которым мужчины, утомившиеся бездейственным наблюдением, снова взялись за ложки. Словно ничего не произошло. — Франсез, наведи порядок.

— Да, конечно. Господин Адриан ван Рейссел!

— Tot Uw dienst, juffrouw.

— Прошу, — властно проговорила Франсез Флауэрс, — убрать с дороги остатки двуколки. Прошу поймать коня. Прошу унести отсюда трупы. Прошу отнести их в лес и прибить к деревьям. На обычном расстоянии от поселка. Вы поняли?

— Пойди-ка лучше с ними, Франсез, — посоветовала Дороти Саттон. — Присмотри.

— Хорошо.

— Верити. Поди сюда. Оставь кота и иди сюда, девочка. Быстренько!

— Иду, бабушка!

Они медленно шли между домами. Две женщины. Пожилая, полная, в черной пелерине и черной шляпе с пряжкой, держащая за руку топающую рядом молоденькую в голубом платьице.

— Бабушка, я ведь правда не хотела.

— Помолчи.

На пороге одного из домов стояла Файт Кларк. В обществе молодой женщины со светлыми волосами. Светловолосая поклонилась.

— Уже, — серьезно сказала Дороти Саттон, — нет причин опасаться. Все прошло, тебе ничто не угрожает, Дженет Харгрейвс.

— Спасибо. — Дженет неловко сделала книксен. Было видно, что нога все еще доставляет ей неприятности. — Спасибо. Не знаю, как и отблагодарить...

— Не надо благодарить.

Дженет Харгрейвс присела снова. Молча. Дороти Саттон взглянула на нее. Изучающе. Но доброжелательно.

— Повезло, — наконец серьезно сказала она. — Тебе крупно повезло. Со мной когда-то случилось подобное. В тысяча шестьсот сороковом, когда меня схватили в Риддинге и испытывали водой в Темзе. Мне тоже повезло. Может быть, предопределено, что когда-нибудь и я кого-нибудь спасу, кому-нибудь помогу убежать. Так же, как мне тогда помогла Агнесс Симпсон. Позже мы решим, — добавила она, — что с тобой делать, наша сестра. Вместе решим. Пока у меня кое-что другое в голове. Займись ею, Файт.

— Конечно.

Солнце клонилось к закату, постепенно краснеющий шар уже висел над стеной леса, когда две женщины, старая и молоденькая, наконец взобрались на вершину холма, вздымающегося над поселком в излучине Мисчиф-Крик. Остановились, молча глядя на горизонт.

— Силу, которую дала нам Богиня, — наконец заговорила пожилая чародейка, — мы должны использовать, чтобы помочь, спасать и лечить. С помощью нашей Силы мы должны улучшать мир. Поэтому нам надо распоряжаться своей Силой умело, разумно. А разумно — значит практически и полезно. Силу нельзя расходовать напрасно. Ты понимаешь меня, мисс Верити Кларк?

— Понимаю.

— Так почему же, милая моя, ты постоянно транжиришь Силу на забавы? На непрактичные дела и вещи? На механизмы? Машины? Колеса и колесики?

— Я уже извинилась за двуколку, — надулась юная чародейка. — Я уже сказала, что сожалею и что я не хотела... А вообще-то...

— Что?

— Именно машины и колесики — вещи практические. И экипажи, которые по дорогам ездят. Когда-нибудь придет такое время...

— Взгляни, Верити, — прервала пожилая чародейка. — Взгляни туда и скажи мне, что ты видишь?

— Ну... Леса.

— Вот именно. Леса, только леса, от Кейп-Кода до Луизианы, от Флориды до Канады, ничего больше, только дикая, густая, непрходимая чащоба. Это — Новый Свет. Это — Америка! Здесь нет и никогда не будет дорог, по которым могли бы ездить какие-нибудь экипажи или машины. Здесь, в Америке, у таких вещей, как машины и экипажи, просто нет будущего. Никакого будущего, Верити. Потому мы, чародейки Америки, не имеем права тратить время ни на какие экипажи или машины.

— Но...

— Никаких но. Кончай с механизмами. Ты поняла, милая?

— Поняла.

Над раскинувшимися от Кейп-Кода до Луизианы и от Флориды до Канады лесами висел тонкий серпик луны. Над головами волшебниц беззвучно пронеслась летучая мышь.

— Когда-нибудь, — мягко прервала молчание Дороти Саттон, поглаживая каштановые волосы Верити

Кларк, — когда-нибудь у тебя будут дочери, девочка моя. Дочери, очередное поколение американских чародеек. Очень важно, чтобы Сила, которую ты передашь им в наследство, была силой истинной и полезной. Думаю, ты не хочешь, чтобы единственным, на что будут способны твои дочери, стала поломка двигающихся экипажей? Ведь ты не хочешь этого, правда? Значит, тебе надо учиться. И отделаться от скверных привычек.

— Да, бабушка. Я понимаю.

— Ну, значит, возвращаемся. Я сильно проголодалась.

— О-о, и я тоже!

Они медленно спускались по склону, среди высоких трав. Спускались к поселку, вкусно пахнущему дымами из печей.

— Бабушка...

— Слушаю.

— А когда я вырасту, мы для меня тоже поймаем мужа?

— Конечно.

— А если ни один не придет?

— Всегда кто-нибудь да приходит, Верити. Всегда.

Внизу, между вязами, поблескивая серебром, текла Мис-чиф-Крик.



В ВОРОНКЕ ОТ БОМБЫ



От автора

Наши антологии фантастики уже имеют свои традиции. Первая — написание «антологических рассказов» по принципу «бомбу вверх, бах, трах и ур-ра! Вперед на лихом коне!». Самые прыткие приходят к финишу первыми и получают звание «авангард SF». Менее прыткие отпадают в предварительных заездах либо заваливаются на первых же оксерах... Этим остается лишь набираться сил для разно-сных рецензий на рассказы «авангардистов».

Другая традиция — предварение рассказов авторскими комментариями: писатель рассказывает, откуда взялась идея, что он хотел этим сказать, признается в том да сем. Порой добавляет эпиграф. Эпиграф имеет целью убедить читателя, что автор не только пишет, но порой еще и читает, причем умные вещи, из которых и берет эпиграфы.

Так пусть же и мне дозволено будет предварить рассказ пояснением, к сожалению, несколько длинноватым.

Давно-давно, когда я был еще чертовски красивым молодым брюнетом, вышла в свет и наделала много шума книга

W leiu po bombie © Andrzej Sapkowski, 2000.

© Перевод. Вайсброт Е.П., 2002.

Леопольда Тирманда «Плохой»... Но не о книге пойдет речь, а о маленькой аннотации к ней, помещенной на обложке. Обложка моего экземпляра «Плохого» подверглась, увы, разрушительному влиянию времени и деструктивному воздействию особ, бравших у меня книжку почитать. Особ этих я не перечисляю из-за недостатка места. Однако вернемся к обложке и аннотации. Критик, имя которого выветрилось у меня из памяти вследствие склероза, написал примерно следующее: «Варшава, описанная в «Плохом», не существует и не существовала никогда, так же как никогда не существовал Лондон из «Трехгрошовой оперы».

*Toutes proportions gardées**, я уведомляю, что описанный в предлагаемом рассказе город Сувалки и его понимаемые в широком смысле окрестности не существовали никогда точно так же, как не существовал Лондон из «Трехгрошовой оперы».

Вышеприведенное вступление написано исключительно по той причине, что неприлично было воспользоваться эпиграфом к «Королю Юбу»**, поскольку он столь широко известен, что нет смысла похваляться его знанием.

Одновременно автор извещает, что некоторые совпадения всего со всем и несовпадения ничего ни с чем могли возникнуть абсолютно случайно. На вопрос: «Почему так получилось?», автор отвечает: «Чтобы было веселей».

Для создания песенки «Julie» автор воспользовался некоторыми фразами из «The Way You Look Toningh» Джонатана Кингса из альбома «A Rose in a Fisted Glove».

* Все пропорции соблюdenы (фр.) — в смысле: «истинны ради».

** Речь идет о сатирическом гротеске «Король Юбу, или Поляки!» француза Альфреда Ярри. Король, по словам автора гротеска, «правил в Польше, то есть нигде». Гротеск, написанный для театра марионеток пятнадцатилетним лицеистом, был поставлен в Париже в 1896 году и стал предвестником сюрреалистического театра, а фигура отца Юбу нашла верное отражение в многочисленных диктаторах XX века, начиная от Муссолини и Гитлера и кончая различными деспотами Африки, Азии и Латинской Америки. — Здесь и далее примеч. пер.



Все было так: ранним утром я свалился в воронку от бомбы. Гляжу: Индюк. Сидит, понимаете, себе...

Нет. Не так. Начну по-другому. Необходимо вступление, начало, небольшое пояснение, хотя бы ради того, чтобы вы не подумали, будто падать в воронки от бомб для меня дело привычное, повседневное, чуть ли не ежеутреннее. Нет-нет, это произошло совершенно случайно. В воронку я свалился первый раз. И надеюсь, последний.

Итак, начать следует с того, что тот день — а был это четверг — уже с утра обещал быть неудачным. Промывая под краном глаза холодной водой, я задел макушкой полочку под зеркалом и свалил на пол все, что на ней стояло. Тюбикам, зубным щеткам, расческам и пластиковым баночкам падение, разумеется, не повредило. К несчастью, на полочке стоял еще и стакан со вставной челюстью отца. Стакан, как присуще всем стаканам, разбился вдребезги, а челюсть со страшной силой рухнула под ванну и юркнула в сливной сток в полу. К счастью, сток был забит обмылками и волосами, челюсть увязла

в этом деръме, как в Саргассовом море, и мне удалось ее выудить, прежде чем она исчезла в пучинах городской канализации. Полегчало! Отец без вставной челюсти — представляете себе? У отца нет зубов. Вообще. Чернобыль, сами понимаете.

Я сполоснул челюсть, поглядывая на приоткрытую дверь спальни. Отец вроде бы ничего не услышал. Было семь утра, а в такую рань он обычно спит сном праведника, сладко и крепко. Отец у меня *ausgerechnet** безработный, потому как выгнали его с фабрики пищевых концентратов имени ксендза Скорупки, бывшей Марцелии Новотки. Поводом для увольнения было, как утверждает отец, критическое его отношение к религии и неуважение к священным для истинного поляка ценностям. Однако мои школьные дружки слышали дома, что в действительности-то причиной увольнения был донос. Кстати, соответствовавший истине. Еще при старом режиме отец когда-то участвовал в первомайской демонстрации, да к тому же еще нес флагок. Отцу, как вы догадываетесь, до лампочки эта фабрика, стоявшая на грани банкротства и без конца бастующая. Нам живется не так плохо, потому что мать работает в Германии, за рекой, в *Ostpreussische Anilin und Soda-fabrik***, входящем в состав «Четырех сестер», где она получает в три раза больше, чем отец в своих зачуханных скорупковских концентрахах.

Я быстренько собрал осколки стакана и протер пол мыльной водой, а потом еще раз влажной тряпкой, чтобы согтега

* как нарочно (нем.).

** Восточно-прусское производство анилина и соды (нем.).

tab* не проела линолеум. Мать тоже ничего не заметила, так как холила себя в большой комнате, одновременно рассматривая продолжение сериала «Династия», которое я записал ей предыдущим вечером на видеокассету в литовской версии, потому что не успел прийти, когда давали польский вариант. Мать по-литовски ни бум-бум, но утверждает, что для «Династии» это не имеет никакого значения. Кроме того, литовская версия прерывается рекламой только три раза, да и длится всего-навсего полтора часа.

Я быстро оделся, вначале стрельнув «дисташкой» в свой личный «Сони». Городское тиви передавало «Awake On the Wild Side». Одежду я натягивал, подергиваясь в ритме «Tomorrow», нового, очень популярного шлягера Ивонн Джексон из альбома «Can't Stand the Rain».

— Я пошел, мама! — крикнул я, подходя к двери. — Выхожу, слышишь?

Мама, не глядя на меня, активно помахала рукой с ногтями, покрытыми пурпурным лаком, а Джейми Ли Вергер, играющая Эриэл Каррингтон, одну из внучек старика Блейка, проговорила что-то по-литовски.* Старик Блейк повел глазами и сказал: «Alexis». Вопреки видимости это было не по-литовски.

Я выбежал на улицу, в свежее октябрьское утро. До школы от дома неблизко. Однако времени у меня было в избытке, и я решил преодолеть это расстояние неспешным бегом. *Jogging***, понимаете? Сплошное здоровье и кондитерия. Тем более что городской транспорт обанкротился полгода назад.

В том, что нечто происходит, я убедился немедленно. Да и трудно было не убедиться: с северной стороны города, от

* средство для очистки зубных протезов (англ. фирменное название).

** Бег трусцой (англ.).

Манёвки, неожиданно донеслись звуки канонады, и тут же что-то гукнуло с такой силой, что закачался весь дом, со звоном вылетели две шипки из здания «Морской и колониальной лиги», а на фасаде кинотеатра «Палладиум» залопотали афиши пропагандистского фильма «Пожалей меня, мама», который крутили по утрам. Посещаемость была, можно сказать, никакая.

Через несколько минут рвануло снова, а из-за крыш выскочили в боевом строю четыре раскрашенных в зелено-коричневые пятна Ми-28-«Хавока», дымя ракетами, вылетающими из-под консолей. Вокруг вертолетов, оставляя за собой дымные хвосты, замелькали «стингеры».

«Опять, — подумал я. — Опять начинается».

Тогда я еще не знал, кто, кого и почему бьет. Но выбор был не так уже велик. Ми-28-«Хавок» наверняка принадлежали литовцам из дивизии «Плехавичюс». Наших войск поблизости не было, они сконцентрировались на украинской границе. Из Львова, Винницы и Киева снова этапным порядком выдворяли наших эмиссаров-иезуитов, да и в Умани, говорят, что-то назревало. Получалось, что отпор шаулисам* могла дать только Самооборона или немцы из фрайкорпа**. Правда, это могли быть и американцы из Сто первой воздушно-десантной дивизии, которая базировалась в Гданьске и Кёнигсберге, то есть Крулевце, и оттуда летала поливать напалмом плантации «Макового треугольника» Ковель—Пинск—Бяла Подляска.

* Шаулисы (лит. saulys — стрелок) — литовские солдаты времен гитлеровской оккупации; солдаты воинского подразделения, состоящего из литовцев, связанных с немецкой армией. Здесь просто «солдаты литовской армии».

** Freikorps — добровольческий корпус (нем.).

Не исключено, что это было традиционное нападение на наш местный «Химический банк» либо очередные разборки рэкетиров. Я никогда не слышал, чтобы отечественные рэкетиры из организации «Коза ностра» располагали Ми-28-«Хавок», но исключить это было нельзя. В конце концов, кто-то же ведь украл в Санкт-Петербурге крейсер «Аврора» и уплыл на нем в предрассветный туман. Так почему б не вертолет? Вертолет даже легче стащить, чем крейсер, разве нет?

Ах, какая разница! Я надел наушники и врубил плеер, чтобы послушать «Julie», песенку группы «Jesus and Mary Chain» с нового компакт-диска «Cruising», и врубил полную громкость.

Julie, your smile so warm
 Your cheek so soft
 I feel a glow just thinking of you
 The way you look tonight
 Sends shivers down my spine
 Julie
 You're so fine
 So fine...

В подъезде, мимо которого я пробегал, стоял, держа за руку Мышку, младшую сестренку, мой сосед и дружок Прусак. Я остановился, снял наушники.

— Неј, Прусак. Привет, Мышка.

— Блеррппп, — сказала Мышка и слегка оплевалась, потому что у нее разошлась верхняя губа.

— Привет, Ярек, — сказал Прусак. — В шулю* идешь?

* школа (нем.).

— В нее. А ты — нет?

— Нет. Слышал небось? — Прусак указал рукой в сторону Манёвки и, более широко, на север. — Хрен их знает, что из этого получится. Война, брат, на всю катушку.

— Факт, — ответил я. — Говорят, силу силой выбивают. Who's fighting whom?*

— Keine Ahnung.** Какая разница? Не оставлять же Мышку одну, а?

На третьем этаже дома из раскрытых балконных дверей несся рев, визг, звуки ударов и пискливый плач.

— Новаковский, — пояснил Прусак, следя за моим взглядом. — Жену колотит, потому как она записалась в Свидетели Иеговы.

— «Не будет у тебя других богов перед лицем Моим», — проговорил я, покачав головой.

— Чего-чего?

— Уррппп, — сказала Мышка, сморщив мордашку и прикрыв один глаз, что у Мышки означало улыбку. Я слегка поворотил ее волосики, реденькие и светлые.

Со стороны Манёвки послышались взрывы и лай автоматов.

— Пойду, — сказал Прусак. — Еще надо кухонное окно полосками заклеить, а то, глядишь, снова шипка вылетит. Вуе, Ярек.

— Вуе. Бывай, Мышка.

— Бирррп, — пискнула Мышка и брызнула слюной.

Мышку красавицей не назовешь. Но все любят Мышку. Я тоже. Мышке шесть лет. Ей никогда не будет шестнадцать. Чернобыль, верно догадались. Мать Прусака и Мыш-

* Кто там дерется? (англ.)

** Понятия не имею (нем.).

ки сейчас лежит в роддоме. Всех нас интересует, что у нее родится. Оч-чень интересует.

— Кошка гулящая! — рычал наверху Новаковский. — Жидовская морда! Я у тебя вышибу из башки этот идиотизм, обезьяна рыжая!

Я включил плеер и побежал дальше.

Julie, Julie
 There's nothing for me but to love you
 Hoping it's the kind of love that never dies
 I love the way you look tonight
 Julie
 You're so fine
 You're all that really matters...

На Новом Рынке почти не было народу. Хозяева магазинов запирали двери, опускали металлические жалюзи и решетки. Работал только «Макдоналдс», потому что «Макдоналды» экстерриториальны и неприкосновенны. Как обычно, там сидели и обжирались корреспонденты различных газетных концернов и тишищники всяческих станций.

Был открыт также книжный магазин «Арена», принадлежащий моему знакомому, Томеку Годореку. Я частенько заглядывал к Томеку, покупал из-под прилавка разную контрабанду, самиздаты и литературу, запрещенную Курией. Кроме книжного бизнеса, Томек Годорек занимался изданием пользующегося спросом ежемесячника «Кутила», местной мутации «Плейбоя».

Томек стоял перед магазином и смывал растворителем намалеванную на витрине надпись: «ВЗДЕРНЕМ, ЖИДОВСКАЯ МОРДА».

— Сервус, Томек.

— Сальве, Ярек. Come inside!* Есть «Мастер и Маргарита» издательства «Север» и «Blechtrommel»** Грасса.

— У меня есть и то, и другое. Старые издания. Отец спрятал, когда сжигали. Салман Рушди есть?

— Будет через две недели. Отложить?

— Само собой. Ну привет. Спешу в школу.

— Сегодня аусгерехнет? — Томек указал в сторону Манёвки, откуда слышалась все более интенсивная стрелянина. — Плюнь на школу и возвращайся домой, sonny boy***. Inter arma silent Musae.****

— Audaces fortuna iuvat*****, — неуверенно ответил я.

— Your business*****. — Томек вынул из кармана чистую тряпку, поплевал на нее и протер стекло до блеска. — Bye.

— Bye.

Перед «Гладиусом», квартирой Масонской ложи, рядом с памятником Марии Конопницкой стоял полицейский броневик с установленным на башенке М-60.

На цоколе памятника светилась намалеванная красной краской надпись: UNSERE SZKARA******, а немного пониже:

Эта кляча — наш пророк,
Сать иди на свой порог!

* Заходи (англ.).

** «Жестяной барабан» (нем.).

*** сынок (англ.).

**** Когда говорит оружие, музы молчат (лат.).

***** Смелым помогает Фортуна (лат.).

***** Твое дело (англ.).

***** Наша кляча (нем. + польск.)

Рядом с памятником стоял рекламный щит, а на нем за стеклом — фотография, запечатлевшая разгромленную могилу писательницы на Лычаковском кладбище*.

Julie
You're so fine
So fine...

Я прошел улицу Эугенюша Невядомского, бывшую Нартовича, пробежал вдоль стены бездействующей текстильной фабрики. К стене был прикреплен огромный плакат, метров, наверное, девять на двенадцать, изображающий покойную мать Терезу. На плакате кто-то спреем накатал огромными буквами: ГЕНОВЕФА БЛЯДЬ. Я свернул в улочку, ведущую к Черной Ганке.

И налетел прямо на белокрестов.

Их было человек двадцать, все стрижены наголо, в кожаных куртках, оливковых теннисках, мешковатых брюках того или woodland камо и тяжелых десантных ботинках. Человек пять, вооруженные «узи» и уворованными полицейскими «хекеркохерами», сторожили мотоциклы. Один выводил звезду Давида на стекле витрины бутика Малгоськи Замойской, другой, стоявший посередине улицы, держал на плече музцентр марки «Шарп» и дергался в ритме «Saviour», хита группы «Megadeth» из альбома «Lost in the Vagina»**. И песенка, и запись были запрещены Курией.

Остальные белокресты были заняты вешанием субъекта в лиловой рубашке. Субъект в лиловой рубашке выл, вырывался, дергал связанными за спиной руками, а белокресты ко-

* Кладбище во Львове.

** «Затерявшийся в вагине» (англ.).

лотили его куда попало и волокли к каштану, на ветке которого уже болтаясь элегантная петля из телефонного провода. На тротуаре лежал пластиковый мешок в красно-синюю полоску. Рядом валялись разноцветные блузки, леггинсы, свитеры, многочисленные упаковки колготок, видеокассеты и видеоплеер «Панасоник».

No more lies, no more crap
 I'm fed up
 I'm sick
 With your words slimy and slick
 No more!
 Don't try to save me anymore
 I'm not made in your likenees...

Белокрест с «Шарпом» на плече сделал несколько шагов в мою сторону, загородив мне дорогу. К ляжке у него был пристегнут тонкий нож типа «Survival». Несколько других парней отрезали мне путь к отступлению.

«Прощай, Джулия, — подумал я. — Прощай, плеер. Прощайте, дорогие передние зубы».

— Эй! — неожиданно крикнул один из белокрестов. — Красавчик! Ты, что ли?

Я узнал его, несмотря на обритую голову и цирковой костюм. Это был Мариуш Эдун по прозвищу Лис. Сын гинеколога, одного из самых богатых людей в городе. О старом Эдуне говорили, что он был в Контрольном Совете «Art-B International AG» и что у него есть доля в «Четырех сестрах».

— Оставь его в покое, Менда, — сказал Лис парню с «Шарпом». — Я его знаю, это мой дружок, добрый поляк. Мы вместе в шулю ходили.

Это точно. Какое-то время Лис ходил в школу. Я давал ему списывать. Без особых результатов, впрочем. Лис плохо умел читать.

Тип в лиловой рубахе, которого за ляжки подняли к петле, дико заорал, дернулся, вырвался и упал на тротуар. Окружившие его белокрестья несколько раз пнули и подняли снова.

— Эй! — крикнул один, тот, у которого на шее рядом с «узи» болтался большой белый крест. — Лис! Ты б лучше помог, чем с чудиком-то трепаться.

Этого я не знал. Его называли Большой Гонза, нос у него немного походил на кран умывальника и точно так же блестел.

— Мотай-ка отсюда, Ярек. — Лис почесал подстриженное темечко. — Лучше топай отсюда.

Yeah, prayers and hate
 Nothing but prayers and hate
 Too late
 Black hounds lurking everywhere
 Salivating and drooling
 No more!
 Don't try to save me anymore...

На втором этаже раскрылось окно.

— Тише, там! — крикнул выглянувший оттуда дед с блестящей лысиной. Над ушами торчали два седых кустика, придававшие ему вид филина. — Тише! Тут люди спят. Что за балаган?

— Сгинь, дед! — рыкнул Лис, задирая голову и размахивая «узи». — Ну! Быстро!

— Повежливее, Лис, — успокоил его Большой Гонза, накидывая петлю на шею воющему типу в лиловом. —

А вы, родненький, прикройте оконце и идите телик смотреть, как положено доброму соотечественнику. А ежели нет — так я подымусь к вам и дам как след по жопе. Ясно?

«Филин» сильнее высунулся из окна.

— Что вы там вытворяете, парни? — крикнул он. — Что еще придумали? Линч? Да разве ж так можно? Разве ж можно быть такими жестокими? Это не по-людски! Это не по-христиански! Чего он такого натворил?

— Магазины обкрадывал, вот чего! — рявкнул Большой Гонза. — Ворюга, мать его ети!

— Для этого существует полиция! Городская охрана или органы правосудия...

— Помогите, — завопил по-русски тип в лиловом. — Помогите, ради Бога! Спасите меня! Ради Бога, помогите, господин...

— Ага, — сказал «Филин» и печально кивнул. — Вон оно что, Ага.

И закрыл окно.

— Иди, Ярек, — повторил Лис, вытирая руки о грязные брюки.

Я побежал не оглядываясь. В северной стороне города нарастала канонада. Были слышны глухие выстрелы танковых орудий.

— Нееееет! — долетело до меня сзади.

— Польша для поляков! — рявкнул Большой Гонза. — Наверх его. Boys! Hang him high!*

Я еще слышал, как белокrestы запели «We Shall Overcome».

Julie, Julie
You're so fine...

* Ребята! Подвесьте его повыше! (англ.)

По улице промчался бэтээр, воняя выхлопными газами. На броне было написано белой краской: БОГ, ЧЕСТЬ И РОДИНА. Это означало, что Гражданская оборона бдит и никто нам ничего плохого не сделает. Теоретически.

Я добежал до пересечения улиц Урсулинок и Джималы*. Здесь стоял второй бэтээр. Была еще изящная баррикада из мешков с песком и шлагбаум. Баррикада и шлагбаум помечали границу. То есть: где мы — там шлагбаум, а где шлагбаум — там граница. Баррикаду и шлагбаум охранял взвод добровольцев. Добровольцы, как все добровольцы мира, беспрерывно ругались и беспрерывно курили. Они были из Крестьянской самообороны, что было ясно из надписи на бэтэре: НЕ ТИРЯЙ НАДЁЖЫ!

— Куда, сопляк? — крикнул мне один из охранявших шлагбаум сопляков.

Я не счел нужным отвечать. Если на пути в школу отвечать всем патрульным, баррикадникам, шлагбаумщикам, заградителям и контрольным пропускникам в Сувалках, то охрипнешь навеки. Я побежал дальше, срезав мостик на Черной Ганке.

— Wohin?** — рявкнул из-за немецкой баррикады фрайкампфс, выряженный в бронежилет и вооруженный

* Решением прусского сейма в начале XX века было запрещено полякам возводить жилые строения на вновь приобретенных земельных участках. На этом основании Михалу Джимале, купившему участок у немца, было запрещено построить себе домик в Познанских землях. Тогда Джимала поселился в цирковом домике на колесах, который перевозил с места на место в пределах купленной земли, пока полиция наконец не удалила повозку с участка, рассматривая его размещение как попытку обойти закон. Дело это вызвало широкие отклики в Европе. Умер Джимала в 1937 году.

** Куда? (нем.)

M-16 с подствольным гранатником. За ремешок шлема у него была засунута пачка «Мальборо». — *Halt! Stehenbleiben!**

«*Leck mich am Arsch***, — подумал я, припустив в сторону парка.

Наш прекрасный парк когда-то, по рассказам покойного дедушки, носил имя маршала Пилсудского. Позже, во время Второй мировой войны, это название заменили на «Парк Хорста Весселя», после войны покровителями парка стали «Герои Сталинграда» и оставались таковыми достаточно долго, до тех пор, пока маршал Пилсудский снова не вошел в милость, а его бюст — в парк. Позже пришла Эра Быстрых Перемен. Маршал Пилсудский стал вызывать неприятные ассоциации — он был усат и совершил перевороты, в основном в мае, а времена были уже не те, когда можно терпеть в парках бюсты усатых субъектов, обожающих поднимать вооруженную десницу на законную власть. Независимо от результатов и времен года. Тогда парк переименовали в «Парк Белого Орла», но запротестовали другие национальности, которым в Сувалках было несть числа. Запротестовали горячо. И действительно. Поэтому парк назвали «Садом Святого Духа», но после трехдневной банковской забастовки решили название изменить. Было предложено — «Грюнвальдский парк», но запротестовала Германия. Предложили «Парк Адама Мицкевича», но запротестовали литовцы, ссылаясь на написание имени и фамилии, а также словосочетание «польский поэт». Предложили «Парк Дружбы», но тут запротестовали все. В результате парк окрестили именем короля

* Стоп! Стоять! (нем.)

** Поцелуй меня в зад (иди к черту) (нем.).

Яна III Собеского*, так оно и осталось, скорее всего потому, что процент турок в Сувалках ничтожен, а пробивная сила у турецкого лобби невелика. Владелец же ресторана «*Istanbul cebab*» Мустафа Баскар Юсуф Оглу и его персонал могли бастовать хоть до морковкина заговенья.

Все это совершенно не волновало сувальскую молодежь, и она по-прежнему говорила «наш бивак» или «наш лесунчик-потрахунчик». А тем, которых удивляет свистопляска с названиями, советую вспомнить, сколько было крика, споров и хлопот, прежде чем улица Сельская в Варшаве превратилась в улицу Сезамскую. Помните?

Улица Джималы кончалась на линии Черной Ганки, дальше она уже именовалась *Bismark-Strasse***, а мне надо было свернуть за давно бездействующий Дом культуры, пробежать по парковой аллейке, пересечь *Adenauer Platz**** и попасть на задворки школьного здания. Но я задумался, не заметил, что Дома культуры уже вообще нет, попал в тучи пыли и дыма и свалился в воронку от бомбы.

По невнимательности.

Гляжу — Индюк.

Сидит себе, понимаете, скучился, прижался к самому краю воронки и прислушивается, как трещат и гудят два боевых «Апача», кружящие над стадионом «*Ostmark Sportverein*»****, бывшим СК «Голгофа». Я подполз тихонечко, ровный гул тяжелых десантных ботинок заглушил скрип гравия. Подполз к парню и неожиданно для него рявкнул, одновременно хлопнув по плечу:

* Ян III Собеский в 1673 году разгромил турок под Хочимом.

** Улица Бисмарка (нем.).

*** Площадь Аденауэра (нем.).

**** Спортивный союз Остмарк (нем.).

— Привет, Индюк!

— О, Иисуусе! — взвыл Индюк и скатился на дно воронки.

Он лежал там и дрожал, не в состоянии слова вымолвить и укоризненно глядя на меня. Тут я понял, что вел себя очень даже глупо. Знаете ведь, как это бывает — от неожиданности он мог в штаны наложить!

Я вскарабкался наверх, осторожно высунул голову над краем воронки и огляделся. Неподалеку сквозь кусты просвечивал бетонный «бункер» паркового сортира, покрытый граффити и оспинами от пуль, оставшихся еще от прежних боев. Не было видно никого, но оба «Апача» обстреливали восточный край парка, откуда все явственнее доносились автоматные очереди и глухие разрывы ручных гранат.

Индюк перестал осуждающе глядеть на меня. Несколько раз назвал меня довольно неприятно, приписав активный комплекс Эдипа и пассивный гомосексуализм, затем подполз и тоже высунулся из воронки.

— Ты что тут делаешь, Индюк? — спросил я.

— Свалился, — ответил он. — Еще утром.

— В школу опоздаем.

— Точно.

— Так, может, вылезем?

— Иди первым.

— Нет, ты иди первым.

И тут началось.

Край парка расцвёл серией ослепительных оранжевых вспышек. Мы тут же нырнули на дно, в путаницу кабелей, которые выползали из разбитого телефонного коллектора, словно кишки из вспоротого брюха. Весь парк затрясся от детонаций — одной, второй, третьей. А потом заговорило

стрелковое оружие, завыли снаряды и осколки. Мы слышали крики наступающих.

— Lietuviuva!*

И сразу после этого — гул взрывающихся Handgranat**, треск М-60 и лай АК-74, очень близко.

— Lietuviuva!

— Твои, — прощелкал я зубами, вжавшись в обломки на дне воронки. — Дивизия «Плехавичюс». Твои соплеменники, Индюк, штурмуют наш парк. Ты считаешь — это порядок?

Индюк некрасиво выругался и уставился на меня дурным глазом. Я захочотал. Черт, уже год прошел, а меня не перестает смешить эта забавная история.

Дело, понимаете, выглядело так: года два назад возникла мода на — как это окрестили — истоки. Корни. Значительная часть населения Сувалок и окрестностей, в том числе и родители Индюка, неожиданно восчувствовали себя литовцами с дедов-прадедов, такими, которые вместе с Свидригайло ходили на Рагнету и Новое Ковно, а с Кайстутисом переправлялись через Неман, совершая набеги на тевтонцев. В заявлениях, которые просители направляли в Союз патриотов левобережной Литвы и Жмути, они без конца декларировали трогательную любовь к берегам речки Вилейки, полям, расцвеченным разнообразнейшими злаками и вообще хлебами, к пылающим клеверам и к Остробрамской Божьей Матери***, а также не менее трогательно интересовались, стоит ли все еще «Большой Баублис»**** там, где

* Литваа! (лит.)

** Ручные гранаты (нем.).

*** Единственные оставшиеся из прежних девяти ворот Вильнюса. В Остробрамской часовне находится чудотворная икона Божьей Матери.

**** «Большой Баублис» — известный тысячелетний дуб в Литве (в Жмути), поваленный в 1812 году. Упоминается А. Мицкевичем в «Пане Тадеуше».

должен стоять, поскольку дальнейшее счастье всей семьи напрямую зависит от того, стоит ли. Причина пробуждения патриотизма была прозаичной — в соответствии с законом о национальных меньшинствах литовцы получили массу привилегий и льгот, в том числе налоговых, и не подчинялись Курции.

Множество моих школьных дружков неожиданно стали литовцами, в результате, разумеется, соответствующих деклараций и заявлений родителей. То и дело оказывалось, что Вохович требует, чтобы учителя называли его Вохавичюсом, Маклаковский превратился в коренного Маклакаускаса, а из Злотковского сделался стопроцентный Гольдбергис. Были и поэтические изменения — Мачек Березняк, например, в результате буквального перевода превратился в Бирулиса.

Тут-то и началась великая трагедия Индюков. Симпатичная и вкуснейшая в жареном виде птица, подарившая его родителям свое имя, по-литовски называлась «Калакутас». А слово «кутас» в шибко латинизированной Польше означает то же, что по-латыни «пенис», только не так «культурно». Вот и получилось, что Индюки должны были стать Калапенисами. Глава рода Индюков, в принципе флегматичный и серьезный пан Адам, впал в неистовство, когда ему сообщили, что, да, верно, его заявление о переходе в литовцы будет рассмотрено положительно, но он должен незамедлительно стать Адомасом Калакутасом. Пан Адам отказался, но несгибаемый Союз патриотов левобережной Литвы и Жмуди не согласился ни на какие отдающие польскоствью мутации вроде Индюкас или Индюкишкис. Идею, состоявшую в том, чтобы пан Адам сначала натурализовался бы в США как Turkey, т. е. тот же «Индюк», но только по-английски, и лишь потом вернулся в лоно отчизны как Текулис, семейство Индюков сочло затеей идиотской,

приводящей к неоправданной потере времени и дорогостоящей. В ответ же на упрек, что-де точка зрения пана Адама попахивает польским шовинизмом, ибо вышеназванный «кутас» ни одного коренного литовца не унижает и не ставит в смешное положение, пан Адам учёно и эрудированно обругал комиссию, используя попеременно выражения «поцелуйте меня в зад» и «*parciok szykini*». Оскорбленная до глубины души комиссия послала индюковы документы *ad acta*, а самого Индюка к дьяволу.

Таким вот образом никто из семейства Индюков не стал литовцем. Поэтому мой друг Леся Индюк ходил не в пунскую гимназию, а в тот же класс и в ту же школу, что и я. В результате же теперь сидел в воронке от бомбы вместе со мной, вместо того чтобы, понимаете, носиться по парку в мундире цвета высохшего дерьяма с АК-74 в руках, «Погоней»* на фуражке и медведем дивизии «Плехавичюс» на левом рукаве.

— Ярек? — проговорил Индюк, приткнувшись к остаткам коллектора.

— Ну?

— Скажи, как это получается... Ведь ты такой суперумник и вообще... Что происходит?

Канонада усилилась, парк сотрясали взрывы, на наши головы сыпался песок.

— Что получается? — спросил я.

— Здесь же Польша, нет? Так почему фрайкорпы и литовцы устраивают тут войну? В самом центре города? Ну

* «Погонь» — государственная эмблема старой Литвы, затем — Великого Княжества Литовского на красном поле, изображающая рыцаря на коне на скаку, в шлеме, с поднятым мечом в правой руке и щитом в левой, с двойным золотым крестом. «Погонь» была включена в общий польско-литовский герб, состоящий из Орла и «Погони».

пусть, псякрев, дерутся у себя в Кёнигсберге... Здесь — Польша!

Я не был уверен, что Индюк прав.

Потому что, понимаете, все было так: вскоре после подписания договора с Федеративной Республикой и со-здания нового ланда* со столицей в Алленштейне был про-веден плебисцит среди населения уездов Голдап, Думененки, Вижайны, Шиплишки, Гибы, Пуньск и Сейны. Результа-ты плебисцита, как обычно, оказались странными и ни о чем не говорили, поскольку, в частности, как минимум во-семьдесят процентов имеющих право голоса людей не при-шли к урнам, справедливо полагая, что лучше пойти в кабак. Потому не было ясно, какой процент населения высказы-вается в пользу восточных пруссаков, южных поляков, Левобережной Жмури или других яцвенгов**. Так или иначе, спустя неполный месяц после плебисцита границу перешел литовский корпус в составе двух дивизий: ре-гулярной «Гедыминас» и добровольческой «Плехави-чюс». Корпусом командовал генерал Стасис Зелигаускас, литовцы заняли нерешительные уезды по-чи без сопротивления, потому что большая часть нашей армии находилась в этот момент в Ираке, где выполняла польский долг перед Свободным миром, а меньшая часть тоже была занята, ибо осуществляла демонстрацию силы в Шленске Чешинском.

Корпус Зелигаускаса быстро захватил Сейны, но Сува-лок не занял, так как его остановили подразделения гренц-

* страна (нем.).

** Яцвенги — уничтоженный соседями либо рассеянный без следа немногочисленный, насчитывавший несколько десятков тысяч, народ прус-ско-литовских балтов, проживавший до конца XIII века между Бобром, Неманом, Легом и озерами Мамры и Снярдовы.

шутуа* и Сто первой эрборны** из Гданьска. Ни Германия, ни Америка не желали видеть шаулисов в Восточной Пруссии. Польское правительство отреагировало серией нот и направило официальный протест в ООН, на что литовское правительство ответило, что ему ничего не известно об операции генерала. Зелигаускас — разъяснил литовский посол — действует без приказа и по собственной инициативе, ибо вся родня Зелигаускасов с деда-прадеда — люди вспыльчивые и горячие головы, понятия не имеющие о субординации.

Правда, немцы, американцы и спешно набранные подразделения самообороны спустя некоторое время оттеснили шаулисов за линию Черной Ганки, однако вооруженные конфликты не прекращались. Генерал Зелигаускас и не думал отходить за линию Керзона и грозился изгнать немцев из Сувальщины, потому как поляков-то он, возможно, и потерпит, поскольку они, как ни говори, всего-навсего полонизированные автохтоны, а вот германцев он на дух не переносит, а посему и не потерпит. Конечно, Зелигаускас не пользовался малопопулярным в Литве определением «Сувальщина». По-литовски говорили «Левобережная Жмудь». Речь шла, разумеется, о левом береге реки Нямунас, бывшего Немана, а еще раньше Немена.

Сенат Речи Посполитой не принял никаких законоустановлений по поводу сувальской авантюры. Долго спорили, стоит ли обращаться к опыту нашей богатейшей истории, коя так любит повторяться, однако достичь консенсуса относительного того, к чему именно обратиться, не удалось. Часть сенаторов стояла за новую люблинскую

* погранвойска (нем.).

** Воздушно-десантная (англ.-амер.).

унию, часть — как обычно — предпочитала новый келецкий погром.

Стрельба немного удалилась, напор шаулисов, видимо, переместился к западу. Подэуживаемые любопытством, мы снова подползли к краю воронки. Я глянул в сторону центра города, на затянутую дымом башню собора Святого Александра. Увы, не было никаких признаков того, что ксендз Кочуба намерен выполнить свою угрозу. Ксендз Кочуба месяц назад привез из Швейцарии четырехствольный зенитный «эрликон», установил его на колокольне и пригрозил, что если хоть какое-нибудь воинское или военизированное формирование еще сумется на церковный двор или на кладбище, то он с помощью своего *flakvierling'a** устроит им такой *wash and go*, что они не забудут его до Судного дня.

Что делать, ксендзуля только пугал. Как всегда. Отец был прав, утверждая, что религия есть опиум для народа.

Раскрашенный пятнами Ми-28-«Хавок» сделал круг над парком и обстрелял район из двух тяжелых пулеметов, установленных в открытых дверях. Стрелки храбро высовывались — того и гляди кто-нибудь вывалится и повиснет на тополях. По западному краю зарослей били минометы. Я спрятал голову, потому что воздух вокруг так и вил от осколков. Но успел еще заметить шаулисов, перебегающих под огнем к домам на улице Таинств, ранее — Свободы. Ми-28 сделал еще один круг и улетел.

— Похоже, — сказал я, сползая ниже, — что *war is over***. *Farewell to arms*.*** *Im Westen nicht Neues*.**** Фрайкорпы надавали твоим сородичам по заду. Вы проиграли, шановный пан Калапенис.

* счетверенный пулемет (нем.).

** Здесь: войне конец (англ.).

*** Прощай, оружие (англ.).

**** На Западном фронте без перемен (нем.).

— Кончай, Ярек, — зловеще прошипел Индюк. — А вообще-то ты должен был мне объяснить. Сам знаешь что.

Я раскрыл рот, чтобы изречь что-нибудь умное, нечто такое, что было бы достойно моего интеллекта, моего IQ, доходящего в пиковые моменты до 180. Я говорил вам о своем IQ? Нет? Может, и хорошо, что не говорил. Мать злится, когда я похваляюсь своим IQ. Ибо прошел слух, что школьный психолог, увидев результаты тестов, воспользовался по отношению ко мне характеристикой «чернобыльский мутант». Слух дошел даже до законоучилки. Законоучилка была более определенна и откровенна — использовала определение «чертов помет». И нас в городе тут же перестали любить.

Ничего умного я сказать не успел. Неожиданно что-то грохотнуло, страшно грохотнуло, земля дрогнула, и мне почудилось, будто торчащая из нее арматура свернулась дождевым червем. В воздухе завоняло мочой, калом и кордитом*, а на наши головы посыпался град бетонных обломков, гравия, песка и разных прочих элементов.

— Господи Иисусе! — простонал Индюк, когда одно из вышеперечисленных паскудств хватануло его по крестцу. — Господи Иисусе, Ярек, ты только глянь... Ты только глянь на это...

Я глянул. И нервно расхохотался.

На Индюка свалилась доска из сортира с двумя очками. Обыкновеннейшая в мире сортирная пластиковая доска, украшенная большими, выцарапанными перочинным ножичком инициалами «Р.Э.» и несколькими роскошными пятнами от погашенных о доску сигарет. Да,

* разновидность бездымного пороха.

есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.

— Ярек, — неожиданно ткнул меня в бок Индюк. — Слышишь? Кто-то плачет.

Я прислушался. Нет, мой друг не ошибался. Кто-то пласал, плач пробивался сквозь взрывы и канонаду, он был тихий, но иной, сильно отличающийся от гула и криков.

Я снова высунул голову из воронки и осмотрелся, на этот раз внимательней. В ближнем окружении не было видно ни одного военного. По земле стлался тяжелый вонючий дым. Дым затягивал также отрезок Бисмаркштрассе, проматривавшийся из-за деревьев. Там стоял, коптя словно бочка горящей смолы, разбитый грузовик.

Плач, как я установил, шел со стороны паркового сортира. Взрыв, который мы только что слышали, получил объяснение; феномен двухочковой летающей сортирной доски тоже, как большинство феноменов, оказался явлением банальным и естественным. Просто-напросто один из отступающих шаулисов из дивизии «Плехавичюс» принял скрытый в кустах общественный сортир за дот и саданул по нему кумулятивным снарядом из гранатомета. Снаряд напрочь раздолбал бетонную конструкцию и сорвал дверь, украшенную интернациональным символом стоящей по стойке «смирно» женщины в юбке. Взрывная волна вырвала с корнем или искорежила окружающие уборную кусты и приоткрыла надписи, а также граффити на остатках строения. А за остатками строения кто-то плакал — громко и жалобно.

— Что будем делать? — спросил я.

Индюк задумался. Я знал, над чем, потому что и я задумался над тем же. Над воронкой продолжали петь пули.

АК-74, «штурмгеверы», М-60 и «галили», из которых онные пули вылетали, находились уже достаточно далеко, а это означало, что пули были на излете и не могли бы пробить бедро, руку или живот, оставив только чистенькую маленькую дырочку. Мы знали, что медленная пуля может хрястнуть по телу, как комок мягкой глины, но может и намесить в месте удара отвратительную кашицу из крови, мяса и клочков одежды и остаться в теле или — что хуже — выйти с другой стороны, прихватив с собой достаточно много того, чем человек набит.

Как видите, задумываться было о чем.

Задумываясь, я одновременно читал надписи на стенке уборной. В стрессовых ситуациях нет ничего лучше, чем чтение, поверьте. Books, как говорят по тиви, *feed your head**.

На вскрытой взрывной волной стене сортира красовались изображения фаллоса в состоянии эрекции, якоря, ви-селицы и трезубца. Была там также намалеванная черной краской надпись:

BAYERN—PANY, FC KOLN—DZIADY, A LKS—JUDE**

Немного пониже кто-то приписал мелом, наискось, красивым плывущим, хоть и несколько развалистым почерком, не используя заглавных букв и пренебрегая правилами пунктуации: «жгем жидов распаляй огонь за иисуса на злость дьявольской ошибке в молитве грех сионский».

Снизу кто-то прокомментировал голубой аэрозолем:

MESZUGENE GOJ.***

* Книга... пища для ума (англ.).

** Баварцы — молодцы, кёльнский футбольный клуб — дермо, лодзинский спортклуб — жиды (польск.).

*** Придурок (евр.).

А еще ниже кириллицей: Е... ТВОЮ МАТЬ, ЕВРЕЙ.
Рядом виднелось игривое четверостишье:

И зимой
И жарким летом
Видно курву
По берегу.

Дальше фигурировало накарябанное в спешке куском кирпича, истекающее страстью и отчаянием признание: «I REALLY WANNA FUCK YOU AL»*. Конец имени объекта дикого вожделения полиглota оборвал снаряд из гранатомета. Ну что ж, это могла быть Алиса, мог быть и Альбин. В принципе мне это было до фени. Меня вполне устроил бы Альманзор с дюжиной рыцарей.

Под англосаксонским признанием я заметил родимую польскую идиограмму, схематически изображающую женский детородный орган. Автор, сознавая низкую художественную ценность картины, а может, сомневаясь в интеллектуальном уровне зрителя, что могло привести к ошибочному восприятию идеи произведения, снабдил его соответствующей надписью и при этом вовсе не тужился на иноязычную версию.

— Что будем делать? — повторил Индюк; пульки тем временем мило посвистывали, а за сортиром кто-то все жалобнее плакал.

— Можем отхватить, — сказал я сквозь стиснутые зубы. — Можем, можем, можем.

— Ну так что будем делать?

Я подумал. Недолго.

— Пошли. Быстро, Индюк, короткими перебежками!

* Я взаимно хочу тебя трахнуть, Ал... (англ.).

Мы выскочили из воронки и побежали, и шлепнулись на изрытую осколками землю, и вскочили, и побежали опять. Да, мы, понимаете, могли отхватить. Но так было надо. Вот вы, спрашиваю я вас, сидели бы в воронке от бомбы, слыша чей-то плач? Нет, не сидели бы. Так чего же вы, donner Wetter noch eintal*, удивляйтесь нам?

Мы подбежали к сортиру и увидели плаксу. Ох и скверно же она выглядела! Ох видать было, что эта киска не всегда ела вискас.

— Анализа? — просопел Индюк, втягивая воздух. — Ты что тут...

— Не стой! — прошипел я. — Хватай ее и в воронку! Бегом!

Получилось! Мы не отхватили. У пулек, свистевших над парком, видимо, было какое-то другое назначение. Мы добрались до своей воронки и скатились на самое дно, при этом я разбил локоть об осколок бетона.

Индюк поднялся на четвереньки, выплюнул песок и протер глаз костяшкой пальца.

— Анализа, — выдохнул он, — что ты тут делаешь? Holy shit**, деваха! Откуда ты взялась?

Анализа уселась, сунула голову меж побитых коленок, собрала вокруг попки остатки одежки и разревелась на полную мощность. Индюк сплюнул на землю и пристроился на трофеиной сортирной доске. Я тоже плюнул, только не на землю, а на найденный на дне воронки обрывок газеты. На одной стороне листка было напечатано: «...олжает бастовать фаб...», на другой: «...вь себе немногого удо...» Я решил доставить себе немногого удо... и прилепил оплеванный клочок к кровоточащему локтю. «Удо» — снизу, «фаб» — сверху. Анализа продолжала реветь.

* Ругательство типа «Черт побери» (нем.).

** Святое дермо (англ.).

— Ну, Аня, ну, — сказал я. — Перестань. Все хорошо. Не бойся, мы тебя не бросим. Как только закончится этот бедлам — отведем домой.

Анализа зарыдала еще громче. Я смущенно покачал головой.

Анализа, как и все мы, была типичным продуктом своего времени. Ее мама, которой я не знал, была родом из Плоцка, откуда сбежала через «зеленую границу» в Bundesrepublik*. В то время она была в нежелательно-ранней стадии беременности Анализой и ни за что не получила бы ни паспорта, ни свидетельства от Курии. Она оказалась в Шнайдемюле, бывшей Пиле. Здесь, лихорадочно ища врача-абортёбера**, познакомилась с немецким инженером. Тыр-пыр — они влюбились, поженились и все же решили завести доченьку. Вскоре после этого инженер получил арбейт*** в Ostpreussen****, а затем перебрался в Сувалки и поступил на работу в наш Holzkombinat*****. Странный был тип этот инженер — влюбленный во все польское, кажется, даже пытался получить польское гражданство, но не получил, потому что был евангелистом. Он считал поляков народом избраннейшим из избраннейших, народ Великой Исторической Миссии, и вообще noch ist Polen nicht Verloren*****. Нормальный у него был, понимаете, бзик на этом пунктике. Поэтому, перебравшись в Сувалки, он послал дочь в польскую школу. Пряником в нашу, в гимназию Святого Духа. Разумеется, дочка номинально была

* Федеративная Республика (нем.).

** врач-акушер, производящий аборты (нем. Abtreiber).

*** работа (нем.).

**** Восточная Пруссия (нем.).

***** Деревообрабатывающий комбинат (нем.).

***** «Еще Польша не погибла» (нем.) — первые слова польского гимна.

католичкой. Вообще-то именовалась она Аннелизе Буди-шевски, но все называли ее Анализой. Мать Анализы, которую я не знал, умерла в конце девяностых, во время эпидемии холеры, занесенной румынами. Помните, тогда представилось что-то около шестидесяти тысяч человек от той холеры, которую называли «Чаушеску», или «Дракула». Тех, что тогда заболели и выжили, в шутку называли «*dupa boli*», что по-румынски означало «выездоровел», а по-польски «жопа болит»; с той поры это стало популярным определением выздоровления.

Рядом с воронкой с грохотом разорвалась мина. Анализа запищала и крепко прижалась ко мне, да при этом так вцепилась в плечи, что я не мог стряхнуть землю, посыпавшуюся на голову.

— Ну всё, всё уже хорошо, Аня, — сказал я, скрипя песком на зубах.

Анализа тихо всхлипывала.

Индюк, надев наушники от моего плеера, нырнул в разноцветное спагетти проводов коллектора. Чуть высунув язык, он копался там, дергал провода и трогал спайки концом добытой из кармана отвертки. Индюк увлекается радио- и электротехникой, это его хобби. Он проявляет к таким штукам невероятный и природный талант. Может все исправить и смонтировать. Дома у него коротковолновик и самодельное стерео. Он множество раз исправлял и усовершенствовал мой «Sony» и мой «Kenwood». Индюк, я думаю, ухитрился бы ввернуть лампочку в песок так, чтобы она зажглась. Я не могу даже жучка вместо пробки сделать. Поэтому у нас с Индюком образовалось «совместное предприятие» — он подсказывает мне на математике и физике, я ему — на языке и истории.

Этакий небольшой Союз Взаимопомощи. Consulting Compani Limited.

Парк снова тряслось от взрывов. Фрайкорпс обрушил на линии литовцев все, что имел, — минометы, безоткатные орудия, ракеты. Сортир, в который то и дело попадали снаряды, заметно уменьшился в размерах. Дым стелился по земле, стекал в нашу воронку, душил.

— Анализа?

— Э?

— Ты была в парке, когда это началось?

— Нет, — потянула она носом. — Я шла в школу и... меня поймали... И затащили в парк, в кусты... в кусты...

— Ну-ну, Анечка... Уже все хорошо. Не плачь. Сейчас ты в безопасности.

— Как же! В безопасности!

На западной стороне парка закашляли автоматы, гукнули гранаты. С обеих сторон раздались боевые крики:

— Vorwärts!!! Gott mit uns!*

— Lietuuiiuva!!!

Этого только не хватало! Обеим воюющим сторонам пришла в голову одна и та же мысль — атака. Что еще хуже — какой-то доморошенный Гудериан решил направить свой блицкриг прямо на нашу воронку, чтобы ударить шаулисам во фланг.

Мы прижались к земле, втиснулись, словно червяки, между обломками и остатками арматуры.

— Feuer frei! — проревел кто-то у самой воронки. — Verdammt noch einmal, Feuer frei! Schiess doch, du Hurensohn!**

* Вперед!!! С нами Бог! (нем.)

** Огонь! Черт побери, огонь! Стреляй наконец, ублюдок! (нем.)

Дальнейший рев заглушила очередь из М-60, да так близко, что я слышал, как гильзы градом сыплются на бетон. Кто-то вскрикнул, вскрикнул ужасно. Только один раз — и тут же умолк. По гравию скребли ботинки, грохотала канонада.

— Zurück, — кричали наверху, из глубины парка. — Beelung! Zurück!*

— Lietuusiuva!

«Ну понятно, — подумал я. — Зелигаускас контратакует. И тоже прет прямо на нашу воронку, motherfucker, psiakrew!**»

В районе воронки закашляли АК-74, не так как М-16 фрайкорпса, потупея, погромче, а на них наложился гул разрывающихся гранат и раздирающие уши взрывы мин.

— О Иисуууусе, — завыл словно сумасшедший кто-то у самого края воронки.

Анализа, лежавшая рядом со мной, дрожала, тряслась так жутко, что мне пришлось прижать ее к земле, иначе б, я думаю, эта дрожь подняла ее наверх.

— О Иисуууу!.. — повторил кто-то рядом, рухнул тяжело на край воронки и скатился прямо на нас.

Анализа вскрикнула. Я не вскрикнул, потому что у меня от страха сел голос.

Это был шаулис, без фуражки, светлые как солома волосы слиплись от крови. Кровь заполняла левую глазницу и заливала шею. Это выглядело так, словно у него под мундиром была карминовая водолазка. Он лежал на дне воронки, свернувшись клубком, копал гравий короткими рывками ботинок, потом перевернулся на бок и завыл, застонал и рас-

* Назад! Быстро назад! (нем.)

** Ругательство вроде: мать твою (англ.), собачья кровь (польск.).

крыл глаз. И взглянул на меня. И снова крикнул, давясь кровью. Когда он зажмурился, все лицо у него аж затряслось.

Не помню, говорил ли я вам — я не очень красив. Чернобыль, понимаете. Генетические изменения.

Да, я не красавец. Тут уж ничего не попишешь. Ничего. Генетические изменения.

Шаулис отворил глаз и взглянул на меня опять. Спокойней. Я улыбнулся. Сквозь слезы. Шаулис тоже улыбался.

Мне хотелось верить, что это улыбка. Но я не верил.

— Я... хочу... пить... — сказал он четко. По-польски.

Я в отчаянии взглянул на Индюка, а Индюк так же отчаянно взглянул на меня. Оба мы в отчаянии взглянули на Анализа. Анализа беспомощно пожала щупленькими плечиками. Подбородок у нее ходуном ходил.

Неподалеку от нашей воронки разорвалась ручная граната, засыпав нас щебенкой. Раздался пронзительный визг, и сразу после этого — очередь из «инграма». «Инграмы» очень скорострельны — и очередь прозвучала так, словно кто-то резко разорвал пополам огромную простыню. Прямо над нами что-то забурлило, заорало «Scheisse!»* и скатилось на нас. Мы опять припали к земле.

То, что скатилось на нас, было добровольцем из фрайкорпса, выряженным в камуфляжный комбинезон, очень эффектный, но совершенно бесполезный в городских боях. Вся передняя часть комбинезона была темно-красной от крови. Доброволец скатился на дно воронки, как-то страшно вытянулся и выпустил воздух, при этом большая часть воздуха, булькая, вышла через дыры в груди.

* Дерьмо! (нем.)

— Пить! — повторил шаулис. — О Иису... Пить... Воды-ыыы!

— Wasser! — забулькал доброволец очень невнятно, потому что рот у него был полон крови и песка. — Wasser... Bitte... Hil... fe... bitte... Hilfeeee!*

Анализа первой заметила характерное вздутие на вещемешке добровольца. Протянула руку, разорвала липучку застежки и достала бутылку кока-колы. Индюк ловко сорвал пробку о выступающий из земли прут арматуры.

— Как думаешь, Ярек, можно ему дать?

— Нельзя, — сказал я. С моим голосом творилось что-то неладное. — Но надо. Надо, сучье вымя...

Сначала мы дали пить шаулису — в конце концов, какая-то очередность обязывала, а он упал в нашу воронку первым. Потом, предварительно вытерев добровольца из фрайкорпса рот носовым платком, дали напиться ему.

А потом очистили от крови горлышко бутылки и выпили по маленькому глоточку мы — Анализа, Индюк и я.

Вокруг воронки ненадолго почти утихло; звучали одиночные выстрелы, со стороны стадиона ровно долбил М-60. Доброволец из фрайкорпса вдруг напрягся так резко, что с треском разошлась застежка-молния на его комбинезоне.

— О... Иису... — неожиданно проговорил шаулис и умер.

— You... can't beat the feeling...** — простонал доброволец, потом вспенился на груди кровью и кока-колой.

И тоже умер.

* Воды! Воды... Пожалуйста... помо... гите... пожалуйста... Помогите (нем.).

** Против судьбы не попрешь (англ.).

Анализа опустилась на дно воронки, обхватила коленки руками и разревелась. И правильно сделала. Кто-то же, язви его, должен был оплакать обоих бойцов. Они этого заслужили. Им положен хотя бы такой реквием — плач маленькой Анализы, ее слезы, словно горошинки стекающие по грязной мордашке. Им это полагалось. Они заслужили.

А мы с Индюком осмотрели их карманы. Так тоже полагалось, этому нас учили на уроках выживания.

В соответствии с тем, чему нас учили, мы не трогали оружия — у шаулиса были гранаты, а у фрайкорпса — «беретта» и штык-нож. Индюк же взял уоки-токи и тут же принялся крутить ручажки.

Я заглянул в карманы комбинезона добровольца и нашел полплитки шоколада. На плитке было написано: «Milka Poland» — бывший «E.Wedel». Я вытер плитку и дал Анализе. Она взяла, но не пошевелилась, продолжала сидеть, скучившись, сопя и тупо глядя перед собой.

Я заглянул в карманы шаулиса, потому что при виде шоколада у меня аж как-то странно сделалось во рту и в желудке. Честно говоря, я охотно бы сожрал сам эти пол-плитки. Но так нельзя, верно? Если с тобой в компании девушка, надо о ней заботиться в первую очередь, надо ее утешать, охранять, ее надо кормить. Это ведь ясно. Понимаете? Ведь это так... так...

По-человечески.

Разве нет?

У шаулиса шоколада не было.

Зато в кармане мундира лежало сложенное вчетверо письмо. Конверт тоже был там же, без марки, но с адресом, а как же. В Польшу. В Краков. Кому-то по имени Марыля Войнаровская.

Я мельком заглянул в письмо. Потому что шаулис был мертв, а письмо-то не отоспал. Я на секундочку заглянул в него.

«Ты мне снилась, — так писал шаулис. — Это был очень короткий сон. Сон, в котором я стою рядом с тобой и касаюсь твоей руки, а твоя рука такая теплая, Марыля, такая мягкая и теплая, и тогда, в своем сне, я подумал, что люблю тебя, Марыля, потому что я ведь тебя люблю...»

Дальше я читать не стал. Как-то не чувствовал потребности узнать продолжение, которого, впрочем, было совсем немного — только до конца листка, до подписи: «Витек». «Witek», не «Vitautas».

Я вложил листок в конверт и спрятал в карман. Подумал, что, может, вышлю письмо, вышлю его Марыле Войнаровской в Краков. Наберу злотовку на марку и вышлю. Как знать, а вдруг дойдет до Марыли Войнаровской? Как знать? Может, дойдет? Хотя вроде бы множество писем пропадает на границе во время контроля почтовых вагонов.

Индюк, сидя меж кабелей, словно баклан в гнезде, возился с уоки-токи, из которой вырывался свист, потрескивание и обрывки разговоров.

— Кончай ты с этим, — сказал я, начиная злиться.

— Тише, — сказал Индюк, прижимая к ушам наушники. — Не мешай. Я ловлю частоту.

— А на кой хрен ты ловишь частоту, — не выдержал я. — Лучше поймай себя за задницу, если тебе обязательно надо что-то ловить, кретин. Пишишь, мать твою, и пишишь, еще услышит кто-нибудь и кинет к нам гранату.

Индюк не отвечал, копаясь в кабелях коллектора. Над воронкой посвистывали пули.

Анализа продолжала плакать. Я присел рядом с ней и обнял. Так ведь надо, верно? Такая крохотная и беззащитная, в такой паршивой воронке, в сраном парке имени короля Собеского, в котором идет сраная война.

— Ярек, — потянула носом Анализа.

— Что?

— У меня нет трусиков.

— Что?

— Трусиков у меня нет. Отец прибьет, если я вернусь без трусиков.

М-да, не исключено. Инженер Будишевски славился железной рукой и железной моральностью. У него на этом пунктике был обычный закидон — кажется, я уже говорил. Глазами души я увидел Анализу на кресле-самолете у доктора Здуна, которому предстояло выдать ей справку о невинности. Доктор Здун, с некоторых пор уже не зарабатывавший на том, на чем делал это раньше, возмечтал недобор за счет свидетельств, ибо без такого свидетельства возникали сложности с Церковью из-за венчания, а ежели к тому же девочка была еще и несовершеннолетней, то она могла запросто угодить в исправительное заведение в Ваплеве. Левое свидетельство, насколько мне известно, стоило шесть тысяч злотых. Состояние!

— Аня?

— А?

— С тобой что-нибудь сделали?.. Ну, понимаешь... Прости, что спрашиваю, конечно, не мое это дело, но...

— Нет... ничего не сделали. Стянули трусики и... щупали меня. Ничего больше. Они дрейфили, Ярек... Щупали меня и все время оглядывались и не выпускали автоматов...

— Тише, Аня, тише...

— От них несло страхом, потом, дымом, несло тем, чем воняет здесь внизу, тем, что остается после взрыва... И тем, чем воняют мундиры, знаешь, чем-то таким, от чего слезятся глаза. Я этого не забуду... это будет мне сниться по ночам...

— Тише, Аня.

— Но они ничего мне не сделали, — шепнула она. — Нет. Один хотел... Весь дрожал... Ударил меня. Прямо по лицу меня ударил. Но они бросили меня и убежали... Ярек... Это уже не люди... Уже не люди...

— Это люди, Аня, — сказал я убежденно, дотронувшись до письма, шелестящего в кармане.

— Ярек?

— Что?

— Ксендзу сказать? О том, что они со мной делали?

Девочка действительно была какая-то несовременная. Евангелистско-неофитское влияние инженера Бутишевского совершенно убило в ней инстинкт самосохранения.

— Нет, Аня, ксендзу не говори ничего.

— Даже на исповеди?

— Даже. Анализа, ты что, спала на уроках религии, или как? Исповедоваться надо в грехах. Если что-то украла или произнесла имя Еgo всуе. Если не чтила отца своего. Но нигде не сказано, что надо исповедоваться, если у тебя кто-то силой стянул трусики.

— Э-э, — неуверенно протянула Анализа. — А грех нечистоты? Что ты в этом понимаешь? Ксендз говорит, что ты и твой отец — глухие и слепые атеисты... Или как-то так... Что ты не... Как же он это говорит-то? Ага, что ты не по образу и подобию. Нет, надо исповедоваться... А отец меня прибьет...

Анализа опустила голову и принялась всхлипывать. Что делать, выхода не было. Я поборол в себе праведный гнев на ксендза Кочубу. Мужчина, который сидит рядом с женщиной в воронке от бомбы, обязан взять ее под крыло. Успокоить. Дать ощущение безопасности, верно? Я прав или не прав?

— Анализа, — сказал я сурово. — Ксендз Кочуба порет чушь. Сейчас я тебе докажу, что разбираюсь в катехизисе и в Библии. Ибо сказано... в послании святого Амвросия эфесянам...

Анализа перестала плакать и глядела на меня, широко раскрыв рот. Выхода не было. Я продолжал «цитировать» Амвросия.

— Ибо сказано... — тянул я, придав физиономии мудрое выражение. — Что пришли кадусеи...

— Наверное, саддукеи?

— Не мешай. Пришли, говорю, саддукеи и эти, ну как их там... мытники... Нет, мытари, к Амвросию и поведали: «Воистину, святой муж, совершила ли грех еврейка, у коей римские легионеры силой стянули трусики?» И тогда Амвросий начертал на песке нолик... э... кружок и крестик...

— Что начертал?

— Не прерывай. И сказал: «Что вы видите?» «Вообще-то видим мы кружок и крестик», — ответствовали мытари. «Так вот, истинно говорю вам, — сказал Амвросий, — вот вам доказательство, что не совершила греха сия девица, и лучше идите-ка вы по домам вашим, дабы судимы не были, идите. Идите, говорю, ибо истинно говорю вам: сейчас возьму я камень и оным камнем в вас кину». И ушли саддукеи и мытари в великом смущении, ибо ошиблись они, очернив оную деву». Ты поняла, Анка?

Анализа перестала реветь и прижалась ко мне. «Благодарю тебя, святой Амвросий», — подумал я.

— А теперь, — я встал, расстегнул брюки и выбрался из них, — 'сбрасывай свою драную юбку и надевай мои Lee*. Хрен твой фатер** знает, в чем ты выходила из дома. Ну, давай.

Я отвернулся.

— А об этом, — добавил я, — забудь. Ничего такого не было, понятно? Это был сон, Анализа. Все это сон, скверный сон, и этот парк, и эта война, и эта вонь, и этот дым. И эти трупы. Ты понимаешь, Анализа?

Анализа не ответила, прижалась ко мне сильнее. Индюк какую-то минуту глядел на нас со странным видом, потом вернулся к кабелям и соединениям. Он отрегулировал уокитоки так, что стал слышен оживленный диалог, прерываемый пуканьеми over'a, звучащими так, будто собеседники, оканчивая каждую реплику, приставляли микрофон кое-куда и пускали ветры.

Преодолевая отвращение, я стянул с шаулиса сравнительно мало окровавленные брюки и надел их. Они сваливались с меня, поэтому я присел и принялся регулировать холщовый пояс. Индюк оставил в покое уокитоки, извлек из бездонных карманов куртки маленький радиоприемничек и странного вида устройство. Включил приемничек — послышалась церковная музыка. Значит, это была какая-то польская радиостанция. Я не протестовал. Музыка была негромкая, а из ближайшей окрестности некоторое время уже не было слышно выстрелов и криков.

Анализа, опустившись на колени, протирала платочком лицо и руки. Индюк подсоединил странное устройство к

* Фирма, выпускающая джинсы (англ.).

** отец (нем. water).

торчащим из земли проводам, положил рядом уоки-токи и наушники от моего плеера и снова принял шаманить с приемничком — слышались потрескивание и визги, обрывки мелодий и разряды.

— Слушайте, — сказал он вдруг. — Я аусгерехнет поймал Варшаву. Там что-то творится. Какой-то дебош или что-то типа того.

— Наверное, синагогу жгут. — Я выплюнул песок, скрипевший на зубах.

— Как обычно. Есть о чем беспокоиться.

— Вот именно. Брось Варшаву, Индюк. Поймай Гданьск или Крулевец. Узнаем, что на фронте. Надоело мне сидеть в этой дыре, да и проголодался я незнамо как.

— Ну, — сказала Анализа, — я тоже... незнамо...

— Тихо! — прошипел Индюк, наклоняясь к приемнику. — Нет! Это что-то другое. Какой-то митинг, что ли. Или демонстрация.

— Я же говорю, синагогу жгут.

— А в Варшаве была синагога?

— Вчера еще точно была. Потому как шел дождь.

— Тише, говорю! Демонстрация в Варшаве перед International Harvester в Урсусе. Народу, похоже, уйма. О, Марчин Кёниг говорит.

— Марчин Кёниг? — Анализа поддернула мои Lee и подвернула их. — Уже выпустили из тюрьмы?

— Глупая ты все-таки девчонка, Анализа, — сказал Индюк. — В тюрьме-то он сидел еще при Унии, а теперь уже полгода он этот, ну, председатель Движения. Руха. Capisco?*

* Поняла? (им.)

— Si*, — ответила Анализа, но я знал, что она врет. Не могла она capisco, потому как этого никто не капискует.

— Сделай погромче, Индюк, — сказал я. Меня, понимаете, немного заинтересовало, что мог сказать Марчин Кёниг. Последнее время много говорят о Марчине Кёниге.

— Громче? — спросил Индюк. — Ты хочешь громче, Ярек?

— Я же тебе аусгерехнет сказал. Оглох?

— Ну получай!

И тут же Марчин Кёниг заорал на весь парк. Крик шел отовсюду. Со всех сторон. И на все стороны. На весь парк. На стадион и, как знать, не на весь ли город. Индюк ходил, явно довольный работой.

— Scheisse! — крикнул я. — Это еще что?

— Мегафоны стадиона, — похвалился Индюк. — Я добрался до них через коллектор. Соединил...

— Выключи, psia krew!

— Ты же хотел громче, — снова захочотал талантливый электротехник. — Вот тебе громче. Пусть послушают все. Не боись, Ярек. Кто догадается, что это из нашей воронки? Лучше послушай, что этот тип плетет.

Я послушал.

«Мне был сон! — неожиданно крикнул Марчин Кёниг, а толпа, собравшаяся у фабрики International Harvester в Урсусе, рычала и орала. — Мне был сон!»

Стрельба совсем прекратилась. Квакнуло еще несколько одиночных выстрелов, шлепнулась где-то мина, протарахтел вертолет. А потом утихло все. Весь город. Был только Марчин Кёниг и толпа, собравшаяся у International Harvester.

«Мне был сон, и в том сне наступил день, день истины. День, когда всем стало очевидно и понятно, что все мы

* Да (um.).

братья, что все мы равны! День, когда мы поняли, что нет границ, что границы — всего лишь штришки на картах, на листах ничего не значащей бумаги! День, когда мы выбросили из наших душ яд ненависти, которым нас опаивали несколько поколений! Грядет такой день, братья!»

Толпа кричала, орала, гудела. Кто-то аплодировал. Кто-то запел «We Shall Overcome»*. Кто-то скандировал: «Juden raus!»**. Кто-то свистел.

«Мне был сон, и в моем сне этот мир наконец стал Царством Божиим на земле! Мне был сон, и истинно говорю вам, братья: пророческий сон! В моем сне люди всех рас, вероисповеданий, убеждений, цвета кожи и национальности протянули друг другу руки и пожали их! Стали братьями!»

Над парком все еще плавал дым, но дым этот вроде бы редел, его словно разгоняло эхо голоса Марчина Кёнига, гудящего из мегафонов стадиона с ничего не значащим назвием, в парке с ничего не значащим назвием. Над городом с ничего не значащим назвием вдруг разгорелось солнце. Так мне казалось. Но я мог ошибаться.

«Мне был сон!» — крикнул Марчин Кёниг.

«Был сон!» — откликнулась толпа. Не вся. Кто-то пронзительно свистнул.

Кто-то крикнул: «Вон! Убирайся вон, на Кубу!»

«Нам говорят, — кричал Марчин Кёниг, — что вот она пришла, эра свободы, всеобщего счастья и всеобщего благополучия! Нам велят работать, есть, спать и испражняться, нам велят поклоняться золотому тельцу под вколачиваемую

* Мы победим (англ.).

** Жиды — вон! (нем.)

в уши музыку! Нас опутали сетями указаний, запретов и приказов, которые должны заменить нам гордость, честь, рассудок и любовь! Хотят, чтобы мы стали скотом, удовольствующимся огороженным пастищем, скотом, радующимся даже оплетающей нас проволоке под напряжением! Нам толкуют о любви, а призывают к крестовым походам! Нам велят убивать, говорят «*Dieus vult*»*. Нас окружили границами, которые проходят через наши города, через наши улицы и через наши дома! Границами, которые проходят через наши души! Мы говорим: «Нет! Ибо мне был сон! Сон о том, что эта эра ненависти уходит в беспамятство! Что грядет новая эра. Эра Исполнения Желаний!»

Толпа вопила.

«Мне был сон! Сон...»

И вдруг Марчин Кёниг умолк, а из динамиков вырвался один громкий, изумленный рев толпы: что-то щелкнуло, кто-то, совсем рядом с микрофоном, крикнул: «Пресвятая Дева!», а кто-то другой рявкнул: «Врача!»

В динамике снова щелкнуло и скрипнуло.

«Оттуда стреляли, оттуда!.. С крыши...» — крикнул кто-то дребезжащим прерывающимся голосом.

А потом наступила тишина.

Была тишина в приемнике Индюка и тишина в парке имени короля Собеского. Думаю, тишина была и на площади перед фабрикой International Harvester в Урсусе.

После долгой паузы приемничек Индюка заиграл, а играли фортепианную музыку. Какое-то время ноктюрн извергался из мегафонов стадиона Ostmark Sportverein, но Индюк тут же разорвал свое гениальное соединение, и те-

* Бог простит (фр.).

перь тихо мурлыкал только его микроскопический приемничек.

Анализа не плакала. Она сидела, опустив голову, в полном молчании, а потом глядела на меня. Глядела долго, я знал, что она хочет о чем-то спросить. Индюк тоже молчал и тоже глядел на меня. Возможно, и он тоже хотел о чем-то спросить.

Но не спросил.

— Shit*, — сказал наконец.

Я не прокомментировал.

— No future**, — добавил он, помолчав.

И это я тоже не прокомментировал.

Мы сидели в воронке от бомбы еще некоторое время. Вокруг было спокойно. Умолкли моторы улетевших литовских вертолетов,вой карет «скорой помощи» и крики патрулей, прочесывающих северную часть парка. Незаметно наступил вечер.

Мы выбрались из воронки. Было тихо, веял спокойный вечерний ветерок, освежающий, с позволения сказать, как какой-то oil of ulay. Мы пошли, обходя трупы, горящие автомобили, воронки в асфальте и пятна битого стекла.

Прошли через мостик на Черной Ганке. Нам казалось, что речка в тот вечер воняла гораздо сильней, чем обычно.

«Макдоналдс» работал.

На улицах было пусто, но изо всех окон слышалось MTV, Jukebox и «Радио Москва». Группа «April, May, Decay» исполняла свой последний хит из альбома «Mental Disease».

Hail, we greet you
We, children of the past

* Дерьмо (англ.).

** Нет будущего (англ.).

Those about to die
 In our rags of light, translucent and pale
 Hail!

Мы распрошались на Новом Рынке. Много говорить не стали. Как всегда, хватило: «До завтра», «Tschüs»*, «A rivederci»**. Ничего больше.

На моей улице тоже было пусто. Новаковский успокоился, играл на пианино Брамса — громко, так, словно решил заглушить тики, орущее в квартирах соседей.

Hail!
 You've come at last
 Not a minute too late
 Hail, long awaited Age
 Age of Hate!

Ничего больше в тот день не случилось.

Разве что в сумерки пошел дождь, а вместе с каплями воды свалились тысячи маленьких зеленых лягушат.

Больше ничего.

Тлень, август 1992 г.



* Пока! (нем.)

** До свидания (ит.).

БОЕВОЙ ПЫЛ

(Отрывок из ненаписанного романа. Шутка)



От автора

Мысль написать что-то вроде «Боевого пыла» родилась у меня на очередном конвенте. Что уж говорить, фантастические конвенты — истинные *Парнасы, храмы искусства, прибежища художников, святая святых вдохновения и творчества*.

Конвент, о котором идет речь, был ежегодным «Полконом» и проходил в Люблине летом 1994 года. Кроме множества иных событий и происшествий, которым лучше остаться во мраке и забвении, у меня был серьезный разговор с Кшиштофом Паперковским, президентом Гданьского клуба фантастики. Обращаю внимание читателей на тот факт, что президент клуба уже вторично творчески оплодотворил меня, поскольку сутью беседы было именно оплодотворение. Имея,

Bitewny pyl © Andrzej Sapkowski, 2000.

© Перевод. Вайсброт Е.П., 2002.

разумеется, в виду интересы своего клуба и клубного конвента «Нордкон», Кишиштоф Паперковский выдал идею, воистину гениальную в своей простоте и непретенциозности. Сделанное им предложение звучало так: «Напиши-ка что-нибудь такое, что могло бы выглядеть как отрывок романа, вырванный из него фрагмент. Мы же (то есть ГКФ) этот фрагмент поместим в информационной брошюре «Нордкона-94», сопроводив словами: «Сапковский порвал с фэнтези и Ведьмаком, пишет обширную многотомную космическую оперу. Фрагмент только у нас!»

Вначале я не проявлял энтузиазма, поскольку если в чем-то и был уверен на все сто процентов, так это в том, что никогда и ни при каких обстоятельствах ничего подобного не напишу. «Ничем подобным» как раз и была «космическая опера». Тут ведь полная аналогия с настоящей оперой — одно дело опера целиком, другое — драматическая ария или дуэт.

Однако, продумав все как следует, я пришел к выводу, что фрагмент «космической оперы» — вовсе не то же самое, что фрагмент оперы настоящей. Фрагмент не принудит меня в поте лица конструировать оперный сюжет, придумывать фон, объемлющий целые планеты и звездные системы. Ведь, если верить энциклопедии Николса, космическая опера это — цитирую: «Действие-приключение, повествование, охватывающее межпланетный или межзвездный конфликт». Отрывок же, благодатно неперегруженный описаниями, позволит мне сконцентрировать силы на небольшом отрезке фронта и на самом существенном, на том, от чего зависит качество текста, то есть на полнокровных героях и боевой операции.

Ну я и написал «отрывок» космической оперы. Чтобы не смазать шутки, я какое-то время никому не сообщал, что никакая опера никогда не увидит света и «фрагментом» все и кончится. Оправдываться я начал лишь позже. Но шутка все равно удалась. О том, насколько, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что какой-то одержимый любитель и фанат жанра предложил присудить мне за «Battle Dust» награду имени Януша А. Зайделя, к тому же в номинации «роман». У меня до сих пор на авторских встречах допытываются, когда же наконец увидит свет та «космическая опера», которую я пишу, потому что всем не терпится узнать дальнейшую судьбу боевого командира Тьери Лемуа. А командр-то этот как раз и есть Кшиштоф Паперковский — имеет же право человек, подавший идею, получить что-то взамен. Кстати, я вовсе не ошибся, несколькими строками выше написав «Battle Dust» вместо «Боевой пыл». Дело в том, что, придумывая название для фальшивой «космической оперы», я имел в виду не «боевой пыл, дым пожаров и поток братской крови», а носящий почти точно такое же название (с разницей всего лишь в мягком знаке: пыл — пыль) наркотик, используемое наемниками возбуждающее средство, повышающее выносливость, сопротивляемость боли и порождающее в желудках воинству берсеркерское боевое бешенство. Публикуя в упомянутой брошюре конвента ГКФ «Battle Dust», я сменил название, решив, вероятно, что меня, как всегда, понес куда-то азарт космополитичного полиглота. Так и стал «Battle Dust» на веки веков «Боевым пылом».

Аминь.



«Нашвилл» опустился над комплексом так низко, что сделалось совершенно темно, потому что гигантский корпус крейсера полностью заслонил те крохи солнца, которые не сумели приглушить дымы горящих топливо-хранилищ. Оконные стекла вылетели еще раньше. Теперь, когда «Нашвилл» пустил торпеды, за стеклами последовали рамы и оконные коробки. Конечно, «Нашвилл» стрелял не в нас, этого-то административный корпус уж наверняка бы не выдержал. Торпеды врезались в силовой комплекс, который все еще обороныли остатки штурмовой группы Новака. И, как ни невероятно, группа Новака отвечала огнем — яркие нити тяжелых лазеров выбивали гейзеры пламени из корпуса флагманского крейсера компании «Ифигения-Фетида». Увы, вольфрамовая броня крейсера почти не страдала от этого.

Ямаширо сказал все, что имел сказать, и тут стало ясно, что из всего офицерского корпуса нашей роскошной наемной банды самой импульсивной и несдержанной оказалась Валери ван Хутен. Мы хорошо знали Валери ван Хутен. Поэтому нас отнюдь не удивило то, что она сделала.

Валери пинком перевернула стул, сбросила с него кучу обойм к карабинам типа «Крафтсман А-III», сочно плонула

на экран монитора, мерцающий и иссеченный линиями помех, и вполне немелодично заорала:

— Ах ты, гребаный сукин сын! Ах ты...

Она надрывалась не меньше полуминуты и при этом ни разу не повторилась. Нам казалось, что стены здания трясутся не от взрывов снарядов, ракет и фотонных торпед, а от ее воплей.

Ямаширо на экране поморщился так, словно мог видеть сползающий по стеклу плевок Валери.

— Как неинтересно, — сказал он. — Как тривиально...

— И так точно, — не выдержал я. — Ты гребаный сукин сын, Ямаширо-сан, даже более того. Ты только что показал нам, что ты такое есть. В натуре. Да ты и сам прекрасно знаешь, какой ты сукин сан. Сейчас, когда мы овладели комплексом, когда практически захватили весь Город, ты, вместо того чтобы послать патрульные корабли Концерна, нагло приказываешь нам капитулировать, ибо твоя фирма, видать, стакнулась с «Ифигенией-Фетидой», и, выходит, тутовая чертова война никому не была нужна. И теперь ты это нам говоришь? Теперь, когда «Нашвилл» кромсаает нас торпедами?

— Напоминаю, — сказал Ямаширо из-за завесы помех, — что мы говорим о фактах. О фактах, на которые никто из нас не может повлиять. Ни вы, ни тем более я. Я просто информирую вас о них, так что вряд ли так уж справедливо и целесообразно обливать меня ругательствами. Ситуации это тоже не изменит. Это, дорогие мои господа и дамы, — форс-мажор, высшая сила. Я передаю вам ультиматум «Ифигении-Фетиды». Вы или немедленно сдадетесь, или «Нашвилл» и «Электра» продолжат обстрел комплекса. А потом высадят десант. Сопротивляющихся будут расстреливать на месте...

— Ямаширо, — прервал я, стараясь сохранять спокойствие. — Ты подписал наш контракт от имени Концерна. Тем самым золотым «паркером», который торчит у тебя из бутоньерки. А в этом стервозном контракте есть пункт, гарантирующий нам заботу и защиту в случае неудачи операции. Ты знаешь, по какой причине он оказался в контракте. «Ифигения-Фетида» не признает за наемниками никаких общепринятых прав. Если мы сдадимся — нас прикончат. Выполните контракт, Ямаширо... сан!

— Сожалею, командор Лемуа, но контракта больше нет. Я подписывал его, имея на то полномочия Контрольного совета концерна «Shraeder & Haikatsu». А сейчас, в силу таких же полномочий, я контракт ликвидирую. Естественно, на основании третьей оговорки приложения к контракту вы можете в судебном порядке требовать возмещения...

Культюр-Бультюр откинулся на спинку кресла, голову дико заревел ослом. Смех был настолько заразительным, что все мы принялись хохотать, раскачиваться и истекать слезами. Вначале Папа Куксарт. Потом Муриэнн Тюльи — тоненько, пискливо, по-девичьему. Потом Хайме Сантакана, скривившись, потому что спазмы веселья болезненно отзывались у него в обожженном лазером плече. Затем присоединился я. И наконец — Валери.

Ямаширо это не развеселило. Он поморщился, раскрыл рот, намереваясь что-то сказать. Но не успел. Муриэнн Тюльи выхватила из кобуры древний «валтер» и всадила в экран три пули так, что от переносного монитора остались лишь дымящиеся брызги на стенах и потолке.

— End of transmission*, — сказала она спокойно. — No confirmation required.** Что будем делать Тьери?

* Конец связи (англ.). — Здесь и далее примеч. пер.

** Подтверждение не требуется (англ.).

— Падать на пол!

Мы упали в самый раз. «Нашвилл» и присоединившаяся к нему «Электра» залили комплекс потоком огня. Я выплюнул штукатурку и полиуретановые ошметки от покрытия пола и, включив трансмиттер, рявкнул, стараясь перекричать гром и грохот:

— Новак! Докладывай, что там у тебя! Прием!

Трансмиттер застrekотал. Новак говорил быстро, невнятно и тоже пытался переорать гул взрывов и выстрелов. Я различал с двух слов на третье, но смысл улавливал. Если из сообщения Новака убрать все ненормативные слова, оставалась одна гуща: «На Променаде безнадежно, зеркальщики жмут, боеприпасы заканчиваются, не удержусь, мать их так-то. Прием».

Культюр-Вультюр отвернулся от компьютера, около которого стоял на коленях.

— Поймал, — сказал он. — Я поймал «Нашвилл». Вызывать? Будешь торговаться?

— Вызывай, — решил я. — Буду. Концерн нас сделал. Единственное, что нам остается, — это спасать людей. Конец, парни. Драться больше не за что, контракта нет, денег нет. Хорошо хоть аванс сохранился в Бетельгейзе-Кредит. Хайме, прикажи группам: Cease fire*. Сложить оружие. Передавай сигнал о капитуляции на всех диапазонах. Валери, заткнись! Чем горланить, попытайся-ка поймать «Гермиону», а потом выйди на Privat Mode** Новака, Гийперса и Райкиннена. Передай им SYA. С этого момента каждый за себя.

— А мы?

— Мы тоже. Делай что сказано.

* Прекратить огонь (англ.).

** Персональную частоту (англ.).

— Командному центру «Ифигения-Фетида», — долдонил в микрофон Культиор-Вультиор. — Командному центру компании «Ифигения» на борту крейсера «Нашвилл»...

Сантакана вдруг сыпал в трансмиттер горсть красочных испанских ругательств, содержащих в основном рецепты и методы загрязнения материнского молока различными субстанциями, вырабатываемыми человеческим организмом. Я догадался, что одна из особо воинственных штурмовых групп не желала «Cease fire». И верно, канонада не прекращалась. Лазеры и четырехствольные «эрликоны» с Променады продолжали бить по изрытым оспинами корпусам висящих над комплексом крейсеров.

— «Гермиона» получила торпедой. — Валери стянула микронаушники. — Слышишь, Тьеерри? «Электра» обстреляла платформу. Райкиннен отбил атаку зеркальщиков, но «Гермиона» не может взлететь!

— Ты передала Эйнару SYA?

— Передаю. Райкиннен, ты меня слышишь, прием? Ты получил от Лемуа SYA?! SYA, говорю, прием! Что значит не понимаешь? Save your ass! Спасай свою задницу! А откуда мне знать как? E.O.T.*, no confirmation**! Что теперь, Тьеерри?

— Связывайся со «Стерретом»!

— Командному центру... — долдонил Культиор-Вультиор.

В стороне энергетического комплекса немного поутихло. Стреляли только «Нашвилл» и «Электра», вспахивая землю и здания лучами лазеров и пузырями фотонных торпед. Я взглянул на Сантакану. Сантакана кивнул, затем набрал на

* End of transmission — выражение-аббревиатура, придуманная «для колорита» АС'ом.

** не подтверждай (англ.).

трансмиттере код следующей группы. Культюр-Вультюр продолжал вызывать «Нашвилл». А Муриэнн Тюльи и Папа Куксарт, которым никогда ничего не требовалось объяснять, не теряли времени — быстро загружали обоймы и энержайзеры в наш ручной арсенал — шесть «Крафтсманов», ручной лазер типа САКО, «Мини-Сильверлод», два термитных гранатомета «Мицуоки АТС» и нашу гордость — суперсовременный огнемет «Стальуорт» фирмы «Интердайнамик».

— Думаешь пробиться? — Валери бросила взгляд на арсенал. — Куда? «Стеррет» не отвечает, не иначе как раздолбали, как и «Гермюону». Некуда нам пробиваться-то. Тьеरри прав: это конец, Сиобан.

— Валери! — Муриэнн бюльи подняла голову, откинула со лба рыжие, слегка вьющиеся волосы. Сиобан — был ее псевдоним еще по ИРА. — Не знаю, как ты, а я не собираюсь сдаваться.

— Я тоже, — сказал Папа Куксарт, не поднимая головы. — У меня два смертных приговора. От «Марубени Ито» и от Федерации. Даже если зеркальщики меня не распорошат на месте, я попаду под экстрадицию...

— «Нашвилл» на линии, — прервал Культюр-Вультюр. — Тьеरри, не угадаешь, кто...

— Угадаю, — сказал я. — Дай звук. И подпорти изображение. Не хочу видеть стервеца и не хочу, чтобы он видел меня.

— Можешь говорить.

— Командор Лемуа «Нашвиллу», — откашлялся я, не очень довольный своим голосом. — Командор Лемуа...

— Не будем терять время на пустую болтовню, — раздался в помещении злой, холодный и скрипучий голос Жабы. — Безусловная капитуляция, Лемуа. Surrender U.C.*.

* Безусловная капитуляция (англ.).

Никакой торговли и переговоров. Немедленно прекратить огонь, заблокировать связь и компьютеры, отключить прицельники лазеров, сложить оружие и вырубить оборудование.

— Единственные, кто сейчас ведет огонь, это твои крейсеры, Раскин.

— Хотелось бы верить. Ну хорошо, Лемуа. Отдаю своим приказ воздержаться от обстрела. Высаживаю десант на территорию комплекса. Однако предупреждаю, что любые попытки сопротивляться либо уничтожать собственность компании будут караться. На месте и сурово. Сообщи свои координаты, командор. Я вышлю специальный отряд. За тобой и... следующими офицерами: Джон Куксарт...

Папа иронически поморщился.

— Майнар Маннеринг.

Культюр-Вультюр сплюнул на усыпанный обломками пол.

— Хайме Сантакана, — невозмутимо продолжал Жаба. — Муриэнн Сиобан Тюльи, Эйнар Райкиннен, Ян Уиллем Гийперс, Валери ван Хутен...

Муриэнн сладко улыбнулась Валери и вручила ей «Крафтсман», подсумок с обоймами и бандольеру с гранатами. Валери взяла.

— Confirm and re-confirm*, — потребовал Раскин, прогавкав имена тех, на ком висели приговоры. Адмирал Раскин. Раньше, когда он, как и мы, еще был наемником и не был адмиралом, его называли Жабой из-за специфической внешности.

Культюр-Вультюр подмигнул мне, затем отстукал на клавиатуре координаты Платформы Роджерса, от которой нас отделяли шесть километров.

* Подтверждение и ответ (англ.).

— Confirm, Раскин, — ответил я, тоже подмигнув, и взял из рук Муриэнн заряженный «Крафтсман». — Surrend U.C. in force. Ждем твой отряд в том месте, координаты которого сообщили. See you later, aligator.* E.O.T., N.C.P.** Ты отключился, Вульф?

— А то!

— Ну, тогда... — Я взвесил карабин в руке. — Поцелуй нас в зад, Лягва.

Они настигли нас на Третьем уровне. Возможно, сообразили, что мы знаем о доке, в котором стоит «Исоги-Мару». Возможно, Жаба знал нас достаточно хорошо и предвидел наши передвижения. А может, им выпало счастье. То самое счастье, которого недостало нам.

Они ехали на четырех АТВ, оборудованных датчиками и локаторами Инфра-Р, потому что доставали нас огнем даже тогда, когда нам показалось, что нас укрывает темнота и дым. С ходу рубанули по нам всем, что имели, — ракетами, напалмом, снарядами СЛАП. Истинный overkill***.

Уделили половину ребят из взвода охраны. К сожалению, замочили также Сантакану, который вел взвод. Хайме погиб на месте. Мгновенно. Повезло паршивцу. Те, кому повезло меньше, обожженные и раненые, выли так, что пришлось сорвать шлемофоны, чтобы не слышать того, что творится в наушниках.

Но мы быстро собрались. И ответили еще большим overkill'ом. Выложили все, что у нас было.

* До встречи, Крокодил (Жаба) (англ.).

** Авторские придумки АС'a.

*** Сверхмощный удар (средство поражения избыточной мощности) (англ.).

Муриэнн Тюльи раздолбала один АТВ из лазера САКО. Папа разбил второй термитным снарядом из «Мицуоки». Из обоих транспортеров не сумел выбраться никто. Из остальных, которые тоже полыхали, высыпали рейнджеры из Ifigenia-*Thetis Interplanetary Securiti Forces** в черных кевларовых панцирях и шлемах с зеркальными щитками, от которых они и получили свое прозвище.

И пошло-поехало. Дым, огонь, гул, крик, рев и шипение выливающейся из емкостей воды. Зеркальщики, вероятно, думали, что оттеснят нас с ходу, ворвутся в коридоры на Второй уровень. Но у нас не было выхода — мы вынуждены были идти вперед, в док, в котором стоял «Исоги-Мару», грузовик, единственный наш шанс на спасение.

Прежде чем Валери и Папа Куксарт установили треногу «Стальуорта», нас немного прижали — граната и снаряды из «Крафтсманов» мало помогали. К тому же у них были свои собственные «Крафтсманы» и двуствольные «Даихацу». И они умели ими пользоваться. Мы начали таять. Они тоже. Но их было больше.

И тут заговорил «Стальуорт». «*Lasciate ogni speranza***, — сказал он, и Третий уровень превратился в Дантов ад. Валери, на коленях, с прижатым к прицельнику лицом, верещала, будто психованная, а огнемет полыхал и исторгал пламя, от которого плавились бетон и стальная арматура. Муриэнн и Культюр-Вультюр всаживали в пламя гранату за гранатой из САКО.

— Хватит! — рявкнул я, видя, что и верно — хватит. — Хватит, Валери. Кончай палить!

Она оторвалась от прицельника. Глаза были сумасшедшие, на испачканном лице слезы прочертили жутковатый

* Межпланетарные охранные силы «Ифигении-Фетиды» (англ.).

** Спасайся кто может (ит.).

узор. Я поднял с земли «Мицукки». Он был заряжен. Я выстрелил из-под мышки, не целясь. Термит выжег в стене зала дыру, сквозь которую запросто проехал бы АТВ. Папа Куксарт вежливо отодвинул Валери, поднял «Стальуорт» вместе с треногой.

— Брось, — буркнул я. — Он свое сделал. Мы не можем тащить с собой тяжелое оружие. Берите только карабины и САКО. Сиобан, Вультиор — в пролом. Кончайте. Идем в док. Они вот-вот окружат комплекс! Валери, что с тобой? На ноги, язви тебя! Подымайся!

Валери поперхнулась, раскашлялась, глядя на то, что валялось вокруг нас, а вокруг нас валялись кровавые клочья, оставшиеся от группы охраны. Я грубо дернул ее, поднял с колен. Она взглянула мне в глаза. И мне вдруг стало чертовски обидно. Обидно, что меня с Валери ничто не связывало. Ничто. А ведь было такое время, когда что-то могло связывать. Но я уже тогда знал, что больше такое время не наступит.

Мы побежали. Издалека, из-за дыма, огня и воды, уже слышался рев новых транспортеров, карабкающихся по на валам на своих надувных скатах.

«Исоги-Мару»!

Стальная лестница. Платформа с поручнями. Гул и крик, черные фигурки в зеркальных шлемах.

Наверху и внизу. А мы — посередке. Вокруг нас желе зо пошло искрами от снарядов.

«Исоги-Мару»!

Чудеса случаются нечасто. Не ежедневно. И не в тот день. Когда мы, задыхаясь, влетели в спасительный коридор, Папа Куксарт получил в затылок снарядом СЛАП. Его голова просто-напросто исчезла вместе со шлемом и засунутой за ремешок шлема пачкой «Кэмела». Одна рука

упала на металлический помост, другая еще держалась, хоть трудно сказать, на чем. Мы восприняли это спокойно — каждому хватало своих неприятностей. Целым не был никто. Мы истекали кровью, спотыкались, падали, поднимались.

«Исоги-Мару»!

На Втором уровне Муриэнн упала и подняться уже не смогла. Валери сорвала с себя ремни портупеи, пристегнула замки к ремням ирландки и потащила ее по стальным плитам, а я, стоя на коленях, выпустил по настигающим нас зеркальщикам все оставшиеся у меня кумулятивные ракеты из «Мицуоки». Все три. Последней раздолбал лестницу — термит превратил пол уровня в художественную паутину, истекающую искрами и слезами расплавленного металла.

Из коридора застучали «Крафтсманы», в наушниках забиврировал крик обеих девушек. Я кинулся за ними — побежал вслед за широкой, блестящей лентой крови, которую Муриэнн оставила на плитах. Зеркальщики окружили нас, вырезав лазерами проходы в стенах комплекса. Но помост был узкий, тесный, а громадная бочка резервуара с водой давала немного укрытия и защиты. Зеркальщики подошли так близко, что некоторые из них даже выдвинули телескопические штык-ножи на стволах своих «Даихацу». Но нам очень хотелось выжить. Последних мы замочили с расстояния в несколько метров — я из моего «глока», Муриэнн — из древнего «вальтера».

А когда они отступили и дали нам передышку, когда я понял, что Культюр-Вультур мертв, увидел, как Муриэнн, сотрясаемая конвульсиями, лежит, прижавшись лицом к стальной плите, а Валери заканчивает перевязывать себе бедро first aid packet*, я нашел выход. Через вентиляционную шахту, крышку которой разбили СЛАПы.

* личный перевязочный пакет (англ.).

— Валери, Сиобан! Быстрее!

Муриэнн подняла голову.

— Я не могу встать, — сказала она внятно и кратко. — Не могу пошевелить ногами. Позвоночник. Оставь меня.

Вы, наверное, не поверите, но это прозвучало вовсе не патетически. У нашей профессии есть свои принципы, свой неписаный кодекс. Я опустился на колени и подцеплял ее в грязную, окровавленную щеку. Потом помог сесть, прислонил спиной к резервуару с водой. Дал «Крафтсман» и последний оставшийся у меня рожок. Валери, тоже молча, положила рядом с ней бандольеру с гранатами. Обеими. А потом, не оглядываясь, мы вползли в шахту. Я и Валери. Больше мы не могли ничего для Муриэнн сделать. Поверьте.

Далеко уйти не удалось, когда услышали, как она стреляет из «Крафтсмана». А минутой позже раздался ее крик. Нет, не крик. Пение. Муриэнн Сиобан Тюльи, рыжая Муриэнн Сиобан Тюльи из Дублина с красочной Фениан-стрит, пела, опорожняв последний рожок в зеркальщиков, идущих с телескопическими штык-ножами на стволах «Даихацу» к ней по ступеням.

In Dubblin's fair citi
Where the girls are so pretty...

«Крафтсман» захлебнулся и умолк, а потом с небольшим перерывом взорвались две гранаты.

I first set my eyes on sweet Molly Malone...

Выстрелы из ее старомодного «валтера». Один, второй, третий... И пение, все более дикое, все более отчаянное.

As che wheeled her wheellartow
Thru's treets broad and narrow,
Cryng...

Выстрел. И тишина.

Муриэнн Сиобан Тюльи с Фениан-стрит.

Мы ничего не могли поделать. Ничего.

Когда я вытянул Валери ван Хутен из вентиляционной шахты на платформу, она умерла. У нее была разорвана бедренная артерия. Она истекла кровью под кое-как наложенной повязкой. До и во время боя она глотала Euphorel Battle Dust, а когда получала пулю, впрыскивала себе стимуляторы и анальгетики. Она не чувствовала боли и не понимала, что умирает. Она умерла точно в тот момент, когда нас отыскали парни Яна Гийперса. Когда Гийперс услышал, что получил SYA, то вспомнил о доке, в котором стоял забытый грузовик «Исоги-Мару». И спас свою задницу. Свою и тех парней и девиц, которых вел и которым удалось пробиться. Потому что, послав ему SYA, я ни слова не сказал о грузовике ни ему, ни Новаку, ни Райкиннену. У нашей профессии свои законы и принципы. Гийперс, Новак и Райкиннен должны были отвлечь внимание, притащить зеркальщиков на себя. А «Исоги-Мару» должен был забрать с планеты меня, Папу Куксарта, Сантакану, Культюр-Вультора и Муриэнн Тюльи.

И Валери.

Но Валери умерла.

Поверьте, мы улетели без осложнений. Нас не разделяли под орех ракеты «Нашвилла» и «Электры», не поймали тральщики, за нами не послали истребителей и охотников. Чудеса случаются нечасто. Но для нас это был явно счастливый день.

* * *

И мы улетели.

И тогда, на борту «Исоги-Мару», который, отбросив грузовой отсек, оказался вполне приличным кораблем, я дал очень глупое, прямо-таки идиотское обещание. Обмотанный бинтами и повязками, накачанный вливаниями, я кое-что пообещал адмиралу Раскину по прозвищу Жаба, кое-что пообещал адвокату Ямаширо из концерна Shraeder & Haikatsu, а также Каленбергу, президенту этого концерна. Конечно, в своем обещании я не забыл ни компании «Ифигения-Фетида», ни ее вооруженное крыло, ни зеркальщиков из Interplanetary Security Force. Я учел всех. И добавил — на будущее — всех тех, кому вздумалось бы встать у меня на пути, кому захотелось бы нам пересечь дорогу, кому пришло бы в голову нам помешать.

Я дал обещание. И сдержу его. Пусть на это уйдут годы, даже десятки лет, я не забуду, кому и что я обещал. Ты слышишь, Сиобан? Вы слышите меня, Хайме, Папа, Вультюр? Новак? Эйнар?

Ты слышишь меня, Валери?

Потерпите. Я не забуду.



ТАНДАРАДАЙ!



—Некрасивая я, — сказала Моника Шредер, глядя в зеркало.

И Моника Шредер была права. Что еще хуже, мнение Моники Шредер по данному вопросу полностью совпадало с мнением окружающих.

Нет, Моника Шредер не была уродлива. Просто — некрасива. Она была квинтэссенцией некрасивости, она излучала некрасивость, способную затмить все, что сделало бы красивой кого угодно, даже уродливую. Каким-то непостижимым образом сочетание элементов, самих по себе привлекательных, красивых, мало того — прекрасных, складывалось в случае Моники в нечто усредненное, непривлекательное, невыразительное. Ее волосы, которым надлежало быть золотисто-пепельными, выглядели серыми и тусклыми. Их природная пышность, их исполненная индивидуальности и очарования тенденция к непокорности любым гребням и щеткам приводила к тому, что выглядели они неряшливо и лохмато-

Tandaradei! © Andrzej Sapkowski, 2000.

© Перевод. Барзова Е.А., Мурадян Г.Г., 2002.

то, и никакие старания этого не меняли. Не помогал и самый искусный макияж — даже с помощью дорогой косметики ничего не удавалось сделать с глазами, которые всегда смотрели тускло и невыразительно сквозь толстые линзы очков. На ее фигуре, вообще говоря, вполне привлекательной, любой набор стильных и изящных вещей создавал в сочетании эффект, который при всем желании не мог быть признан радующим глаз.

То, что о всех вышеперечисленных факторах Моника Шредер знала прекрасно, только осложняло дело. Отдавая себе отчет, что она не в состоянии себя украсить, став взрослой, Моника планомерно и последовательно делала все, чтобы не выделяться, слиться с толпой, стать заурядной и незаметной. Эта своеобразная мимикия, призванная замаскировать, спрятать некрасивость, ясное дело, имела результат полностью противоположный.

Именно сейчас, в пять утра, стоя перед треснутым зеркалом в пронизанном лучами света полумраке кемпингового домика, Моника сильнее, чем когда-либо, ощущала свою некрасивость. Раскаивалась, что поехала, что решилась на этот отдых в глухи, в отсутствии комфорта, отдых, который должен был стать романтичным, а оказался исключительно тягостным. Туристическое агентство «Rommar Travels», напомнила она себе. «Ты одинока? Сообщи нам свой возраст, профессию, образование, увлечения. Напиши, о чем ты мечтаешь, и мы устроим тебе каникулы твоих грез».

Каникулы моих грез.

Поехала, потому что была одинока, потому что не хотела одиноко проводить лето в городе. Вообще-то «Rommar Travels» не обмануло и не преувеличило, хотя явно выделяло

при отборе анкет графу «Образование». Вокруг так и роились алчущие докторицы и разведенные доценты.

Каникулы моих грез...

Поездка должна была стать для Моники еще одной попыткой доказать себе, что она любит общество. Попытка, как множество других предыдущих, оказалась неудачной. Моника в очередной раз не доказала себе ничего — кроме факта, что ненавидит одиночество.

А она была одинока. Все так же одинока. Случайная соседка, Элька, прозванная по непонятным причинам Куропаткой, за несколько первых дней заезда озвеверевшая от щебетания, беспечности и творившегося вокруг балагана, в последнее время взяла привычку исчезать вечерами и возвращаться поздно ночью. Но ни разу еще, как сейчас, под утро. У Моники не оставалось никаких сомнений относительно текста, который Куропатка должна была бы вписать в вопросник «Rommar Travels» в графе «Увлечения».

Поначалу Моника пришла в ужас. Испугалась, что Куропатка из тех, кто полагает красочное и подробное повествование своего рода финалом игры, естественным и непременным завершениемочных впечатлений. Этого бы Моника не вынесла точно. К счастью, Элька не была рассказчицей. Даже наоборот, умела хранить тайны. Что, однако, не мешало ей инстинктивно демонстрировать удовлетворение и превосходство, каковые в природе самка избранная обязана проявлять в отношении самки пренебрегаемой.

Пренебрегаемой Моника Шредер себя не чувствовала. Ей было двадцать шесть, позади — целых два серьезных эротических опыта. Характер и развитие обоих привели к тому, что по третьему она не страдала.

И все же...

— Некрасивая я, — сказала она треснутому зеркалу. И не расплакалась. Чем была очень горда. Ничего нет хуже, чем начинать день со слез.

День? Трудно еще назвать это днем. Дом отдыха спит сладким сном, дожидаясь, когда солнце высушит росу, нагреет воздух — еще колючий, покусывающий холодом.

Она легла, пристроила повыше подушку, потянулась за книгой. Попыталась найти место, где закончила читать вечером, сонная, измотанная ожиданием Эльки. Не нашла. Вернулась к началу, к странице, заложенной маленьkim засушенным цветком анютиных глазок. К самому любимому месту. Всего несколько строф, подумала она. Всего несколько.

Unter den Linden
 Bei der Heide,
 Wo unser beider Bette gemacht
 Da mogt ihr finden
 Wie wir beide
 Pflucken im Grase der Blumen Pracht
 Vor dem Wald im tiefen Tal
 Tandaradei!
 Lieblich sang die Nachtigall.*

* Встретились под липами, у луга.
 Нам цветами стелены постели.
 Видели бы вы, как друг для друга
 Нежность страсти дарит нам веселье!
 В долине глубокой — лес зеленей.

Тандарадай!

О, как волшебно поет соловей! (нем.). — Здесь и далее перевод стихов Н. Эристави.

— Тандарадай, — прошептала она в задумчивости, опуская книгу. Закрыла глаза.

— Тандарадай, — сказал миннезингер.

Он был очень худой, даже тощий, развеиваемый ветром плащ плотно облеплял фигуру, еще более подчеркивая эту худобу. Его тень — тонкая, прямая — черной чертой пересекала гобелен, на котором белый единорог поднимался, вставал на дыбы, вскинув передние ноги в геральдической позе.

— Тандарадай, — повторил миннезингер. — Эта песнь... Сколько воспоминаний. Сколько дивных воспоминаний. *Unter den Linden, bei der Heide...** Ты... Да, это ты. Льноволосая...

Моника повела руками, раздвигая цветы, тысячи цветов, среди которых лежала. В большинстве своем то были розы — красные, влажные, пышные, роняющие лепестки.

— Как тогда, — тихо протянул миннезингер, а глаза его были черные, холодные и глубокие, словно Рейн у скалы Лорелей.

В замке в Вюрцбурге... А может, еще позже, в Швабии, при дворе Филиппа... Помню полные губы Беатрикс, дочери Беренгара фон Пассау. А потом, много лет спустя, я слышал ту песнь на постоялом дворе близ Вормса. *Vor dem Wald im tiefen Tal...*** Пробуждаешь ото сна.

Моника крепко сомкнула веки.

Пробуждаешь ото сна. Та песнь... Пребывала так долго. Помню, пели ее на марше, когда шли из Мариенбурга на встречу с комтуром Вольфрамом де Лисом к переправе у Дрвенцы. А еще позже, много лет спустя, пели ее вместе с другими под Франкенгаузеном, когда склоны горы Гаусберг заливала кровь взбунтовавшихся холопов.

* Под липами, у луга... (нем.)

** В долине глубокой — лес зеленей... (нем.)

Пробуждаешь ото сна.

Моника лежала неподвижно на ложе из цветов. Глядела прямо в глаза миннезингера. Никогда не видела таких холодных глаз. Никогда не видела этого лица. Только улыбку...

Дай руку.

Да, эту улыбку уже когда-то видела. Точно видела.

Вот только не помнила где.

— Дай руку.

Из-за спины миннезингера выросли иные создания в гротескных масках из шкур, трясущие огромными ушами. Наастал тихий ритмичный напев, многоголосый невнятный хор, отдельные, четкие, незнакомые слова...

Тандарадай!

— Моника, — позвала Элька по прозвищу Куропатка. — Эй, Моника, не знаешь, где сахар?

— Что? — Моника вскочила, скинув книгу на пол, шаря руками по постели. — Что? Эля? Я заснула?

— Нет, — сказала Элька, закрывая дверцы шкафа с жутким грохотом, спугнувшим остатки дивного сна. — Наоборот. Проснулась как раз вовремя. Девять часов. Слушай, Моника, не могу найти свой кофе. Видно, куда-то переложила. Можно взять немного твоего?

Моника потерла глаза костяшками пальцев, потянулась за очками.

— Можно, Эля.

Сигналы, повторяющиеся и днем, и ночью, были тихие, на первый взгляд незначительные, едва заметные. Лекарка из домика на вершине холма не сразу их оценила. Куда быстрее оценил кот — дал знать переменой поведения, беспокойством, безудержной агрессией, направленной на все

подряд. Лекарка заметила это, но не придала значения, отнесла настроение животного на счет хищнической, неукротимой натуры. Не удивило ее и то, что барсук, обычно бегавший за ней, как собака, забился в кладовку и не вылезал целыми днями. Лекарка объясняла это страхом перед выходками кота.

Последующие сигналы уже были более четкими: вечернее кваканье лягушек, начинающееся внезапно, прерываемое долгими периодами пронзительной, исполненной ужаса тишины. Утренние бесшумные отлеты козодоев — тучами, от которых словно темнело в воздухе. Изменившийся, гневный ропот реки среди поваленных деревьев.

Что-то готовится, подумала лекарка. Что-то готовится.

На следующий день у самого края леса она нашла растерзанную сойку. Капли спекшейся крови блестели, словно бусинки, на рыжеватых перышках. Лекарка знала, что это не проделки кота. Кот, бежавший следом, при виде мертвой птицы зашипел, припал к земле, посмотрел испуганно ей в глаза.

— Из Трясины и Топи, — прошептала она.

Кот мяукнул.

Она вернулась во двор — задумчивая, неспокойная. И тогда...

Кот зашипел, выгнулся спину.

На двери дома не было серпа, который всегда висел там, убранный сухой метелкой целебных трав. Повернулась — в самую пору, чтобы увидеть, как кривая железяка летит к ней, кувыркаясь и свистя в воздухе.

— Эт! — выкрикнула она, вжавшись в нишу.

Серп завертелся, закрутился, словно живая лента, отклонился от траектории, с грохотом врезался в ободран-

ную дверь, яростно завибрировал, запел металлическим стоном. Лекарка слышала, как черный лес, склонившийся над обрывом, заверещал в зловещем смехе.

— Дескат, — прошептала она. — Ты... Узнаю тебя...

Кот шипел. Серп вибрировал, дрожал и пел.

— Ну нет, Моника, — сказала Эля по прозвищу Куропатка. Сняла темные очки и принялась осторожно смазывать кремом курносый нос. — Так правда нельзя. Почему ты не хочешь поехать с нами? Со всем народом? Почему все время сидишь одна?

— Неважно себя чувствую.

Отнюдь не лживо, подумала Моника. При одной только мысли о вашей крикливой компании мне становится дурно. Не понимаю ваших шуток. Не заражает меня ваша веселость, наоборот — раздражает. И не уверена, кстати, что это не является вашей целью.

— Ну правда, Моника, — щебетала Элька, стоя у самого шезлонга, прямо над ней. — Надо поехать. А как там красиво, у реки, ты даже себе не представляешь...

Александр, подумала Моника, не заслоняй солнца.

— Яцек, тот историк, знаешь, тот, который один живет в двенадцатом, — Куропатка втерла остаток крема в ладони, распространяя вокруг запах Л'Ореяля, — приятель того блондина, у которого был темно-синий «ауди», знаешь...

Знаю.

— ...он так интересно рассказывает...

Знаю.

— ...об истории этого места, о войнах, о переселении народов, о шабашах ведьм, о культе всяких там демонов, о

раскопках, говорю тебе, Моника, часами можно слушать. Знаешь, что он расспрашивал меня о тебе?

— Кто? — Моника подняла голову.

— Яцек. Этот историк.

— Обо мне?

— О тебе. Откуда ты, где работаешь. Положил он на тебя глаз, Моника. Везучая ты. Такой мужик!

О Боже.

— Не прикидывайся, будто не заметила, как он на тебя смотрит. А, Моника?

Заметила, заметила.

— Нет, Эля. Не заметила.

— Я правда не понимаю, как с тобой разговаривать, — надулась Куропатка. — Что тебя гложет, деточка? Что-то ты скверно выглядишь, может, у тебя месячные? Ой-ой, прошу прощения, не смотри на меня так, я сейчас умру. Мы договорились через полчаса, все, я пошла к ним. Вернемся к обеду. Или к ужину. Пока.

— Пока, Эля.

Между ветками корявой сосны паук сплел паутину — тонкая, филигранная работа. Прекрасное в природе, подумала Моника, имеет цель, оно не является прекрасным чисто эстетически. Имеет цель, даже если эта цель — убийство.

На страницу опустилась божья коровка. Моника сняхнула ее, качнув книгу.

— Полети на небо, — сказала вполголоса.

Божья коровка не упала на землю, в полете развернула неловко крыльшки, взмыла вверх — прямо в центр паутины.

Паук, огромный крестовик с толстым брюшком, выско-чил из своего укрытия в скрученном, оплетенном коконом

листе. Божья коровка не спеша рвала нити паутины напором хитинового панциря. Еще минута — и вырвется, подумала Моника.

Но паук оказался проворным.

Убегай, подумала она, стиснув зубы. Убегай, паук. Живо!

Паук задергался на нитях, молнией метнулся в скрученный листок.

Я его испугала, удивилась Моника. Вздор, тут же подумала она, больше всего на свете паук не любит красных жуков, покрытых хитиновым панцирем. Предпочитает мягких и сочных мух. Это ясно как божий день.

Она вздрогнула, услышав за спиной шаги.

— Здравствуй, Моника.

— Здравствуй, Яцек.

О Боже.

— Как всегда, носом в книжку? Моника, обращаю твое внимание на то, что это — отпуск. Явление, которое бывает раз в год и, увы, заканчивается слишком быстро. Действительно, жаль каждой минуты. Моника!

— Слушаю, Яцек.

— Куропатка мне передала, что ты не хочешь ехать с нами на речку. Якобы ты отказалась, безжалостно отвергла предложение. Меня это огорчает особенно, поскольку предложение было мое. Итак, я пришел, чтобы исправить ошибку, коей было использование Куропатки в качестве посредницы. Я сам должен был тебя попросить. Уже давно.

Отойди, прошу. Плохо мне, когда стоишь так и смотришь на меня. Не хочу твоего взгляда. Не хочу, чтобы касался меня твой взгляд.

— Поехали с нами, Моника.

Отойди, прошу.

— Нет... Извини. Может, в другой раз.

— Неужели чтение, коему ты себя посвящаешь, интереснее, чем перспектива моего... нашего общества? Что ты читаешь, Моника?

— Ох... Это поэзия, Яцек. Старинная немецкая поэзия.

— Это я вижу. Понял по готическим буквам, которых сам читать не люблю, несмотря на то что мой учитель немецкого сумел-таки вбить мне в голову основы языка Гёте. Чьи это стихи?

— Не думаю...

— ...чтобы обычный историк мог знать такие стихи? Эх, филологи! Как же вы часто присваиваете себе монополию на познания в литературе и языках. Есть в тебе хоть какая-то азартная жилка, Моника?

Подняла глаза, полностью отдавая себе отчет в том, что поднимает лицо и очки.

— Не поняла...

— Предлагаю маленькую игру с высокой ставкой. Совсем как у Пушкина — тройка, семерка, туз. Если на основе одной-двух строк я угадаю, чьи это стихи, ты едешь с нами. Если ошибусь, уйду в печали и не буду более досаждать тебе.

На мгновение задумалась. Невозможно, решила она. Настолько малоизвестный...

— Ладно, — сказала, опуская голову, чтоб он не заметил улыбки.

Unter den Linden
Bei der Heide
Wo unser beider Bette gemacht...

— Вальтер фон Фогельвейде, средневековый немецкий поэт и трубадур, жил на рубеже двенадцатого и тринадцатого веков. — Он засмеялся. — Стихи называются «Unter den Linden»*. Проиграла, Моника. Ваша дама бита, товарищ Герман. Забираю все рубли со стола. И тебя, Моника, забираю тоже.

Улыбнулась, на сей раз — не таясь. Что ж, подумала, может...

— Между нами говоря, — сказал он, — это тебе идет.
— Что?

— Средневековая поэзия, песни труберов, — сказал он, глядя ей в глаза. В очки, мысленно поправилась она. — Это тебе идет. Поэтическая натура, пленительно несовременная, внутренне сложная, однокая натура. Магия. Ну, льноволосый эльф, собирайся. Едем.

— Да, — сказала, все так же слегка улыбаясь. — Что ж, слово сказано... Через минуту приду к вам. Через минуту.

— Ждем.

Она встала не сразу. Сидела, опустив голову, всматриваясь в готические буквы, витые, изогнутые, колеблющиеся, словно маленькие знамена, развевающиеся на стрельчатых башнях. Слышала звон лютни, далекий и тихий.

Белый единорог вставал на дыбы на зеленом гобелене, вскинув передние ноги в геральдической позе.

Вершина холма была ровная, плоская, словно срезанная бритвой. Домик с белеными стенами, устроившийся среди кривых яблонек, притягивал, звал к себе.

Она остановилась в нерешительности, глядя, как все сбегают вниз, к реке, по песчаному, нагретому солнцем склону.

* «Под липами» (нем.).

Слышала мужские возгласы и смех, далекое, негромкое по-звякивание канистры с пивом. Писк девчонок, вбегающих на мокрый луг.

— Любопытный холм, правда? С первого же взгляда видно, что он не естественного происхождения.

— Да, Яцек? Почему не естественного?

— Взгляни на его форму, какая правильная. На расположение. Моника, тут могла быть когда-то крепость, стерегущая переправу. А может, храм какой-то богини, почитаемой поморами. Или место жертвоприношений, священный холм язычников — пруссов, готтов или заблудившихся кельтов? Столько народов прокатилось по этим местам, столько неисследованного скрывает эта земля... Ну, пойдем. Поговорим об этом еще на нашем роскошном привале.

— Сейчас... сейчас к вам приду. Чуть попозже.

— Почему?

— Хочу пройтись. — Она опустила голову.

— Если позволишь...

— Нет, — ответила быстро. — Извини. Я одна.

Почему он так на меня смотрит?

— Ладно, Моника. Но помни, мы тебя ждем. Я хотел бы, чтоб ты была с нами. Со мной.

— Приду.

Холм. Неестественный?

Сделала шаг вперед. Внезапно почувствовала, что должна идти дальше. Потому что за спиной — черная стена бора, мокрого, темного, тревожного, а впереди — солнце и блестящая лента реки у подножия холма, среди ольх.

Лес отталкивал, шептал голосом, пронизывающим ужасом, голосом, в котором осязались злоба и угроза. Белый

домик над обрывом — светлый, теплый, дружелюбный. Звал ее, притягивал к себе, уговаривал.

— Здравствуйте... Есть тут кто-нибудь?

Темные сени, в темноту вбита полоса света, набухшая кружащимися пылинками. Вхожу, непрошенная, в чужой дом, подумала она. Сейчас кто-то выйдет, глянет на меня неприветливо, и я почувствую себя отвергнутой, обиженной. И расстроюсь, хоть и сама во всем виновата. Как всегда.

Комната, заставленная темной мебелью. Тяжелый, приторный запах трав.

— Здравствуйте! Извините...

На столе — стакан в металлическом подстаканнике, ложечка, вонзенная в кофейную гущу, очки в проволочной оправе.

И книги.

Не зная, зачем она это делает, приблизилась. Книги — старинные, в ободранных картонных переплетах. Тисненные золотом буквы, говорящие, что это — энциклопедия Оргельбранда, затертые, едва можно прочесть. Она наугад открыла обложку.

Это была не энциклопедия Оргельбранда.

Эта готика не несла отзвуки лютни. Эта готика — черная и зловещая — кричала грозно, по-тевтонски.

«Geheimwissenschaften und Wirken des Teufels in Preussen», Johann Kiesewetter, Elbing 1792.* На титульном листе — пентаграмма, знаки Зодиака, другие символы, странные, тревожные.

Вторая книга. И снова под фальшивой обложкой — тяжелые, шероховатые от строк страницы и настоящий титул: «Dwymmermorc». И все. Следующая. Иной шрифт, иная пе-

* «Тайные науки и деяния чертей в Пруссии». Иоганн Кайзеветтер, Эльблин 1792 (нем.).

чать. Человек с головой козла, скрестивший на впалой груди руки с длинными пальцами. «*La lettre noire, Histore de la Science Occulte*», Jules de Bois, Avignon 1622.*

Очередная, почти что рассыпающаяся, кричащая тремя словами, огромными буквами-пауками посреди полуистлевшей страницы: «*Tractatus de Magis*»**.

И еще одна.

Когда она потянулась, чтобы открыть книгу, перевернуть оргельбрандовскую обложку, ладонь дрожала, вязла в непонятной преграде, в ауре, запрещающей доступ. И в то же время иная, противоположная сила притягивала руку словно магнит.

«*Зерцало Черной Магии* Басурманской от Абдула из Хасреда. Перевел Ежи Слешковский, иезуит A.M.D.G. В Кракове, в Типографии Миколая Эборского JKM Ord. Печатника, в Лето Господне 1696».

Тяжелые, слизищиеся, обтрепавшиеся страницы, поблекшие, полуустертыые строки. Она хотела перевернуть страницу.

Что-то остановило ее. Что-то, что завязло в горле, прилипло к небу — ужас, отвращение, тошнотворное омерзение. Казалось, клейкие строки со страницы незаметно вползают ей на руку. Она закрыла книгу, вздрогнула, в ушах, в голове внезапно взорвался многоголосый хорал. Бормотание, крик, непонятные слова.

Выйти, подумала она. Я должна отсюда выйти.

Вопреки себе потянулась за очередной книгой. «*Phanomene, Damone und Zaubereysunden*», R. Ennemoser Nurnberg 1613.***

* «Черные письмена, история оккультных наук», Жюль де Буа, Авиньон 1622 (фр.).

** «Трактат о магии» (фр.).

*** «Явления, демоны и колдовство». Р. Эннемозер, Нюрнберг 1613 (нем.).

Перевернула страницу.

Белый единорог, поднявшийся на дыбы, вскинул передние ноги в геральдической позе.

Открыла наугад, в середине тома. Размытые готические буквы будто зашевелились, назойливо вбивались в глаза и в сознание.

...wie lautet der Name des Dämons? Der Hagre Junge, da er unsern geheymen Sünden und unsre Bösheyt frisset und trotzdem hager bleybet. Das Brennende Kind, das mit Hasse brennt. Und der echte Name? Der ist unaussprechlich, schrecklich. Deskath, was zugleich Die Wahrheyt oder Der Betrug bedeutet. Zernebock, der Schwartze Wahnsinn...*

По странице мелькнула быстрая тень, на стол тяжело и бесшумно приземлился огромный черный котище. Моника отпрянула, подавив крик. Котище смерил ее недружелюбным взглядом золотисто-желтых глаз, потянулся, соскочил со стола и вспрыгнул на кровать.

Старушка была маленькая, но несгорбленная, ее лицо, изборожденное морщинами, — серьезное и сосредоточенное. У нее были большие, необычно светлые глаза — настолько светлые, что казались почти прозрачными, словно линзы, словно опалы-кабошоны.

* Как звучит имя демона? Худой юноша, который пожирает грехи наши тайные и злобу нашу, пожирает — и остается худым. Огненное дитя, что горит ненавистью. Как звучит его истинное имя? Оно ужасно, произносить его нельзя. Дескать имя его, что означает истину и ложь. Зернебок**, черное безумие... (нем.).

** Согласно «Бестиарию» А. Сапковского, под именем Зернебок (Zernebock) в германские поверья проник славянский Чернобог — демон ада высшего ранга, бог абсолютного зла, властелин Черного Замка в Нави, северной стране Тьмы. — Примеч. ред.

— Извините, пожалуйста, — пролепетала Моника. — Дверь была не заперта. Я знаю, что не должна была...

Она заложила руки за спину и принялась выламывать пальцы. Как обычно.

— Ничего страшного, — сказала старушка, подходя к столу. Закрыла книгу, метнув мимолетный взгляд на открытую страницу. — Этот дом открыт для всех, кто хочет знать, — сказала она. — Слушаю тебя, дитя.

— Я... я совершенно случайно... Проходила мимо, и... Я с теми, которые у реки... Вы, наверное, видели машины...

— Ты совсем не с теми, которые у реки. — Старушка покачала головой. — А должна бы. Должна быть с ними, а между тем ты тут. Зачем?

Моника умолкла, полуоткрыв рот.

— Искала в книге ответ на вопрос? Не самый лучший способ, дитя. И уж тем более не советовала бы тебе пользоваться теми книгами, что здесь лежат.

— Я еще раз прошу прощения. Я не должна была... Я пойду.

— Не задав своего вопроса?

— Какого вопроса?

— А этого, милое дитя, я не знаю. — Светлые глаза старушки посветлели еще более. — Я не могу заранее знать вопросы. Знаю только ответы, да и то — далеко не все.

— Я... не понимаю. Я пойду.

— Воля твоя. Если захочешь вернуться и задать свой вопрос, помни, что дом старой лекарки открыт всегда.

Иисусе, подумала Моника. Нарвалась на деревенскую бабку. Из тех, что делает подпольные аборты. Она думает, что я...

— Странные мысли бьются у тебя в голове, дитя, — резко сказала старушка. — Сумасбродные, странные, неподходящие мысли. Не нравишься ты мне. Подойди поближе.

Нет, подумала Моника. И сделала шаг вперед. А потом другой. И третий.

— Ближе.

Нет!

Еще один шаг. Против собственной воли.

— Говори.

Моника беззвучно зашевелила губами. Глаза, светлые глаза, почти прозрачные...

— Забытая, — пробормотала лекарка.

Бормочущий хор, отдельные, непонятные, пронзающие ужасом слова, выкрикиваемые в ритмичном распеве...

— Нет, — внезапно сказала старушка. — Не подходи. Ни шагу дальше.

Моника задрожала от холода, внезапной волной хлынувшим ей на затылок, на плечи.

— Забытая, — повторила лекарка, щуря прозрачные глаза. — Да, никаких сомнений. Тянет вас Река, тянет этот холм. Тянут вас эти книги, тянут, словно магнит.

Кот, прильнувший к подушке, зашипел, поднял голову.

— Иди, — сказала лекарка. — Возвращайся к тем. Они тебя ждут. Ты принадлежишь им. Ты уже принадлежишь их миру, хочешь ты того или не хочешь.

Моника дрожала.

— Ступай.

Головная боль, которая настигла ее во второй половине дня, сразу по возвращении с экскурсии, длилась и нарастала, застилая глаза, до самого вечера. Не отступила после

двух таблеток баралгина, не ослабла после двух таблеток пиралгана. Свалила с ног, вдавила лицом в подушку. Вслушиваясь в тупое биение крови в висках, Моника Шредер ждала сна.

Она стояла, недвижная, среди кривых яблонек, в обезумевшем мальстрeme серых безгласных птиц, в самом центре штиля, вихрящегося от бесшестных ударов стремительных острых крыльев, среди тысяч разгоняющихся серых полумесяцев, из которых каждый, казалось, целил прямо в нее, но в последний миг менял направление, мягко поглаживая, не ударял, не ранил.

Свеча, окруженная призрачным слезящимся ореолом, озарила помещение, заставленное темной мебелью. Глядящие на нее глаза были светлые, почти прозрачные, как линзы, как опалы-кабошоны.

— Задай свой вопрос. Я вызвала тебя, чтобы ты задала свой вопрос.

Кивнула. Медленно подняла руки, коснулась волос, откинула за плечи, провела пальцами по лбу, по щекам, по губам. Лекарка не смотрела на нее. Не отрывала взгляда от книги, что держала на коленях.

Опуская руки, ступила на шаг вперед. Кот фыркнул. Посмотрела вниз, под ноги, на белую запретную линию, начертанную на полу. Лекарка подняла голову.

— Забытая, — сказала тихо. — Ты — Забытая. Не думай даже о возвращении, нет возврата для такой, как ты. Ты — Забытая, для тебя будет лучше, если такой и останешься. Для всех будет лучше.

Она покачала головой, провела ладонями по шее, повела вниз.

— Нет, — резко сказала лекарка. — Даже не думай. Эта мысль не разбудит тебя. Зато разбудит другого. Того, кто есть Истина и Ложь. Ты кормишь его, вечно голодного, своими грезами. Пробуждаешь его своим пением. Берегись. Он приходит в снах, которых ты не помнишь. Но он не забывает. Берегись.

В оконное стекло стукнула ночная бабочка, огромная, серая, растрепанная.

— Берегись, Забытая. Истина и Ложь неотличимы, они суть одно. Обе примчатся в одночасье, когда закричишь, примчатся на твой крик. А тогда потянетесь к тебе из мрака рука. Если той руки коснешься, возврата не будет. Воздордится в тебе Огненное Дитя, возродится жар, опаляющий ненавистью. Воздордится Черное Безумие, Чернобог на алтаре из роз.

Лекарка умолкла, опустила голову, простерла руки.

— Берегись ладони, что тянется из мрака. Если ее коснешься, возврата не будет. *Va sivtos onochei!* Вернешься мотыльком — сгоришь. Вернешься пламенем — угаснешь. Клинком вернешься — ржа пожрет. Уходи.

Она почувствовала, как стекает по щеке слеза — раздражающая, назойливая. Нежеланная.

— Уходи.

Вопрос?

— Нет. Не отвечу.

Внезапная вспышка, всплеск силы...

— Нет! — В светлых глазах испуг. — Нет...

Вопрос.

— Ладно. Ладно, Забытая. Если так сильно хочешь.

Хочу.

— Ответ гласит: да. Будешь. Но только в глазах других. А сейчас — уходи. Оставь меня. Уходи.

* * *

Моника проснулась, села на кровати, поглядела в окно, в темноту, голубеющую предвестием зари. Элька по прозвищу Куропатка тихонько похрапывала, лежа на спине, согнутой рукой обнимая подушку.

Моника дотронулась до книги, зарытой в одеяло, врезавшейся в бедро острым краем переплета. Заснула, читая, подумала она.

И видела... странный сон.

Не помнила какой.

— Такое впечатление, что ты избегаешь меня, Моника.

Да, избегаю, отважно подумала она, не в состоянии решить, куда направить взгляд. После недолгих колебаний победили мыски спортивных тапочек.

— Нет, почему же, — пробормотала она. — Вовсе нет.

— Позволишь составить тебе компанию?

Кивнула, испугавшись, что слишком многое вложила в этот кивок.

Шли медленно вдоль ряда белопенных березок, лесной тропой, среди темно-зеленой поросли кустарника, как ограда отмечавшего путь, кое-где разросшегося, пересекающего тропу.

Наверное — она споткнулась, — не надо было так долго ждать. Он подхватил ее, взял под руку, и от прикосновения она вздрогнула, как от удара током. Приятного удара.

— Лето кончается, — нарушил он молчание тривиальным утверждением. — Кончается отпуск.

— Угу.

— Пора возвращаться в город. К книгам, к диссертации. Жаль.

— Будет отпуск и на следующий год, — пробормотала она, размышляя, как бы высвободить руку так, чтобы он не счел это бесцеремонным, агрессивным и невежливым.

— Факт, будет. — Он ласково улыбнулся, еще крепче сжимая ее локоть. — Но что лето кончается — грустно. Не люблю завершений. Завершение — конец сюжета. А я в сюжете, в его фабуле я больше всего ценю эпизоды. Изыщные, красивые эпизоды, которые спасают самый печальный в мире сюжет, жалкий сценарий, каким является наша жизнь. Я философствую. Не наскучил тебе, Моника?

Она не ответила. Высматривала подходящую кочку, чтобы споткнуться о нее и сбежать от тепла, что он излучал.

— Моника?

— А... да? — Она споткнулась, но слишком ненатурально, слишком искусственно, он подхватил ее без труда, не выпустил руки.

— Я все время думаю о... о тех стихах, что ты читала. «Unter den Linden» Вальтера фон Фогельвейде. Есть в этой балладе что-то странное, чего я не в состоянии понять... Моника, я хотел бы кое о чем попросить тебя. Не отказывайся, если сможешь.

— Слушаю тебя, Яцек.

— Почитай мне стихи Вальтера фон Фогельвейде. Пожалуйста.

— Сейчас?

— Нет. Не сейчас. После ужина, когда будет тихо и спокойно, когда опустится тьма. Сдается мне, что эта поэзия может хорошо звучать только вечером, холодным и мрачным, как каменный замок раубритеров. Я зайду за тобой сразу после ужина, предадимся на краткий миг поэзии миннезингеров, песням трубадуров.

— Яцек, я...

— Не отказывайся, прошу.

Моника остановилась, решительно, но не резко, вы-
свободила руку из-под его локтя.

Посмотрела ему прямо в глаза. Отважно, хоть и без
вызыва. Естественно. Честно. Смело.

Скажи мне, чего ты от меня ждешь. Чего ты хочешь от
меня, именно от меня, когда вокруг столько девушек, ярких
и прелестных, как колибри, веселых, щебечущих, желающих
если не флирта, то по крайней мере игры во флирт. Все они
на тебя смотрят, и ни одна не ощущала бы неловкости, если
бы могла гулять с тобой по лесу и слушать твои слова. Лю-
бую из них обрадовала бы мысль о вечере, проведенном с
тобой за чтением стихов. Ни одна не дрожала бы внутренне
так, как дрожу сейчас я. Скажи же, открыто и прямо, поче-
му я? Ведь я же...

Некрасивая!

Она опустила глаза, втянула голову в плечи. Как чере-
паха, мелькнула мысль. Боишься.

— Моника?

— Ладно, Яцек.

Что я делаю, подумала она, склонившись над книгой.
Что я такое делаю? Ведь можно ж было увильнуть, отгово-
риться головной болью, сразу после ужина исчезнуть, вер-
нуться поздно, замкнуть дверь на ключ, прикинуться, будто
меня нет. Можно было что-нибудь придумать. А я сижу
сейчас здесь с ним и...

— Читай дальше, Моника. Пожалуйста.

Ich kam gegangen
 Hin zur Aue,
 Mein Trauter harlte shohn am Ort,
 Wie ward ich emphangen
 O Himmelsfrau!
 Dass ich bin selig immerfort,
 Ob er mich kusste? Wohl manche Stund.

Tandaradeil

Seht, wie ist rot mein Mund.

— У тебя красивый голос, Моника.

Нет. Нет. Не хочу того, что уже было когда-то. Не вынесу, не хочу выносить — унижение, обиду, пустоту, одиночество. Не хочу ни обвинять, ни искать вину в себе. Зачем он так на меня смотрит? Смотрит так, как если бы я была...

(Красивая?)

— Читай дальше, Моника.

Da tat er manchen
 Uns ein Bette
 Aus Blummen mannigfalt und bunt,
 Darob wird lachen
 Wer an der Statte
 Voruber kommt, aus Herzensburg.
 An der Rosen er wohl mag

Tandaradeil

Sehen, wo das Haupt mir lag...

— Это на самом деле прекрасная песнь, Моника. Почти слышится перебор струн лютни трубадура. А существует ли перевод «Unter den Linden» на наш язык?

— Да. Существует.

— Даже не спрашиваю, знаешь ли ты его. Знаю, что знаешь. Прочти, пожалуйста. Те две последние строфы.

— Яцек... Я не помню...

— Румянец тебя красит. Но я знаю, что ты помнишь.

Пожалуйста, Моника.

Шла в долину тайною дорожкой,
Милый ждал меня нетерпеливо.
Как ласкал меня он, Матерь Божья!
Но — была ли я тогда счастливой?
Жар подчуев, любви красота.

Тандарадай!

О, как алеют мои уста!

— Читай, Моника, не останавливайся. Пожалуйста.

Из цветов и трав он стал мне ложе,
Смейтесь, кто проходит стороною,
Веселитесь, но любите все же
Розы под мою головою.
Угадайте в зелени травы —

Тандарадай! —

След моей лежавшей головы.

— Прекрасно, Моника. В самом деле прекрасно. Только, прости, эти стихи нельзя декламировать, понурив голову и таким замогильным голосом. Ты сама знаешь, что Вальтер фон Фогельвейде отступил в этой песни от нелепого канона Миннезинга и рыцарской любви, экзальтации и вздоханий к недоступной даме сердца. Эта песнь, Моника, о любви

осуществившейся, единственной любви, которая имеет смысл, которая дарит радость. Прекрасный эпизод, прекрасно описанный. Эту песнь поет женщина, которая лежала вместе с возлюбленным на ложе из роз... Боже, как тебя красит румянец!.. Она была с возлюбленным — и счастлива, и хочет прокричать об этом на весь мир, хочет, чтобы все видели след ее головы, отпечатавшийся в розах, чтобы все узнали о ее счастье.

— Уже страшно поздно, Яцек. И у меня голова болит.
 — Последняя строфа, Моника.
 — Я не помню перевод, правда не помню...
 — Прочти в оригинале. Но прочти голосом счастливой женщины. Пожалуйста.

Wie ich bei ihm ruhte
 Wenn jemand es wusste
 Du lieber Gott — ich schamte mich.
 Wie mich der Gute
 Herztze und kusste
 Keiner erfuhr
 es als er und ich
 Und ein kleines Vogelein

Tandaradei!

Das wird wohl verschweigen sein!*

* Не дыша я с ним лежала рядом,
 Кабы видел это шедший мимо —
 Святый Боже! — мне б стыдиться надо.
 Как ласкал, любил меня мой милый!
 Видела лишь птица нас в тот час —

Тандарадай! —

Но она не пропоет о нас,
 Не расскажет никому о нас! (нем.)

— Ты околдовываешь меня, Моника.

— Перестань, Яцек. Прошу тебя.

— Ты пленительна, знаешь? В тебе есть великие чары.

Я из-за тебя уже теряю рассудок. Не знаю, как это случилось, Моника, только не могу перестать думать о тебе.

— Яцек... Ты смущаешь меня.

— Моника... Стоит только закрыть глаза, и я вижу твоё лицо, твою улыбку. Чувствую порой, как что-то во мне вибрирует, как что-то стискивает мне горло...

— Пожалуйста, не надо. Уходи. Уже очень поздно, сейчас вернется Эля...

— Еще чуть-чуть...

— Нет, пожалуйста. До завтра, Яцек.

— Скажи мне это.

— Что?

— Что любишь меня, Моника.

(Я?)

— Моника.

— Я люблю тебя.

Миннезингер — тонкий, невысокий, маленький, изящный; ветер играет его черным плащом. Откуда этот ветер, здесь, в тронной зале, где не дрогнет пламя свечей, не колыхнутся длинные вуали на островерхих женнинах заславшихся, завороженных звуками лютни дам? Только за спиной миннезингера нет уже gobелена с единорогом, нет колонн и стрельчатых витражных окон. За его спиной — обрыв и чернолесье.

Глаза миннезингера горят в полумраке, пылают черным огнем. В его лице нет ничего — ничего, кроме этих глаз, этого пламени.

Дай руку.

Забытая. Да, никаких сомнений. Тянет вас Река, тянет вас этот холм. Дай руку, *wie ist so rot mein Mund!**

С первого же взгляда видно, что этот холм — не естественного происхождения. Здесь, на возвышенности, стояла, наверное, крепость, стерегущая переправу. Святилище, языческий храм, жертвенный алтарь...

Нет, кричит Элька по прозвищу Куропатка. Нет, не пойду туда, ни за что на свете, посмотрите, какой он жутко темный, этот лес, как там мокро, там пауки, я боюсь пауков.

Дай руку. Ты пленительна. Захохотали, защелкали, маски из шкур на головах смешно покачивают огромными ушами. *Zernebock; der Shwartze Wahnsinn*, кричит Элька, нагая до пояса.

Дай руку.

Нет! Беги! Глаза светлые, почти прозрачные. Не возвращайся, сгоришь, угаснешь, ржава пожрет.

Моника, Моника... Жар поцелуев, любви красота... Ты пленительна, знаешь?

Знаю.

Забытая. Боже, как тебя красит румянец. Стоит только закрыть глаза, и я вижу твою улыбку. О, как алеют твои уста!

Дай руку.

Болото. Черная лоснящаяся топь медленно расступается, на маслянистой поверхности вскипают пузыри. Бездна, в глубины которой ведут Тысяча Ступеней. А на дне этой бездны нечто, чья тайна непостижима, нечто — что дрожит, пульсирует, бьется. И ждет призыва.

Тандарадай!

Сгоришь, угаснешь, ржава пожрет.

* О, как алеют мои уста! (нем.)

* * *

Она проснулась.

Лежа на мокрой от пота, скомканной, смятой простыне, долго не могла уснуть, тщетно пытаясь собрать воедино обрывки сна, которого не помнила.

На следующий день вся компания, как обычно, радостно и весело загрузилась в машины, чтобы традиционно вывезти шум, гам и суматоху в какой-нибудь отдаленный закуток, где царят тишина и покой.

Вся компания, кроме Моники, которая на сей раз решительно — и убедительно — симулировала мигрень. Разумеется, ее уговаривали. Он ее уговаривал. Разумеется, она отказалась. Он хотел остаться с ней. И снова отказалась.

Почему, спросила она себя позже, блуждая одна, бесцельно, не обращая внимания ни на красоты природы, ни на других отдыхающих, прогуливавшихся по тропинкам и дорожкам. Почему я отказалась? Чего боюсь, думала она, сгибая длинную ветку, которую нашла у дороги. От чего бегу? От жизни? Потому что жизнь — не поэзия?

Буду бродить так до вечера, подумала она. А вечером...

Вечером у меня действительно разболится голова. Уже чувствую боль. Недобroe со мной творится. Что-то очень недобroe.

Малыш, которого мать насилино оттащила от киоска, полного яркого сувенирного великолепия, посмотрел на проходящую мимо Монику и расплакался — пронзительно, резко, безудержно.

Она этого не заметила.

Чего я страшусь, думала она. Разочарования? А разве то, что со мной сейчас творится, не разочарование? Что я почувствую, если сегодня вечером спрячусь, запрусь от него на ключ? Осуществившаяся любовь, о которой поет женщина Вальтера фон Фогельвейде, может, и правда есть в этом смысл? И может, он кроется не в слове «любовь», а в слове «осуществление»? Может, и правда назавтра, подумала она, еще сильнее выгибая ветку, может, и правда назавтра я смогла бы гордо оглядеться по сторонам и прокричать: смотрите все, смотрите, о, как алеют мои уста!

Может.

Знаю, чего боюсь, подумала, проходя по мосту. Собственной слабости.

Чего бы я только не дала, думала она, сгибая палку, за то, чтобы сделаться сильной. Нет, не красивой, хотя...

Но сильной.

Ветка с треском переломилась.

Под мостом, на пойме, проплывающий байдарочник грязно выругался, в недоумении глядя на два обломка весла, оставшиеся у него в руках.

Пламя. Бушующее пламя, подступившее к ней со всех сторон, жар, от которого лопаются глаза, дым, от которого невозможно дышать, цепь, впивающаяся в тело, безжалостно сковавшая... Гул раскаленной печи, готовой брызнуть огнем и угольями...

Солнце. И ветер. Ветер с реки, шелест ольховых листьев. Обнимающие ее руки, излучающие тепло и силу. Ты пленительна, знаешь? В тебе есть великие чары. Стоит только закрыть глаза, и я вижу твое лицо.

Ох, Яцек.

Не хочу в лес, кричит Элька по прозвищу Куропатка.
Нет, там пауки! Боюсь пауков! Я умру, если...

Тандарадай! Глаза светлые, почти прозрачные. Вернешься
мотыльком — гориши.

Скажи, что ты меня любишь. Глаза миннезингера — чер-
ные и огромные. Скажи это голосом счастливой женщины,
которая лежала вместе с возлюбленным на ложе из роз. И
там, на ложе из роз...

Гориши. Угаснешь. Ржа пожрет.

Где я видела эту улыбку?

Чернолесье, огромные корявые дубы, темная кора по-
крыта наростами, напоминающими нарывы. Множество лю-
дей, все — в масках из шкур, с огромными стоящими ушами.
Девушка, нагая по пояс.

Камень — черный, плоский. На нем... розы?

...Розы под мою головою. Угадайте в зелени травы след
моей лежавшей головы.

Тандарадай!

Zernebock, кричит Элька по прозвищу Куропатка.

Тянет вас Река, тянет, словно магнит. Глаза светлые,
почти прозрачные. Единорог, вскинувший передние ноги в
геральдической позе.

Дай руку. Это миннезингер. Нет, нет, кричит Элька,
заберите его, он противный, знаете же, что я боюсь пауков.

Пробуждаешь меня... Помню полные губы Беатрикс,
дочери Беренгара фон Пассау.

Zernebock, кричит полуголая девица, швыряя розы на
плоский черный камень. Der Schwartze Wahnsinn!

Дай руку. Встань. Пойдешь за мной, чтобы познать ис-
тину. Мудрость не несет в себе предательства, не верь это-

му. Мудрость дает силу. Истина — это сила. А ты ведь хочешь быть сильной, жаждешь силы и власти. Дай руку.

Нет! Глаза светлые, почти прозрачные.

Встань. Иди за мной, чтобы познать истину. Я покажу тебе, как выглядит истина.

Дай руку.

Она проснулась.

Я должна встать и идти, подумала она трезво, прямо сейчас. Должна встать и идти. И тогда я познаю истину. Так сказал...

Нет. Он сказал: Die Wahrheit*.

(Die Wahrheit?**)

Моника Шредер встала, ступив прямо в лужу разлитого на полу лунного света.

— Ну и как было?

— На комплимент напрашиваясь?

— Ага.

— Мужское эго, так? Ладно, стало быть, было божественно. Такой ответ — вполне в рамках приличия, как по-твоему? Ой, прекрати! Ты что делаешь, ненормальный?

— Изменяю приличиям.

— Ой! Это, по-твоему, изменение? Не чувствую разницы.

— Ты становишься до неприличия неприлична.

— Упрекал котел кастрюлю. М-м. Так нравится?

— Я должен ответить в рамках приличий?

— Можешь вообще не отвечать. Пусть дела говорят за тебя.

* Истина (нем.).

** Истинное? (нем.).

— Думаешь, я кто? Любовник-почасовик? По вызову?

— Сам старался вовсю, чтоб именно так я о тебе и подумала, стало быть, теперь не отвертишься. В конце концов, я и так возьму что хочу, такая уж я. Не двигайся.

— Так?

— М-м. О-ох!

— Что?

— Меня комар в зад тяпнул.

— Сейчас я его поймаю и раздавлю, развратника. Он что, думает, у нас менаж-а-труа? Куда он тебя тяпнул? Сюда? Неглупый кровосос.

— Ай-й!

— Эля?

— М-м?..

— Почему тебя прозвали Куропаткой?

— Как-то раз, в поезде, разгадывали мы кроссворд, там был вопрос, с которым никто не мог справиться. По горизонтали, девять букв. Птица, обитающая в тундре, белая... А я угадала. Белая куропатка.

— Эля...

— Ох... М-м... Яцек...

(Монику, прижавшуюся к стене прямо рядом с открытым окном, тряслось от отвращения. Хотела уйти. Не могла.)

— Яцек?

— М-хм?

— А Моника?

— Что — Моника?

— Ты прекрасно знаешь — что. Думаешь, никто не видит, как ты ее обольщаешь? Как вокруг нее скакешь?

— О Боже, Куропатка. Не делай поспешных выводов. Жаль мне ее, вот и все. Хочу, чтоб у нее был при-

ятный отпуск. Такой, как она, требуется чуточку обожания. В какой-то момент нужно такой, как она, сказать, что она прекрасна, и тогда она и впрямь хорошеет. В меру весьма скромных возможностей.

— Еще лучше с такой переспать, враз похорошееет еще пуще. У тебя это на уме?

— Ха! Как это я сразу не догадался! Так вот чему я обязан сим очаровательным приключеньцем, Эля? И впрямь, подтекст угадать нетрудно.

— Ну, ну, теперь ты становишься банальным, подозревая меня в ревности. Хуже, в зависти. И кому? К такой мышке! Боже. Не разыграй тут Пигмалиона. Нашелся благодетель. Говорю тебе на полном серьезе: переспи с ней. Если ты этого не сделаешь, испортишь ей отпуск. Оставишь ощущение неудовлетворенности. Переспи с ней, Яцек.

— Вся загвоздка в том, что я не хочу. Нет у меня к ней влечения.

— Так что, стало быть, все это — искусство ради искусства? Говорила ж я, Пигмалион. Профессор Хиггинс для убогих.

— Она... она некрасивая. Просто — некрасивая. И асексуальная.

— Эгоист. Пожертвуй собой и сделай это только для нее. Закрой глаза и думай о благе Англии. Только, помоему, ты врешь. Именно эта ее мышиность тебя и возбуждает.

— Эля, мы что, действительно не можем найти более приятную тему для разговора?

— Мне кажется, мальчик, мы вообще слишком много времени тратим на болтовню.

— Элька!

— М-м...

* * *

Она бежала, ничего не видя, не разбирая дороги, сквозь лес, ударяясь о древесные стволы, путаясь в когтистых стеблях ежевики, спотыкаясь о пни, о корни, о поваленные деревья. Бежала, желая как можно дальше позади оставить отвращение, унижение, от которого горело лицо, стыд, от которого стучало в висках. Желая как можно дальше позади оставить...

Не буду плакать. Не буду. Нет. Нет. Нет.

Ветвь, гибкая и жгуче-острая, хлыстом хлестнула ее по щеке, наполняя глаза влажной, слепящей болью, оправдывающей... Дающей повод...

На коленях, молотя стиснутыми кулаками в ствол ольхи, Моника Шредер заплакала горькими слезами, забилась в сдавленных, хриплых рыданиях.

В белом домике на плоской вершине холма, омываемого неспокойным, говорливым течением Реки, старая лекарка подняла голову от пожелтевших страниц. С минуту вслушивалась в тишину, внезапно повисшую над округой. Черный кот, свернувшись клубочком на вышитой подушке, открыл золотистые глаза и зашипел, всматриваясь в тьму.

Лекарка вновь вернулась взглядом к книге.

...известно, что его, который имеет множество имен, нельзя ни призвать, ни вызвать proprio motu — он является только тогда, когда сам желает. Ступая по Тысяче Ступеней, восходит он из Бездны, имя которой есть Радм-Агах. Он явится на крик, даже если в крике том нет его имени. Он, который есть *Pluribus Mortibus Imago* и который есть Исхудавший. Ни один, даже самый муд-

рый, если встанет на пути его *extra periculum*, не имеет надежды. Ибо если призвать его нелегко, то во сто крат труднее остановить, когда, призванный на пищу, восходит он по Тысяче Ступеней из Бездны, имя которой есть Радм-Агах...

В оконное стекло ударились серая ночная бабочка. Потом вторая. И третья.

Моника плакала, обнимая ствол ольхи, прижимаясь щекой к влажной коре. Лес, залитый бледным, призрачным лунным светом, застыл в неестественной тишине.

Внезапная вспышка, всплеск силы. Белый единорог вскинул передние ноги в геральдической позе. Моника, чувствуя поднимающуюся в ней мощь, вобрала в легкие воздух, вскинула руки, сжатые в кулаки, выкрикнула в потусторонний мрак не своим голосом:

— Тандарадай!!!

Лекарка охнула, глядя на ночных бабочек, бьющих в оконное стекло безумным стаккато.

— Железом и Медью, — прошептала она. — Серебром. *Magna Mater, Magna Mater...**

Луна, выглянувшая наполовину из-за подсвеченных туч, рассмеялась ей прямо в лицо, скривилась в оскорбительной трупной гримасе.

Еще не ощущив присутствия, она почуяла запах. Запах черного, поросшего ряской, гнилого, дышащего метаном болота. Запах бездонной топи, в которой нечто, что есть тайна, страшно, ужасающе дрожит, пульсирует и бьется. И ждет призыва.

* Великая Матерь, Великая Матерь... (лат.)

Не устрашилась. Знала, что ей известен тот, кто приближается. Знала, что он придет на ее призыв. На крик.

Не испугалась, услышав мокрые, хлюпающие шаги, плеск воды, брызгущей из пористой почвы.

Моника Шредер подняла голову.

— Это я, — сказал миннезингер.

Ощущала, как охватывает ее спокойствие. Как возвращается уверенность в себе. Мощное, непреодолимое спокойствие, спокойствие холодное, пронзительно-голубое, как вода, как огонь, как...

— Дай руку, — сказал миннезингер.

Как ненависть.

Посмотрела.

Миннезингер — она все не могла решиться даже в мыслях назвать его истинным именем — улыбнулся. Моника уже видела когда-то такую улыбку. Вспомнила где. На иллюстрации Джона Тенниэла, изображавшей Чеширского Кота. Сейчас я окажусь по ту сторону зеркала, внезапно подумала она.

Глаза миннезингера — огромные, неулыбающиеся — черны и бездонны. Безгубый рот, блестящие длинные зубы, скругленные, конические, как у хищной рыбы.

Она не испытывала страха.

— Дай руку, — повторил миннезингер, обдав ее запахом тины.

Протянула руку.

Где-то в глубине чернолесья, в круге могучих, покрытых наростами дубов, ждали они, столпившиеся у плоского черного камня, устланного тысячью роз. Ждали в полной тиши-

не, высоко подняв головы в ушастых масках из шкур, в прорезях которых пылали безумием горящие глаза.

Пальцы миннезингера были холодными, обжигающе-ледяные иглы вонзились в кожу, взорвались в теле миллиардами осколков боли. Боли, которую она приняла с наслаждением.

Лекарка, сидя на стуле внутри пентаграммы, вписанной в круг, мелом начертанный на полу, отняла ладонь от виска, вскинула вверх руки в стремительном жесте. Раскаленная, гудящая печь завыла, застонала, в стекло забарабанили тучи ночных насекомых.

— Дееееескааааат!

Печные дверцы с треском отскочили, из топки брызнул огонь, дым, раскаленные уголья картечью застучали по жестки и доскам пола, рассыпая искры.

Из огня шаром выкатился голый малыш — полуторагодовалый, не больше. Перекатился, перекувырнулся, замер, переваливаясь на пухлых непослушных ножках. Кожа покрыта серыми шершавыми следами ожогов. Единственный жидкий клочок волос на лысой головке тлеет неверным коптящим пламенем.

— Дескат, — сказала лекарка.

Малыш дымился, стоя среди разбросанных по полу угольев.

— Дескат, — повторила она. — Это ты...

— Я это, — невнятно ответил малыш. — Как тебе понравилось мое анtre, старуха? Это всегда впечатляет, не правда ли? Воскрешает кое-какие воспоминания. Помнишь?

— Довольно, — прошептала лекарка.

Очень худой, одетый в черное юноша, который вдруг появился вместо горящего младенца, обнажил в улыбке длинные конусовидные зубы.

— Предпочитаешь меня в этом обличье? Пожалуйста, вот я. Ну, ведьма, к делу. Ты вызвала меня в самый неподходящий момент. Помешала кое в чем неимоверно важном. Как мне помнится, я уже предупреждал тебя, что будет, если ты станешь мне мешать. Если еще раз рискнешь встать на моем пути.

— Я всегда буду вставать на твоем пути, Дескат.

Черный юноша покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Не будешь. Поздно. Сегодня ночью возродился Огненный, в лавине пламени, так, как ты только что видела. Все уже готово. Думаешь, каких-то жалких нескольких десятилетий достаточно, чтобы меня забыли? Ошибаешься. Есть те, кто не забывает. Память передается из поколения в поколение.

Новые тучи насекомых забились в окно, покрывая стекло толстым шевелящимся налетом.

— Придется тебе с этим смириться, ведьма, — протянул юноша, неспешно обходя круг, внутри которого сидела лекарка. — Ничего ты уже не сделаешь. Не помогут тебе ни символы, нарисованные мелом, ни дилетантский перевод известной книги. Поздно.

— Поздно не бывает никогда, — спокойно сказала лекарка. — Смотри, Дескат.

Подняв руку, показала янтарный амулет, свисающий с цепочки, плотно намотанной на левое запястье.

Глаза черного юноши сузились.

— Хлам, — констатировал он. — Почему бы тебе не отвезти это в город, не продать на блошином рынке? Может, у тебя еще и распятие есть, а? Святая водица? Не смеши меня, ведьма.

— Воздухом и Водой, — тихо проговорила лекарка. — Ивой и Камышом. Дескат! Возвращайся на дно Топи. Возвра-

щайся в Бездну, что изрыгнула тебя. Провались в Болото, в Трясину, в Топь.

— Слова, слова, слова. — Юноша приблизился к кругу, перешагнул черту, остановился, улыбаясь, перед старухой. — Слова, которые утратили силу и смысл уже давно, еще прежде, чем первый поезд прошел по рельсам сквозь нашу Долину. Ничего не осталось от твоей прежней силы, ведьма. Не идешь ты в ногу со временем.

— Это ты переоцениваешь свою силу, Дескат.

— Полагаешь? Сейчас посмотрим. Я тебя не убью, нет. Только сломаю тебе обе руки. В твоем возрасте кости срастаются с трудом. Загипсую тебя по самые плечи, а гипс будет холодный, очень холодный. А когда на тебя нападет горячка, отвезу тебя в дом болезни. Проникну в тебя сквозь иглы капельницы, вбитые в твои заизвесткованные вены. Поговорим тогда о былых временах. Посмотрим образы. Итак, займемся делом. Я спешу. Там, в ольховнике, ждет меня дивное льноволосое создание, певшее ночами мне песни. Не могу допустить, чтоб она ждала, это было бы весьма неучтиво.

— Один шаг, Дескат, — прошипела знахарка, — еще один шаг — и Тысяча Ступеней развернется под тобой.

— Поздно. Она коснулась моей руки. Сегодня ночью возродился Огненный.

— Коснулась твоей руки?

— Да, — улыбнулся юноша. — Коснулась моей руки.

— Так посмотри на свою руку, Дескат.

Он взревел, поднимая руку, потрясая бесформенной окровавленной культей, с которой стекала зеленая жижа, отваливались иссиня-черные дымящиеся ошметки. Длинные

тонкие кости, вылезающие из-под разлагающихся тканей, выгибались, таяли, шипели, как резина, брошенная на раскаленные угли. Булькала, шла пузырями кожа на худом предплечье.

— Сам не знаешь, чего коснулся, Дескат, — проговорила энахарка. — Роковая ошибка.

Худой юноша исчез. Голый малыш, покрытый коростой ожогов, заплакал, затопотал босыми ножками, замотал дымящейся головкой, потряс чернеющей культей.

— Прочь, Дескат! В Трясину и Топь!

Малыш заплакал еще пронзительней. На пальчиках неповрежденной ладони выросли когти, огромные, как у коршуна.

— Magna Mater! — вскричала энахарка. — Gladius Domini!*

Угли на полу и в топке зашипели, точно залитые водой, пыхнули клубами пара, черного дыма.

— Я тебя достану! Я еще тебя достану! — взревел малыш, скрытый дымом. — Слышишь, ведьма?

На мгновение дым развеялся, и она увидела его в истинном обличье, огромного, горбатого, с кривыми рогами, отбрасывавшими тени на деревянный потолок.

— И ее, — прогудел он с явным усилием, едва взято, — и ее я тоже достану... До... стану...

— Не думаю, чтоб это было возможно, Дескат.

— Достааа... ну, — пробулькал он, обращаясь в едкий тягучий дым, медленно наполнявший избу.

— Нет, — прошептала лекарка, тяжело дыша, хватая ртом воздух. Сердце колотилось, адреналин бился тяже-

* Великая Матерь! Меч Господень! (лат.)

лыми волнами, затмевал зрение. — Нет, Дескат. Ее ты уже не достанешь. Никто уже ее не достанет.

Ночные бабочки, облепившие окно, закружились в бешеном танце, сорвались, улетели в ночь.

— Никто, — бесслезно всхлипнула лекарка. — Никто уже ее не достанет. И никто не удержит.

Моника стояла одна в ольховнике, глядя на кончики пальцев вытянутой руки. И глядя, сказала...

Нет. Не она сказала. Сказало то нечто, что было в ней, внутри. То нечто, что было ею.

— Наконец-то. Наконец-то свободна.

Где-то в глубине бора все забурлило. Обнаженная до пояса девушка сорвала с головы уродливую маску. Кто-то закричал, кто-то упал, покатился в конвульсиях по жухлой листве. Кто-то еще повернулся, помчался прочь, в лес, не разбирая дороги, хрустя валежником, ломая ветви.

— Zernebock! Zernebock!

Полуголая девица завыла — прерывисто, истерически, жутко.

Лекарка все не решалась покинуть круг, хотя явственно ощущала легкую, спокойную пустоту, пульсирующее в воздухе отсутствие зла. Посмотрела на дверь. Я истощилась, подумала она. Чересчур ослабела. Следующее усилие меня убьет. Если... она...

Черный кот опасливо выполз из-под кровати, потянулся,мяукнул — тихо, неуверенно. Потом сел, вылизал лапку, потер ею ухо, отсутствующий, спокойный.

Лекарка вздохнула с облегчением — истинным, долгожданным и окончательным.

То, что шло через темный бор, смеясь и нашептывая, не приближалось к ее холму.

Оно двигалось в противоположном направлении.

Моника протерла глаза, посмотрела на пальцы, позеленевшие от замшелого ствола ольхи, о который молотила кулаками там, в чаще леса. Теперь она стояла в собственном пансионатском домике, посреди ясного пятна лунного света, льющегося в окно. Элька по прозвищу Куропатка, ее соседка, спала у себя на постели, на спине, полуоткрыв рот, легонько похрапывая. Успела уже вернуться в собственную постель.

Моника Шредер улыбнулась, исполненная силы и покоя.

Посмотрела в окно, на искореженную сосну, где в развилке ветвей серебрилась капельками росы паутина.

Легким, небрежным движением протянула руку, поманила пальцем.

Огромный жирный паук-крестовик тотчас выскочил из скрученного листка в углу паутины, молнией соскользнул по нити вниз. Спустя мгновение прополз по подоконнику, по занавеске, по полу. У Моникиных ног остановился, замер, поднял в ожидании две передние ножки.

Все так же улыбаясь, Моника указала на открытый рот Эльки по прозвищу Куропатка. Не дожидаясь, вышла из домика. Для этого ей не понадобилось открывать дверь.

Паук, послушный приказу, быстро пополз в сторону кровати.

*

Он открыл глаза, задыхаясь, охваченный ужасом. Хотел дотянуться рукой до рта — не мог. Хотел поднять голову.

Не мог. Словно его парализовало. Чувствовал пронзительно-сладкий запах цветов, чувствовал прикосновение лепестков, стеблей, шипов, мокрых листочеков — везде: на щеках, на шее, на плечах.

Он лежал среди груды цветов.

Моника Шредер подошла ближе и улыбнулась. И увидев ее улыбку, он открыл рот в крике. Крике, который должен был поднять на ноги весь пансионат, все окрестные села и даже пожарную охрану в далеких Лясковицах. Но то, что вырвалось из стиснутого невидимой гарротой горла, было лишь едва слышным отчаянным хрипом.

Моника Шредер подошла еще ближе, встала над ним, шепча, и в этом шепоте пульсировала страсть — безумный, неистовый призыв, неодолимая сила. Он отреагировал, пораженный тем, что способен реагировать. Он слушал ее шепот, теперь уже отчетливый и внятный.

Шла в долину тайною дорожкой,
Милый ждал меня нетерпеливо.
Как ласкал меня он, Матерь Божья!
Но — была ли я тогда счастливой?
Жар подчуев, любви красота.

Тандарадай!

Она раздевалась спокойно, не спеша, не переставая улыбаться. Он смотрел на нее глазами, раскрытыми до боли. И — до боли — был для нее.

Когда она коснулась его, он вздрогнул так, словно к груди ему прижали раскаленную кочергу. Когда обняла его и сжала бедрами, показалось, будто на него выплеснули

ведро жидкого кислорода. Прямо над собой он увидел ее глаза.

О как алеют мои уста!

— И что, пан доктор?

— Обширный инсульт. Лопнул сосуд в мозге. Перетрудился, Казанова эдакий, сверх меры.

— То есть вы думаете, что...

— Вскрытие покажет. Однако из того, что я вижу, следует, что это была прекрасная смерть, достойная мужчины. Пал в сражении, на поле брани, если можно так выразиться.

— Такой молодой? На мой взгляд, ему еще сорока нет.

— У молодых, пан Казик, тоже бывают слабые сосуды. Что ж, романтичный был мужик, вы гляньте только на эти цветы. Что за фантазия, холера! Усыпал цветами постель и на этих цветах ее...

— Пропади оно все пропадом! И что мне теперь делать? Ведь я ее должен буду найти, эту бабу, что с ним была. И как? Что, ходить и расспрашивать?

— А зачем? Разве это наказуемо? Говорю ж вам, у него случился инсульт. С ним такое могло произойти на работе или за водкой.

— Ну, эти... показания или протокол какой надо б составить. Из того, что вы говорите, пан доктор, следует, что она с ним была, когда... Ну, вы понимаете...

— Еще как была! Удивительно, что и ее тогда удар не хватил. А впрочем, какая разница? Пойду вызову транспорт, сам я его не повезу. А вы поищите ту красотку, пан Казик, ежели вам охота. Хотя бы по следам.

— По каким следам?

— Да, вы явно не Шерлок Холмс. Посмотрите на цветы, здесь, на подушке.

— Смотрю, ну и что?

— На них отпечатался след головы.

Поезд из Черска, следующий до Лясковиц, прибыл на станцию строго по расписанию, подъехал к перрону, едва отозвенел сумасшедший, назойливый звонок шлагбаума. Перрон был пуст, только три рыболова, увешанные сумками, рюкзаками и длинными футлярами с удочками, поднялись по железным ступенькам в вагон.

Они разложили багаж на полках и на сиденьях, вылезли из толстых курток, которые были на них надеты, хоть утро и выдалось теплым и солнечным. Один вытащил из кармана жилетки пачку сигарет, протянул друзьям.

Друзья рыбака сидели неподвижно, впиваясь взгляда-ми в льноволосую девушку, которая рядом, в том же купе, напротив них, слегка склонила голову над книгой.

Рыбак застыл с протянутой рукой. Не мог отвести глаз. Потому что эта девушка была... была... просто неправдоподобно... невероятно...

Прекрасна.



Я.Содома

СТРАДАНИЯ ГРАФА МОРТЕНА



Печально то, что страдания, пожалуй, единственный безотказный способ пробудить душу от сна.

Сол Беллоу.
«Гендерсон, король дождя»

1

-Xвааатит! — крикнул граф Мортен, владелец замка Кальтерн.

Однако палач знал лучше.

Породистое тело графа блестело каплями пота, холодного, как смерть. Зрачки совершенно голубых глаз Мортена были огромными от боли и муки. И экстаза. Его нагое тело юзлежало на прогнившей от грязи скамье, а многофункциональный механизм для истязаний растягивал его до предела человеческой выносливости.

Механизмом управлял безымянный палач, человек по природе угрюмый и молчаливый. Его будто топором выруб-

Cierplenie hrabiego Mortena. © Jacek Sobota, 1993.

© Перевод. Вайсброт Е.П., 2002.

ленное лицо тонуло в глубокой тени. Подвал освещал одинокий факел, висящий у входа.

Последний оборот маховичка, нежный, как прикоснение крыла бабочки, и граф с тихим вздохом потерял сознание. Минутой позже что-то опасно затрещало — палач не мог сказать, то ли это были натянутые ремни, то ли чрезмерно растянутые суставы графа. Возможно — и то, и другое.

Он аккуратно опрыскал бледное лицо Мортена водой, поддерживаемой при комнатной температуре.

Граф открыл глаза и улыбнулся. Тридцать лет назад это была бы улыбка хищная, теперь же всего лишь грустная.

— Раэвяжи, — приказал Мортен.

Он полежал еще некоторое время, осторожно массируя запястья.

— Когда-нибудь... — Мортен замолчал, морщась от боли, — когда-нибудь ты растянешь меня слишком сильно. И тогда...

Граф погрозил палачу пальцем прирожденного арфиста, но даже это движение оказалось болезненным, поэтому он тут же замер.

Тем временем палач, в согласии со своей натурой, молчал. Граф высоко ценил его сдержанность. Он требовал того же от всего персонала замка. Разговорчивость не входила в обязанности палача, любившего свою работу и ни за что на свете не захотевшего бы остаться без нее. Поэтому он стоял неподвижно рядом с пыточным механизмом — делом всей его жизни. Молчаливый, холодный и безучастный, как камень.

— Завтра — розги, — решил граф. — Ничто так хорошо не помогает кровообращению, как хорошая порка. Особенно если кровь голубая, то есть холодная по природе.

Наконец граф приподнялся, но упал бы, не поддержи его возникшая вдруг из темноты рука палача. Мортен сорвался с силами и встал на ноги.

— Влажно здесь, — буркнул он и вздрогнул.

Палач мгновенно подал ему пелерину кровавого цвета. Это был очень практичный цвет.

Когда Мортен покидал подвал, истязатель неподвижно стоял в прежней позе. Граф подумал: «Неужели, оставаясь в одиночестве в подвале, палач все время ведет себя так?»

С годами Мортен привык считать палача одним из многочисленных устройств для причинения страданий и пыток, которые используются лишь по мере надобности.

Граф не без труда поднялся по крутым каменным ступеням.

— Стар я стал, — проворчал он. Он заметил, что последнее время полюбил разговаривать сам с собой. В конце концов, он был единственным интересным собеседником в замке Кальтерн.

Добравшись наконец до своей комнаты, он почувствовал себя очень утомленным. С облегчением уселся в инкрустированное кресло. На стене перед его глазами висел портрет женщины. Взглянув на портрет, Мортен неожиданно запла-
кал.

2

Художник вышел из палатки и вздохнул полной грудью. Поднималось солнце, над бескрайними, казалось, вересковьями висела легчайшая, как пух, утренняя дымка. Картина

была настолько притягательной, что художник, не теряя ни минуты, растянул полотно на станке и принялся набрасывать эскиз. Он так увлекся работой, что не заметил двух всадников, приближившихся с севера, со стороны замка Кальтерн. Увидел их, только когда стук копыт развеял тишину. Судя по «Безглавому орлу» — гербу на накидках всадников, — это были люди графа Мортена.

Замок Кальтерн пользовался дурной славой. Граф Мортен не без причины считался чудовищем и отшельником. Он ни с кем не водил дружбу, ему абсолютно ни к чему были хорошие отношения с соседями. Бродячие трубадуры распространяли слухи, будто граф обожал кровь новорожденных. Поговаривали даже, что он был энергуменом*, но, конечно, в мужицких сплетнях была масса преувеличений. Одно не подлежало сомнению: редко какой одинокий путешественник не завершал свой путь именно в окрестностях замка Кальтерн. Что с ними происходило — неизвестно. Некий философ сравнил однажды жизнь человеческую именно с дорогой, заканчивающейся всегда для всех одним и тем же. Известно было и то, что граф Мортен принимал в замке субъектов по меньшей мере странных — изгнанных из других замков и городов авантюристов, выдававших себя за алхимиков.

Наездники осадили лошадей в неполных десяти шагах от художника.

— Приветствую вас, господин, — проговорил старший по возрасту и, вероятно, по положению. — Недурная картинка.

— Ах, это всего лишь *abozzo*. — Художник пытался скрыть страх за развязностью.

* Энергумен (старинное) — опутанный дьявольскими чарами, подданный злого духа. С древнегреческого: являющийся объектом воздействия. — Примеч. пер.

— Э?

— Abozzo, эскиз, набросок картины.

— Похоже, будет красиво, — вставил молодой, чье лицо было покрыто рубцами.

— Я рисую по поручению князя Сорма и нахожусь под защитой его княжеской милости, — на всякий случай решил раскрыть свой статус художник.

— Вы, господин, находитесь на землях графа Мортена.

— О, уверен, граф не имел бы ничего против...

— Граф... приглашает вас, господин, в замок Кальтерн, — прервал художника старший из наездников.

— Но откуда графу Мортену было знать, что сейчас я нахожусь именно здесь?

— Граф не знал, господин. Граф — человек очень гостеприимный и приглашает к себе всех путешественников, оказавшихся на его землях. Как ни странно, но до сих пор никто еще не отказывал нашему господину.

Художник почувствовал, как у него вспотели руки. Очень плохая примета в художественном ремесле. Он глянул на север, где вдали, почти на самом горизонте, возвышалась угрюмая глыба замка Кальтерн.

Предчувствия у него были скверные.

3

Одинокая каменная башня возвышалась высоко над стенами замка. Если верить жутким легендам, то в таких именно башнях обычно содержали строптивых и красивых принцесс, которых затем спасали из узилища гордые, храб-

рые, бравые, жаждущие богатства и славы парвеню. Художник, к сожалению, не мог рассчитывать на подобную благосклонность судьбы. Проходила неделя за неделей, а он все еще пребывал в неволе.

В комнате под крышей башни безраздельно царила влажность, а художник многие годы страдал ревматизмом. Суставы ему выворачивала боль, а душу — одиночество. Лишь узкое окно в комнате выходило на юг, прямо на вересковья. Художник глядел на бескрайнюю равнину и страдал.

Неподалеку от окна, там, куда в полдень падал наиболее подходящий для работы свет, стоял подрамник с растянутым полотном. Художник не знал, чего от него ожидают. До сих пор граф Мортен не соблаговолил высказаться на сей счет. Правда, время от времени он заходил в комнату на башне, присаживался на лежанку и молча выслушивал мольбы, обиды и угрозы узника. Приходил он редко: подниматься по крутой лестнице ему было трудно.

Неожиданно скрипнула засов, заскрежетали петли. В комнату ступил граф Мортен собственной персоной. Он был таким же бледным, как растянутое на станке полотно.

— Приветствуя тебя, мэтр, — сказал он.

— Господин... — Художник согнулся в глубоком поклоне. Настолько глубоком, насколько позволяли ревматические суставы.

Мортен подошел к окну, однако предварительно плотно окутался пурпурной пелериной. Темные тучи за прорезью окна быстро бежали по небу, словно куда-то спешили.

— Надеюсь, тебе не наскучило мое гостеприимство, мэтр? — Граф не отрывал глаз от затянутого тучами неба. Он подумал, что люди подобны тучам. Их тоже неустанно гонит какой-то ветер предназначения.

— Как может наскучить то, чего нет? Я сижу в этой затхлой, влажной норе много дней и...

— Действительно, здесь влажно, — буркнул граф. Он оторвал глаза от туч и взглянул на стены, покрытые толстым слоем плесени. Потом пожал плечами: — Климат такой.

— Я знаю свои права, господин...

— *Necessitas non habet legem*, мэтр. У необходимости нет закона.

В тот день граф был неразговорчив, и это неизвестно почему сильно обеспокоило художника.

— А знаешь ли ты, мэтр, что в действительности отличает человека от обычной скотины?

— Разум? — рискнул художник.

— Нет. Способность получать удовольствие от собственного страдания. От чужого, впрочем, тоже.

— Из этого следует, что я не человек.

— Это твое мнение, мэтр.

— Зачем ты все это мне говоришь, граф?

— Узнаешь. Узнаешь уже сегодня ночью.

— Я — уважаемый художник, господин! Я написал портрет супруги князя...

— И его любовницы, знаю. С той поры князь воспыпал странной любовью к изящному. Ну и стал покровителем и меценатом твоего искусства. Однако не обольщайся, мэтр, думая, будто Сорм сделает что-либо, чтобы вытащить тебя из Кальтерна. Ты не настолько значительная персона, чтобы князь рискнул торговаться с таким сильным соседом, как я. Очень грустно знать, сколь часто любовь к искусству проигрывает выгоде.

— Я бы не был столь уверен...

— Замолчи. У моего терпения есть свои границы, как и у всего на этом свете. А кажется, группа юных недоумков проталкивает идею мира без границ... Глупцы. Однако, возвращаясь к тебе... мне наскучили твои дерзости. Не забывай — твоя жизнь и смерть в моих руках, хоть ты и не считаешь это для себя честью.

— Но чего ты, собственно, хочешь, господин? Что я должен для тебя написать?

— Уж конечно, не портрет моей любовницы. До чего же скучны бывают бездельничающие художники...

— Что должно произойти этой ночью, господин? — спросил художник.

Граф вышел, ничего не ответив.

Храбрость не была сильной стороной художника. Он был человеком простым, и если б не головокружительное стечье обстоятельств, быть может, до конца дней своих подковывал бы лошадей, как его отец и дед. Однако сложилось так, что отец художника был убежден в том, что его сын — ублюдок. И это никак не способствовало расцвету родительско-сыновней любви. В результате интересы будущего художника свернули на совершенно другие пути, максимально, разумеется, далекие от кузнечно-подковывательной колеи. Искусство — это чистая случайность.

4

Подвалы были густо напоены влагой, но на сей раз художник заботился не о своих суставах. Скорее уж опасался за голову, так как этот орган имеет в жизни гораздо большее значение.

Факел давал мало света, и художник, прикованный к стене цепями, тяжкими, как укоры совести, даже не видел лица своего истязателя. Свистнул бич, заканчивающийся свинцовым шариком, и узник почувствовал пронизывающую боль.

— Не забудь присыпать ему раны солью. — Голос графа Мортена шел откуда-то из тьмы.

После первого часа художник перестал ощущать боль. Он перестал вообще что-либо ощущать. Ему казалось, что душа покинула его тело и повисла над ним, словно в задумчивости, полной мягкой иронии. Ибо что есть тело? Так, ничего не стоящая оболочка, «ящик». Правда, ведь существовал еще и ящик Пандоры...

Душа художника запросто проникла сквозь толстые стены замка Кальтерн и порхнула на свободу, к вересковью.

«Значит, я умер», — с удивительным безразличием подумал художник, учтывая последний факт.

Но он не умер. Ведро ледяной воды вернуло его к жизни. Он обрел сознание без всякой радости.

— Ты хотел умереть, маляр, — говорил граф. Его голос, казалось, доходил до художника из дальнего далёка. — Не забывай: не только ты мастер своего дела.

Палач взялся за прижигание.

— Не-ет! — крикнул художник. Его голос перешел в стон.

В воздухе разлился неприятный запах паленого мяса.

— Мой палач — гений, — как ни в чем не бывало продолжал Мортен. — Его искусство оценил даже некий инквизитор, гостивший у меня, а он не был профаном, поверь. Я готовил своего палача к его сложному ремеслу с детства. Он с младых ногтей подвергался самым изысканнейшим истязаниям, чтобы ознакомиться с будущей профес-

сие́й, так сказать, изнутри. Поэтому его тело так деформировано... Юные кости очень легко растягиваются... Но зато его руки нежнее лепестков горных фиалок.

— Ааааххх!!!

Теперь художника растягивали.

— Ты сетовал на ревматизм, маляр. Говорят, растягивание прекрасно влияет на такого рода недомогания.

Художнику казалось, что еще чуть-чуть — и его конечности оторвутся от тела.

Но палач, как всегда, знал лучше. Он приводил свою машину в движение с тонкостью виртуоза, исполняющего необычную мелодию на доведенном до совершенства инструменте.

— Оооохх!

Мелодия была воистину необычной.

— Вероятно, ты пытаешься понять, мэтр, зачем я, собственно, держу тебя здесь и истязаю. Не думай, что ты первый из моих гостей, с которыми произошло подобное, но в данном случае я хочу, чтобы ты нарисовал для меня дело моей жизни...

Художник не думал ни о чем. У него не было ни сил, ни даже воли, чтобы выслушивать графа. Он любой ценой пытался потерять сознание. И не мог.

Искусство палача превратило механизм для растягивания в дыбу. Истязатель начал готовить тиски.

— Пощади ему пальцы. Они ему будут нужны, — распорядился Мортен.

Палач застыл в неподвижности. Спустя минуту отложил тиски.

— Это будет нечто совершенно особое, неповторимое. Такого заказа ты еще не получал...

Тело художника истекало потом, кровью и мочой.

Неожиданно жертва почуяла свой шанс. Сейчас он потеряет сознание. Однако, прежде чем это случилось, художник еще успел уловить слова Мортена:

— Я хочу, чтобы ты изобразил для меня на полотне свое страдание, мэтр.

5

Художника разбудила боль. За небольшими исключениями у него болело все тело, так что он даже не пытался пошевелиться. К этим немногочисленным исключениям относились, в частности, веки. Он осторожно приподнял их. Это был не подвал, а просторная сухая комната. Он лежал на огромном ложе под балдахином.

За окном в этот момент как раз начинало светать. Но даже свет не был таким бледным, как лицо художника. По комнате бродила служанка с невероятно обильными формами. Она сметала со стен паутину, которую пережевывала вместе с хлебом своими чудовищными челюстями и затем укладывала на раны художника. Среди пауков царила вполне оправданная паника.

Перед самыми глазами художника на стене висел портрет женщины невероятной красоты. Он подумал, что такое лицо хотел бы увековечить на полотне. Увы, кто-то сделал это раньше его. Если б художник не был человеком искусства, а обычновенным мужчиной, то первое, что пришло бы ему в голову, было бы: «Вот женщина, которую я хотел бы иметь». Но он был художник, и поэтому эта мысль оказалась лишь второй.

Волосы женщины были черны как ночь, кожа — светлее слоновой кости. Однако внимание привлекали ее глаза. Было в них что-то особенное, какая-то тайна, отграничивавшая красоту от обыденности.

— Та-ак. Желание уже осталось позади...

Художник не мог видеть графа. Мортен находился в глубине комнаты, за его спиной. Говорил тихо, почти шепотом, словно они находились в святыище.

— История нашей любви относится к роду трагических, и однако ни один трубадур не пожелал бы о ней петь. Думаю, никто из числа героев этого... произведения... не попытался бы даже изменить ход событий. Впервые я увидел ее тридцать лет назад, когда наведывался в одну из немногочисленных деревушек, много веков принадлежавших роду Мортенов. Это случилось уже после кончины моего отца, и я хотел узнать что-нибудь о состоянии доставшегося мне имущества. Так случилось — думаю, неслучайно, — что в тот момент в деревне карали преступников различной стати. Я никогда не скрывал своей склонности получать удовольствие от чужих страданий, впрочем, мой род славен этим. Примерно раз в три поколения случается среди Мортенов чудовище моего покроя. Староста деревушки хотел мне понравиться — отсюда и зрешице. Когда я глядел на мучения несчастных глупцов (было организовано даже колесование), я ощущал нездоровое возбуждение, мой *membrum virile** живо реагировал на вид свежей крови, на хруст ломающихся костей и крики, полные боли и... страдания. Я этого не стыжусь. Но в группе простых страдальцев была и она. Ты, вероятно, удивился, мэтр, видя несомненное благородство ее черт, что столь прекрасное существо было простой мужичкой? Ну что ж... скорее

* основной орган (лат.).

всего в ее жилах текла голубая кровь Мортенов. Кто-то из моих предков активно поучаствовал в ее зачатии. Разумеется, она сразу же приковала к себе мое внимание. Приковала так крепко, что мои несчастные глаза оказались в положении узника, лишенного малейшей надежды на освобождение. Сравнить это можно только с твоей ситуацией, мэтр.

Граф рассмеялся. Художнику было не до смеха. Он промолчал. История Мортена, повествуемая тихим, гипнотическим шепотом, затягивала слушателя, словно болото жертву.

— Мальчишка, не заслуживавший звания истинного истязателя, уж не говоря — палача, полосовал ее прёкрасное тело суковатой палкой. Она кричала, но в глазах ее... в ее черных, как отчаяние, глазах светился экстаз! Понимаешь, мэтр, она жаждала боли и унижения. Потом я узнал, что ее наказали за воровство, но я-то знаю, что она воровала лишь ради того, чтобы получить наказание. Она была моей противоположностью, антитезой, если бы я был ночью, то она — светлым днем и так далее. Она увлекла меня. Я забрал ее в Кальтерн, сделал хозяйкой моего замка. До той поры я думал, что мое сердце не способно на какие-либо чувства. Кроме нездоровых эмоций...

Граф горько рассмеялся. Эвуки, доносившиеся из глубины комнаты, подсказали художнику, что Мортен ходит от стены к стене.

— У нее было простое имя, о котором мы оба тут же забыли. Обращаясь к ней, я говорил: «сокровище мое». Это звучит банально, но прекрасно отражает суть того, что эта девушка значила для меня. Впервые в жизни я полюбил по-настоящему. Это была удивительная любовь. Ночи

мы проводили в подвале, где я подвергал ее без помощи палача (тогда он еще был неоперившимся птенцом) самым изощренным истязаниям. Лишь тогда мы достигали оргазма. Оба. Да-а... Это была необыкновенная любовь... Но, как сказал один философ: «Дела людские идут не настолько хорошо, чтобы большинству нравилось только самое лучшее». Мы были другими, но были ли худшими? Это все равно что любовь убийцы с самоубийцей, идеального палача с идеальной жертвой. Теперь я вижу — впрочем, возможно, видел уже тогда, — что наша любовь неизбежно стремилась к своему концу, к свершению...

Художник многое бы дал, чтобы сейчас, в этот момент, обернуться и взглянуть в лицо графу Мортену. «И написать его», — подумал он.

— Я убил ее. Задушил собственными руками. Я наверняка знал, что она жаждала именно этого. И однако ее смерть потрясла меня. Я почувствовал скорбь, тоску, невыносимые страдания... И еще — что я самый одинокий человек на свете. Я постоянно страдаю, мэтр, страдаю, как никто не страдал до меня. Я мучаюсь во время бессонных ночей, а если мне удается уснуть, то вижу во сне снова ее. Только когда я велю себя истязать, то получаю минутное облегчение. Так, словно физические страдания моего жалкого тела позволяют мне на мгновение забыть о муках душевных. Из-за этого я стал походить на нее. Дьявольщина! Она! Всегда она! Только она!!!

Граф подошел к портрету, тем самым оказавшись в поле зрения художника. Он был бледен, бледнее даже, чем обычно.

— Я хочу, чтобы ты написал для меня свои страдания, мэтр. Я хочу упиваться твоими мучениями и... на несколько

минут забыть о своих. Я хочу получить изображение человека, который ежедневно подвергается истязаниям, тоскует по свободе, но у которого нет надежды обрести ее. Я хочу иметь картину твоей души, мэтр. И пусть это не будет зала пыток, я терпеть не могу буквализма. Это должно быть твое естество, состояние твоего разума.

— Значит, я никогда не покину стен Кальтерна? — спросил художник. Он не хотел, чтобы голос выдал его страх. Но голос оказался предателем и... выдал.

— Никогда.

Мир закружился перед глазами художника, предметы утратили форму и аромат. Он потерял сознание.

6

Время уходило на рассмотрение вересковья. Вересковье ночью, когда зрение уже приспособливалось к темноте, вересковые бледным рассветом, вересковые в полдень и к вечеру. Время текло медленно, размеренно. Граф Мортен решил, что организм художника не выдержит ежедневных истязаний. Поэтому палач мучил художника только раз в неделю. Однако хуже всего были одиночество и неволя. Мортен больше уже не посещал влажной комнаты в каменной башне. Дошло до того, что художник с тоской ждал дня мучений. Тогда он пытался завязать разговор с палачом. Но тот молчал как заклятый.

Пищу художнику приносил человек, отвечающий за всех узников замка Кальтерн (сейчас художник был единственным узником). Однако разговаривать с ним было невоз-

можно, потому что он просто просовывал миску с пищью или водой через специальное оконце в двери и уходил.

Время от времени художника навещала знахарка, та самая, которая впервые осматривала его раны. Художник заговаривал с ней до того момента, пока наконец не увидел, что женщину лишили языка. Быть может, только для того, чтобы она не могла беседовать с художником. Чтобы его одиночество было абсолютным.

Спустя некоторое время он уже настолько ослаб, что не мог самостоятельно встать и подойти к окну. Целыми днями лежал на лежанке и страдал. Снова и с невероятной силой давал о себе знать ревматизм.

Несмотря на это, он надеялся, все еще верил в покровительство князя Сорма, в Провидение, которое порой берет под защиту художников, потому что они ведь — прекраснодушные идеалисты, верящие в слепую судьбу. Берил он также и в то, что вера творит чудеса. Мечтал, что в один прекрасный день безымянный палач переломит наконец позвоночник своему хозяину — не по злой воле, а случайно, потому что ведь он был верен, как пес.

Каждый день он представлял себе, как отомстит Мортену. Его ненависть приняла болезненные размеры. Стала манией. Он целыми днями размышлял о разновидностях пыток, которым подвергнет графа, пока наконец не понял, что именно этого-то Мортен жаждал больше всего. Это окончательно лишило художника надежды. Он перестал есть, похудел и ослаб еще больше. Начал помышлять о собственной смерти. Не покончил с собой только потому, что все же придумал способ отомстить Мортену. Он решил отложить самоубийство на потом, как откладывают различные несущественные дела, чтобы уступить место вопросам более существенным. Он начал писать.

Писал день и ночь, следующий день, следующую ночь. Он писал беспрерывно, без передышки. А когда закончил — выбросился в окно.

7

— Я считал, что окно слишком узкое, чтобы кто-нибудь мог прописнуться сквозь него, — бросил Мортен слуге, отвечавшему за узников. Они стояли у основания башни над разбившимся художником.

— Это был человек исключительно тощего строения, — ответил слуга. — Кроме того, сквозь окно не было смысла убегать, стены башни совершенно непропустимы. Так зачем же было устанавливать в окне решетку или уменьшать про- свет? Откуда мне было знать, что кто-то захочет просто прыгнуть с башни. Это же верная смерть.

— Хорошо. Можешь идти. В конце концов, самое важное то, что он закончил картину. — Последние слова Мортен проговорил уже про себя.

«Итак, он решился на то, на что я никогда не мог решиться, — думал граф, взбираясь по крутым ступеням каменной башни. — Выбрал смерть как, в своем понимании, бегство. А если правы различные сектанты, которые бродят по свету и вешают — каждый по-своему — абсолютную истину? Если смерть означает не конец, но, наоборот, начало? Если существует жизнь вечная? Меня это не интересует. Вечная жизнь означает для меня вечное страдание. Но разве, продолжая жить в этой юдоли слез, я сокращаю себе тем самым вечность? Ведь для того я принимал в Кальтерне всех этих шутов, алхимиков: я хотел продолжить жизнь и сократить вечность...»

Он вошел в комнату-узилище. Сразу направился к картине. У графа дрожали руки, когда он брался за полотно, накрывающее холст.

На картине с невероятной тщательностью была изображена комната, в которой художник провел почти год жизни. Лежанка, прогнивший стол, прогибающийся под собственной тяжестью, каменные стены, заросшие плесенью, станок с натянутым на нем полотном (на полотне — соответствующим образом уменьшенное изображение камеры и так далее) и, наконец, небольшое оконце, выходящее на юг, на вересковые. Единственной деталью, отличающей картину от реальности, была решетка на окне.

«Символ рухнувшей надежды», — подумал граф.

Он был разочарован. Он уже не помнил, чего, собственно, ожидал, но наверняка знал, что не этого.

Когда граф выходил из комнаты, ему вдруг почудилось, что он слышит протяжный крик такого безбрежного отчаяния и страдания, что он покачнулся и чуть было не упал. Он подбежал к окну.

— Ты слышал что-нибудь? — крикнул Мортен проходившему внизу конюху.

— Нет, господин, — ответил конюх.

— Крик. Чей-то крик... Ну, говори, слышал или нет?!

— Я ничего не слышал, господин...

— Значит, ничего не слышал и я, — проворчал граф.

Но в ту же ночь его разбудил тот же крик. Лишь тогда он понял, что художник все же выполнил задание.

«Картина — это образ его души, то, что в нем! — лихорадочно думал Мортен. — А самое важное в картине то, чего на ней нет! А нет — художника!! Человека, глядящего на свою камеру... Вот что изображает картина — разум художника, состояние его души...»

Мортен сорвался с ложа и побежал к одинокой башне. Он так быстро вэбировался по ступеням, что, добравшись, едва мог дышать. Вошел в комнату. Сел на лежанку перед картиной. И снова услышал крик.

Собственный.

8

Труп графа Мортена нашел палач и разрыдался; его собственная жизнь неожиданно потеряла смысл. Предсмертный вопль графа слышали множество людей. Все как один клялись, что не забудут его до конца дней своих.

Тело графа валялось на лежанке в верхней комнате каменной башни, которую называли еще Одинокой. Мертвые глаза были устремлены на последнее творение заточенного здесь художника. Впоследствие очевидцы говорили, а бродячие менестрели подхватывали, что в глазах Мортена засияли нечеловеческий ужас, боль, страдание.

И экстаз.

Ольштын, апрель 1993 г.



ГОЛОС БОГА



1

Закат был кроваво-красным, словно говорил тем самым, что вот-вот начнется нападение и резня.

Мементо подумал, что солнце садится слишком уж алым.

По профессии и призванию Мементо был философом, и его часто посещали мысли экзистенциального характера. Например, в данный момент он серьезно раздумывал над тем, следует ли лишить себя зрения, если его глаза почти постоянно наталкивались на так же, как сейчас, торжественно и кроваво заходящее за бескрайние, казалось, вересковья солнце.

Вересковье было бесконечным, как спокойные воды Мертвого моря, которое философ видел один раз в жизни. Много лет назад. Он помнил, что вода легко колебалась, будто грудь женщины при нежном прикосновении.

— Решено, — шепнул Мементо. Про себя.

Следуя примеру радикальных мыслителей древности, он решил окончательно отрезать себя от внешнего мира и чрезмерного излишка текущих оттуда пагубных раздражителей. Он жаждал познать природу Безмолвного Бога, услышать Его Голос. Для этого, по его мнению, следовало лишить себя зрения. Именно ради этого он и находился сейчас во влажном покое Одинокой башни замка Кальтерн, ни с кем не общаясь и лишь изредка переговариваясь с самим собой. Единственным человеком, которого он видел, была немая женщина, один раз в день приносившая ему пищу.

Третьим и последним обитателем замка Кальтерн, заброшенного после смерти графа Мортена, был безымянный палач, однако с ним Мементо не общался вообще ни разу, поскольку все дни и ночи палач проводил в подвалах. Одиночество роднило палача и философа. Одиночество, донимающее, как боль гниющей ноги Мементо.

Нога гнила уже давно, но он не соглашался ампутировать ее, хотя немая женщина жестами не раз предлагала это сделать. Гниющая конечность погружала Мементо в мистическое состояние. Порой ему казалось, что перед ним маячит тень Бога. Или шелестит Его шепот. Это очень походило на изматывающую тело лихорадку. Мементо чувствовал спиной холодное дыхание смерти.

Дверь раскрылась с адским скрежетом давно отслуживших свой век петель и прервала размышления философа над известным выражением Грегориуса: «Либо Бог произнес слово, когда создал мир из ничего, либо говорит непрестанно, и благодаря этому мир все еще существует».

В комнату проскользнула немая женщина, принесшая философи хлеб и молоко. Молоко было необходимой добав-

кой к совершенно несъедобному, практически окаменевшему хлебу.

Мементо давно уже не чувствовал голода, однако постоянно принуждал себя есть, дабы продлить свое пребывание в этой юдоли слез, страданий, крови и пота. Он еще надеялся услышать Бога при жизни.

После смерти в этом уже могло не быть никакой философии.

Он с изумлением обнаружил еще едва заметную у женщины беременность и подумал, что отцом будущего ребенка должен быть палач, больше вроде бы некому. Палач же, в свою очередь, полагал, что немая — наложница философа.

Оба они ошибались.

Немая была невероятно уродлива, у нее были нечеловечески массивные черты лица, в особенности челюсть, у глаз — неопределенный цвет, а сальные волосы больше походили на копну сена или льна.

У Мементо женщина наверняка вызывала бы жалость, если б не то, что гораздо больше он жалел самого себя и весь мир. Именно в такой последовательности.

Временами в приступе гнетущего отчаяния философ думал, что Бог так же нем, как эта женщина. Или что Бога вообще нет. Обе возможности казались в равной степени ужасающими.

Когда женщина ушла, философ с трудом дотянулся до торбы, заполненной учеными книгами в кожаных переплатах. Некоторые даже были иллюстрированы. Авторы считали, что им что-то известно. Однако были и такие, которые говорили: «Я знаю только то, что ничего не знаю». И все-таки писали книги.

Кроме книг, в торбе лежал стилет с узким, как губы Мементо, лезвием. И острым, как его кадык, концом.

Некогда любовница философа сравнивала его губы со шрамом. Девица была немного поэтессой, немного кабацкой девкой со склонностями к кабацким приключениям. Еще в очень юном возрасте Мементо пришел к выводу, что женщины — ничего не стоящий на этом свете пух. И ни одной он никогда по-настоящему не любил. Его единственной любовью была философия. Когда он занимался любовью с девками легкого поведения, перед его умственным взором стояли главы из философских трактатов, и лишь воспоминания об особо тонких мыслях философов, подстегиваемые менее тонкими, но зато чисто физическими воздействиями девок, могли довести его до оргазма. Мементо частенько задумывался, как с этой проблемой обходятся кузнецы.

— Довольно! — крикнул он, чтобы отогнать слишком уж фривольные мысли.

Мементо приложил острие стилета к глазу и уже собрался было нажать, когда его внимание привлек неожиданный всплеск света заходящего солнца. Источником вспышки оказался наездник, закованный в латы. Философ подумал, что это странствующий рыцарь с сумасшедшинкой в глазах.

Уже через мгновение он забыл о наезднике, а его искушенный разум погрузился в размышления о тупике, образованном улицами.

Однажды ему довелось побывать в Бардене, чудовищно многолюдном городе, насчитывающем никак не менее пятидесяти тысяч нечистых душ. Город не понравился Мементо, весь он был пропитан неприятными запахами, люди казались какими-то блеклыми, вероятно, из-за отсутствия чистого воздуха. Девки были вульгарные и убежденные в исторической миссии своего ремесла, так что в

них не чувствовалось и крохи поэзии. Именно там философ впервые в жизни увидел слепую улочку-тупик и тут же подумал, что тупик — метафора человеческого бытия и в то же время его небытия. В этот момент ему показалось, что если он собственноручно лишит себя зрения, то сравнение его судьбы с тупиком приобретет характер возбуждающей дословности. Однако он тут же утешился, подумав, что люди принципиально отличаются от улиц, а слепцы — от тупиков. У улиц нет проблем экзистенциальной природы, им не приходится набивать себе брюхо и добиваться благосклонности девок. Им не надо никого убивать, чтобы выжить самим.

Издалека до философа долетели женские крики. Женщина чего-то смертельно боялась и извещала об этом мир пронзительными воплями. До сих пор единственной женщиной в замке была немая. Мементо видел два объяснения: либо немая служанка таинственным образом обрела речь, либо появилась другая женщина, на сей раз наделенная голосом, от которого дрожали стены.

— Чего вам от меня надо?! — кричала она. Голос долетал приглушенно, словно из-под земли, вероятнее всего, из подвалов. И плач был к этому явно причастен.

Мементо, не колеблясь, принял выкальвать себе глаз. Дело шло с трудом, ведь это было одно из тех действий, которые человеку доводится делать первый и последний раз в жизни. Как, к примеру, умирать. Или появляться на свет.

И тут философи пришла в голову мысль: а ведь он мог попросить помохи у профессионала из подвалов. Получалось, что и философы порой задним умом богаты.

Выколов правый глаз, Мементо на мгновение потерял сознание. Но как только пришел в себя, тут же выколол

левый. Однако, надо сказать, пока что это не просветлило его мыслей и уж точно не повысило остроты зрения.

Немая женщина не всполошилась при виде крови. Ей в жизни довелось видеть множество крови, пота и страдания. И слез. Она с каменным спокойствием осмотрела раны философа. Только ее неопределенного цвета странные глаза были печальны. Однако этого Мементо увидеть уже не мог.

Чтобы хоть немного утишить боль в гниющей ноге и глазницах, Мементо принял в уме перебирать доводы в пользу существования Бога. По сути, довод был лишь один, но в четырех частях. Во-первых, неоспоримый факт наличия всеобщего движения требовал изначального присутствия Первовдвижителя. Во-вторых, дифференцированное разнобразие всего сущего требует наличия Идеальной Сущности. Из наличия случайностей, в свою очередь, делается вывод в пользу наличия Необходимой Сущности. В-четвертых же и последних, коли в природе имеет место причинность, должна быть и Первопричина.

— Прекрасно!! — воскликнул Мементо, чтобы заглушить страдание. — Но при чем тут упорное молчание Бога!

Мементо решил, что всем его рассуждениям грош цена. «Не доказательства это, а плод досужего ума, — говорил он в приступах скверного настроения, то есть довольно часто. — Ну разве не факт, что в действительности мир состоит из малых частичек, а те в свою очередь из еще меньших и так дальше до бесконечности? То есть — до абсолютной пустоты? А пустота сия означает, что мир — не более чем иллюзия. Вот так. И все это, вместе взятое, говорит о том, что Бог обожает заниматься бесконечным пустословием. Тогда что же есть мир: игра обманутых органов чувств, отражение

в воде, тень тени, благородство преступника, добродетель гуляющей девки?»

— Мудрствование философа — вот что это такое! — крикнул Мементо и горько рассмеялся.

Или взять причинность мира. Мнимую причинность. Разве не факт, что у каждой причины есть своя собственная причина, что первая-то причина просто и не существует!

Несколько мгновений Мементо казалось, что он слышит приглушенный смех, идущий отовсюду, но нет, просто это яды из ноги нарушали равновесие всех четырех органов чувств философа.

И тут он услышал голос, полный звериной боли:

— Аaaaaaaaaa!!

Но и в его реальность не поверил.

Потом уснул. Ему снились уши, превратившиеся в пепел.

Проснуться ему не было дано. Гниющая нога изъяла его из этого мира. Он умер, так и не услышав Голоса Бога.

2

Солнце стояло неподвижно в самом зените, опаляя оттуда мир.

Безымянный палач и его спутник двигались по тракту, третий день надеясь встретить грядущую жертву. Вокруг раскинулись вересковья. Еще пара дней столь небывалой в эту пору года жары — и растения умрут.

Нормальный человек, обладай он средним терпением, уже давно потерял бы веру в успех мероприятия. Но палач

не считал себя нормальным человеком, его вера могла выдержать восхождения в горы и спуски в долины.

Спутника палача звали Мори.

Они встретились три дня назад. Палач в приятной влажной тиши подвалов работал над новейшим изобретением, которому — уже после смерти гениального конструктора — предстояло революционизировать систему свершения акта правосудия и неправосудия. В другой реальности очень похожую машину в честь ее создателя окрестили «гильотиной». Поскольку палач не знал своего имени и средь живых не было человека, информированного в данной проблеме лучше его, приспособление получило название: «Безымянная машина». Название довольно длинное, но ведь изобретатель первого в иной реальности автомобиля будет называть его «горронтрикелом».

Палач прервал работу, чтобы вдохнуть влажный воздух подвалов. Помещение тонуло в полураке. Вокруг Безымянной машины валялись безголовые трупики кур, приконченных в экспериментальных целях методом проб и ошибок. Каменный пол лоснился кровью, а воздух был напоен характерным ароматом невинно убиенных птиц.

Над входом в подвал висел герб рода Мортенов: «Безголовый орел». Вот уж действительно грустная метафора судеб графских родичей.

Еще недавно палачу страшно недоставало хозяина в замке Кальтерн. Граф, которого, выполняя его графскую волю, палач ежедневно истязал, придавал смысл существованию истязателя. После смерти Мортена палач долго не мог прийти в себя. Даже подумывал было покончить с собой. Но неожиданно обрел утраченный смысл жизни. Тогда он подумал — это было как внезапное озарение, — Бог вовсе не молчит,

как это кажется всем и каждому. Просто Его мало кто слышит! Тогда палач пришел к выводу, что мир жесток и зловреден не без причины и любые акты неуважения к чьему бы то ни было здоровью, предположительно даже жизни, как раз и есть Голос Бога! В таком случае получается, что Бог — невероятно разговорчивое существо. Продолжая рассуждать в том же направлении, палач все больше убеждался, что сам он есть не что иное, как Язык Бога. Он был почти убежден, что, тщательно выполняя свою работу, он разговаривал и притом оказался невероятно последовательным говоруном.

Почти в тот самый миг, когда падач возвратился к прерванной работе, на площади замка Кальтерн возник конный путешественник. Это был крепко сбитый мужчина в расцвете сил. Его одежда, а также герб — Бескрылая Ласточка — не оставляли никаких сомнений: прибывший был человеком князя Сорма. Злые языки утверждали, будто Бескрылая Ласточка идеально точно отражает убожество мыслей у наследников княжеского титула.

— Я — Мори, — представился наездник немой женщине. — Придворный палач князя Сорма, да не угаснет преждевременно звезда счастья его. Я хочу видеть известного Безымянного Палача.

Женщина ответила молчанием, что, разумеется, не было признаком презрения.

Она проводила Мори к крутым ступеням подвала. Безымянный Палач удивился, увидев незнакомца, по собственной воле входящего в помещение, заслуженно пользующееся дурной славой. Внимательно приглядевшись к Мори. Лицо придворного палача князя Сорма напоминало камень с вытесанными в соответствующих местах отверстиями, углублениями, морщинами. Это не было либо слишком уж смыплленого

человека. Или шутливого. Не отличалось оно и избытком эмоций. Лицо Мори изумило Безымянного Палача, однако он не подал и виду.

Мори, не обескураженный холодным приемом, присел на то, что принял за скамью и что в действительности было деревянной многофункциональной пыточной машиной. Не обращая внимания на упорное молчание коллеги по профессии, он принялся излагать историю своей жизни. К счастью, история был недлинной.

Род Мори столетиями придерживался богатых традиций тайного посланничества и шпионства. Каждый мужской потомок рода, а по непонятному решению судьбы других в роду никогда не было, становился мастером шпионажа, прислуживающим очередным наследникам княжеского титула. Обязанностью клана Мори была передача секретных сведений, хитроумно упрятываемых под буйными шевелюрами. Для этого посланцу сначала наголо выбивали голову, выписывали на коже информацию, выжидали, пока волосы отрастут, и только после этого посланца отправляли с миссией. Род Мори всегда изобиловал волосами. К сожалению, природа отомстила за явные насмешки над собой: последний из Мори облысел уже в юные годы, лишившись средств к существованию и постоянного харча. Это потребовало быстрой смены профессии. Именно поэтому Мори решил переквалифицироваться в палачи и тем самым реализовать свои потаенные детские мечты. Решив это, он с согласия и благословения Сорма отправился к знаменитому палачу из Кальтерна, известному также под именем Безымянного Палача, чтобы пройти курс обучения. Ибо обучение — ключ, открывающий замки науки.

— Ты — живая легенда среди палачей, господин, — вежливо закончил свою повесть Мори.

— Выматывайся отсюда, — проговорил Безымянный Палач, поразив тем самым себя самого. Он-то думал, что уже давно забыл, как пользоваться речью.

— Я еще не рассказал тебе о моем новом мето...

— Заткнись! — обрезал хозяин-палач. Он уже полюбил Мори, но по-прежнему не видел в нем потенциальной жертвы, а поэтому его любопытство пока еще как бы дремало.

Мори решил разыграть последнюю карту.

— Я истязаю осужденных при помощи собственной поэзии...

Любопытство Безымянного Палача очнулось, потянулось и внимательно взглянуло на Мори.

Оказалось, что Мори был не только тайным посланцем и палачом в одном лице, но еще и поэтом. Скверным, правда, но все же сохранившим достаточную толику трезвости ума, чтобы оценить свою творческую импотенцию. Если б такое было свойственно другим поэтам, наделенным скучным талантом, мир мог бы быть лучше.

Неожиданно Мори обнаружил, что его поэзия действует особенно сильно на умы утонченные и изысканные. Чем образованнее был истязаемый, тем скорее сопротивление его разваливалось под усиленным напором поэзии Мори. Особенной тяжело вирши Мори переносили известные поэты и трубадуры. Дольше других выдерживали графоманы.

Метод Мори заинтересовал Безымянного Палача, который очень высоко ценил все новации в области истязательства.

— Нам нужен объект, — сказал он.

Философа отмели сразу же, гниющая нога привела к тому, что он сильно исхудал. К немой, в свою очередь, палач чувствовал особую слабость.

С того момента миновали три дня.

Солнце палило немилосердно, однако палач не обращал на эту неприятность внимания. Никаких замечаний он также не произносил вслух, так как превыше всего ценил сдержанность, а тишина была ему особо мила.

Неожиданно Мори приподнялся и указал на восток. Там маячила одинокая фигурка, пешком пересекающая ветрековье. Ее догнали быстро, ведь они были на лошадях. Неудачливый путешественник оказался женщиной. Это была Йони, до недавнего времени официальная любовница князя Сорма, которого называли еще Сормом Беспалым. Йони ухитрилась впасть в немилость из-за своих непомерных имущественных притязаний и ловких интриг законной супруги князя.

Йони была прекрасна, как солнечный закат.

Некровавый закат.

Ее портреты, несколько лет назад написанные княжеским художником, спалили, имущество конфисковали в пользу Фонда Финансирования Княжеских Любовниц. Своевременно предупрежденная, Йони чудом избежала смерти. Однако, надо сказать, попала из огня да в полымя — и даже в огненный смерч.

Сейчас все трое возвращались в Кальтерн. По дороге их вдали миновал одинокий рыцарь, скорее всего — странствующий. Пока ехали, Йони успела наобещать им полкоролевства, так и не увидев ни следа реакции на их каменных лицах. Потом, когда они уже оказались в подвале, она кричала так, словно с нее сдирали кожу, а не одну из одежд. Когда Безымянный Палач увидел ее нагой в неверном свете факела, сердце его растаяло, словно воск, зато другой орган с жизненно важным значением затвердел, будто камень. Он почувствовал

внутренний конфликт между желанием произнести страстную речь от имени Бога (вроде бы) Безмолвного со столь же страстным возбуждением, охватившим его.

— Что вам от меня нужно?! — крикнула Йони так, что задрожали стены.

У палача сердце разрывалось, а руки потели, поэтому он отхлебнул из запотевшей бутыли, заполненной вином, выдерживаемым при подвальной температуре. Одного глотка оказалось мало, пришлось не откладывая прикончить остальное.

Он уже начал подумывать, а не отпустить ли девушку на свободу, — и отпустил бы, не будь рядом Мори. Возможно, они даже жили бы вместе долго и счастливо, нарожали кучу красавцев ребятишек, которых он понемногу посвящал бы в премудрости палаческого искусства.

Он тряхнул головой и отогнал мысли, недостойные палача. Ведь профессиональный палач не знаком с жалостью, а уж если они — палач и жалость — каким-то путем встретились, значит, самое время бросать ремесло.

Он еще мог бы втолковать себе, что Йони — всего лишь беззащитная жертва, которая никому не вредит, ну, может, не считая Беспалого Сорма и его законной супружницы, да к тому же она не знает ничего настолько важного, что стоило бы из нее вытягивать при помощи пыток. Кроме того, палач помнил старый девиз палаческого цеха: «Когда спрашивает пытка, отвечает боль», а это означало, что причинять боль ради получения информации бессмысленно. Ведь палач мог втолковать любому все что угодно, причем такое, что не имело бы ничего общего с так называемой объективной истиной. Жертвы истязают ради самого истязания, как любовью занимаются ради самой любви, а искусством — ради самого искусства.

Единственным смыслом бескорыстного истязания могло быть еще «речение» от имени Бога. Лишь эта последняя мысль окончательно укрепила палача в бесчувствии.

— Вы хотите меня убить, правда? Почему? — сквозь слезы спросила Йони.

— М-да, — буркнул Мори, переодеваясь в палаческую робу. — Тянешь, значит...

Вид нагой женщины не вызвал у Мори никаких эмоций. Ни одна женщина не в силах была этого сделать. Любовь для него была не более чем стилистическая фигура, которой он пользовался, занимаясь своей поэзией. Физическую любовь он считал орудием, служащим разветвлению древа рода Мори. Бывало, смерть, будто сдуревший садовник, подрезала ветки как попало, тогда Мори волей-неволей приходилось браться за любовь.

Близился вечер. Когда медленно, как бы нехотя, наконец опустилась тьма, палачи взялись за дело.

Йони никак не могла поверить в близость своего сошествия из этой юдоли слез. Как любой юный человек, она не вполне осознанно, но все же считала, что в принципе она бессмертна.

Она ошибалась.

Тем временем Мори принялся декламировать свои вирши, воздушно-легкие, как палаческий топор. К счастью, Йони не могла похвастаться особой утонченностью ума, поэтому поэма не доставила ей большого удовольствия. Ей даже пришлось прикидываться заинтересованной.

Поэма Мори тянулась, как кишка из выпотрашиваемой свиньи. В большом сокращении поэма была посвящена невероятной любви, коей воспыпал некий соловей к привлекательной воробыхе. Затем шло подробнейшее описание

пташки: ее круглой грудки и изящных ножек. Ни слова о перышках и клюве. Помехой буйному развитию романа оказалась разительная разница в характерах обеих птиц. Соловей, как всякий соловей, любил петь, причем не только когда брился, воробыхе же его голос не нравился. Поэтому она постоянно сбегала от неудачливого влюбленного, что доводило соловейку до черного отчаяния и ярости, достойной разве что сапожника, а постоянные погони за возлюбленной отнимали у него ценное время, отведенное на пение. Наконец однажды ночью, когда ничего не подозревающая воробыхка погрузилась в сон, соловей подкрался и подрезал ей крылья. И тут же лишил себя языка. Такое решение, несомненно, было идеальным компромиссом. Впрочем, бескрылая воробыхка уже не столь привлекала безъязыкого соловья. Он незамедлительно перенес свои чувства на некую соловьиную самочку, наделенную изумительным голосом и крутой грудкой. Уж не говоря о ножках. Однако избранница не желала даже смотреть на онемевшего певца.

В принципе история очень понравилась Безымянному Палачу, который ведь был мастером истязательства, а не стихосложения. Он даже отыскал в поэме однозначную метафору супружеского состояния как связи, опирающейся на двусторонний компромисс, основывающийся на том, что супруги ради взаимного блага лишают себя тех признаков, характеристик и т.д., за которые — не ведая о том — дарили друг друга любовью. В таком деянии содержался непонятный палачу парадокс. Впрочем, парадокс был непонятен не только палачу. Его не понимал никто.

Стихи Мори были тяжелы, как кузнецкий молот, и казалось, что в любой момент они пробьют каменный пол подвала и провалятся напрямую в ад.

— Прелестная история, — сказала Йони, истекая лживыми слезами фальшивого возбуждения. Конечно, она вовсе так не считала. В ней говорил инстинкт самосохранения. Она очень хотела понравиться Мори, потому что его мучительственная поэма не дала желаемого результата. Ему было совестно перед Безымянным Палачом. Он и не предполагал, что продлить такое еще несколько лет, и он мог бы стать предтечей психологической войны. Злой, он вышел из подвала в поисках хотя бы капли вина. От поэтического азарта у него пересохло в горле.

Йони перевела умоляющий взгляд на Безымянного Палача. В своей краткой жизни она не видела никого, хотя бы наполовину столь же отвратного. Граф Мортен некогда зверски истязал палача, чтобы таким образом приобщить того к ремеслу. Юные, чрезмерно эластичные кости не выдержали напряжений и очень сильно деформировались. Теперь палач больше напоминал чудовище изочных кошмаров. С человеческим существом у него было мало общего. И все же Йони сказала:

— Ты изумительный мужчина, господин мой...

Она использовала все свое искусство профессиональной куртизанки, но избежать судьбы не смогла. Потому что палач ей не поверил. Конечно, он знал, что мир жесток и зловреден, но такого коварного удара не ожидал.

Начались настоящие истязания. Безымянный Палач был чудовищно немилосерден, но даже и наполовину не столь жесток, как Йони с ним.

То и дело бывшая любовница Сорма Беспалого теряла сознание, и Мори казалось, что это уже конец, что она умерла, что палач споганил дело.

Но палач знал лучше.

Он никогда никого не истязал с таким отчаянным само-забвением. Он думал, что Бог сейчас говорит через него с невероятной ясностью мысли, быть может, даже декламирует свою Божественную Поэзию.

Мори смотрел на палача с немым восхищением. Он знал, что является свидетелем искусства редчайшего, невероятного класса, которого сам никогда не смог бы достичнуть. На его преждевременной плещи в свете факела блестел пот болезненной эмоции.

Но неожиданно палач заорал:

— Аaaaaaaaaaaa!!!

Это был крик звериной боли и страдания. У него перед глазами встало его собственное детство, когда Мортен неусстанно причинял ему боль, всегда щадя при этом руки мальчика, потому что для палача это самый что ни на есть главный инструмент. Он припомнил свой страх и отчаяние, когда вырастал и с абсолютной уверенностью знал, что ни одна женщина, даже в приступе умопомрачения, никогда не захочет на него взглянуть благосклонно. Он подумал, что у него вот-вот разорвется сердце.

Но сердца не разрываются из-за столь ничтожных причин.

Немая женщина глотала у себя в комнате слезы.

Мементо в своей — умирал.

Мори, не осознавая этого, обгрызал ногти.

Безымянный Палач убил Йони, которая никогда не могла бы стать женщиной его печальной жизни. Ничто уже не могло дать успокоения его испепеленной душе. Совсем так, словно на душу палача взглянул василиск.

Палач всегда думал, что знает лучше. В действительности же не знал ничего.

Покончив с Йони, он посмотрел на Мори глазами, бессмысленными от страдания.

— Это было изумительно, мэтр, — прошептал Мори. Ему показалось, что перед ним Бог собственной персоной. — С тобой никто не сравни...

Он не закончил фразы, потому что палач быстрым как мысль ударом разрубил ему череп двуручным топором. С его стороны это был акт милосердия, во всяком случае, он сам так думал.

Потом он подошел к Безымянной машине и спокойно положил голову под ее острие. Он не колебался. Он надеялся, что, отрубая себе голову, тем самым лишает Бога его языка.

Он ошибался.

3

Солнце как раз опускалось в кровавом зареве заката, когда рыцарь Квайдан проезжал на коне неподалеку от замка Кальтерн. В последних лучах он еще успел заметить в оконном проеме Одинокой башни одинокую фигуру.

Квайдан был человеком среднего возраста и, пожалуй, среднего роста. С некоторых пор средними же были и его интересы к делам сего мира. Зато его очень интересовало завораживающее молчание Бога.

Над равниной понемногу разгорались звезды. Рыцарь несколько минут раздумывал, следует ли продолжать путь, однако чувствовал нарастающую усталость. Поэтому слез с коня, накормил его и почистил, потом раскинул полотняную

палатку — дом, с которым не расставался много лет. Можно сказать, он был типичным домоседом.

Сон пришел мгновенно, словно истосковавшись по обществу Квайдана. Это был сон о прошлом, а значит — кошмарный. Рыцарь принял его со стойкостью хорошо воспитанного хозяина, ибо натура Квайдана была такова, что он все воспринимал с недогретыми эмоциями.

Он видел сон о своем ремесле, о кровавых походах под штандартами князя Сорма. Видел легионы людей, которые никогда не делали ему ничего дурного, и тем не менее он равнодушно отправлял их на тот свет, словно они были посылками без адресата. А может, адресат все-таки существовал?

Потом увидел девочку, почти девушку. Красивую, невинную, он никак не мог вспомнить ее глаз. Она откусила палец князю Сорму, когда тот — предварительно зверски прикончив ее родителей, пытался погладить ее по черным как ночь волосам. Тогда Квайдан, эта человеческая машина для убийства, человек без эмоций, лишенный чувств, ткнул девочку мечом. Всего один раз. И с этого момента в нем что-то надорвалось, его бесстрастие помутнело, часто стали повторяться кошмарные и бессонные ночи. Он живо заинтересовался теологией. Его очень интриговала личность Адресата, которому он отправлял столько посылок. Он хотел бы задать тому несколько простых вопросов: откуда мы взялись? Куда идем? Почему мы такие, а не иные? Почему и зачем я прикончил столько людей? Почему мир жесток и скверен? Кто ты, дорогой мой Адресат? И чего ты от нас хочешь?

Философские доктрины, придуманные покрытыми потом высокими лбами, все как одна доказывавшие существо-

вание Бога, были для Квайдана чистой абстракцией. Либо он их не понимал, либо они его не убеждали. Ему нужна была конкретность, так как всю свою солдатскую жизнь он твердо ступал по земле. Совершенно неожиданно нужную мысль подсказал ему лохматый пьяница, вероятно, спавший с ума философ. Это случилось в придорожном доме у тракта, ведшего на Барден.

— Ты ищешь... ик... Милосердного Бога, да? — спросил пьяница, когда Квайдан поведал ему о своих кровавых делах и неожиданном обращении. У пьяницы были красные глаза и нос и затруднения с ясной формулировкой мыслей.

— Вот именно, — ответил Квайдан.

— Ты ищешь Бога... Прощающего Преступления?

— Верно.

— По-моему... ик... Его существование можно доказывать только опосредованно. Ведь ежели существует абсолютное добро... то должно иметься и абсолютное зло... По принципу равновесия противоположностей... — В этот момент пьяный философ с невероятной силой схватил рыцаря за руку, сквозь туман, клубящийся в его глазах, пробились искорки осмысленности. — Пойщи Изверга, Квайдан! Пойщи Творца Пустыни! Если василиск, этот наместник ада на земле, не просто легенда, выдуманная слабаками для еще более слабых духом... то и Бог существовать должен.

Так оно и началось.

Под утро Квайдану приснились выколотые глаза. Он не знал, что может означать этот сон.

Он скатал палатку и отправился дальше. В полдень заметил вдалеке двух конников, направлявшихся в сторону замка Кальтерн. Через спину лошади у одного была перекинута беспомощная фигура. Кажется, женская. Квайдан никогда

не был поборником рыцарских странствований и свершения великих дел, например, из-за любви. Он по-настоящему вообще никогда не любил ни одной женщины. Конечно, порой вступал в единоборство, прицепив к остирю пики надушенный носовой платок, но рассматривал это больше как неизбежное зло исполняемого им ритуала, нежели романтический поступок. Поэтому не поспешил на помощь женщине, скопее всего похищенной.

Он думал о василиске. Легенда гласила, что это был наместник дьявола на земле, чудовище с испепеляющим взглядом, что-то вроде четырехногого петуха с ядовитым гребнем и желтым оперением, огромными игольчатыми крыльями и хвостом змеи, оканчивающимся каким-то крючком или второй петушиной головой. Его убийственный взгляд не делал исключения ни для кого и ни для чего: испепелял издалека с одинаковым эффектом людей, животных, растения, камни. Его называли Творцом Пустыни, и была это пустыня необычная, пепельно-серая. Единственной защитой от пронизывающего взгляда чудища было якобы зеркало. У Квайдана была даже мысль заказать себе у стеклодува латы, выдутые из стекла. Для этого нужен был мастер с дай боже какими легкими! Потом он понял, что ему, вообще-то говоря, уже и жить не хочется, и если василиск его испепелит, то его блюданиям придет конец. Смерть была бы для Квайдана свершением и... пониманием.

Однако трудно себе представить, каким образом удалось описать такое чудище. Ведь никто из оставшихся в живых василиска не видел.

В соответствии с указаниями старых карт, которые он приобрел в Бардене, Серая Пустыня должна была располагаться на севере, на территориях, издревле не посещавшихся путешественниками. Последним человеческим жильем на

границе пустынных территорий мог быть замок Кальтерн. Купцы, отправлявшиеся в богатые края Гонг, обходили пустыню с запада, а потом на зафрахтованных кораблях плыли вдоль берегов Мертвого моря.

Квайдан ехал много дней, порой и ночей. Стоило ему заснуть, как перед глазами измученной души являлась изувеченная девочка. Она стояла и молча глядела на него. Приснувшись, он видел только бескрайние вересковья.

Но однажды вересковья резко оборвались, словно кто-то назначил им непересекаемую границу. Пустыня раскинулась до самого горизонта — это был истинный океан пепла.

— Серая Пустыня непрестанно увеличивается, — проговорил кто-то за спиной у Квайдана.

Рыцарь резко обернулся в седле, одновременно заученным движением схватившись за меч, и увидел старца с изборожденным морщинами лицом, обрамленным бородой, длинной, как бессонная ночь, как медленное умирание, как перечень преступлений и любовниц Беспалого Сорма.

— Кто ты? — спросил Квайдан.

— Старый человек, на которого не хочет взглянуть даже Творец Пустыни.

— Как так?

— Когда-то я искал здесь смерти, но не нашел. Видишь, юноша, василиск всегда у нас что-то отнимает, но никогда ничего не дает. Отнимает самое ценное. Понимаешь?

— Так, значит, Творец Пустыни — не легенда? Он действительно существует?!

— Ты ишьешь славы и пытаешься его уничтожить, верно?

— Я хочу услышать Голос Бога. Кто-то мне сказал, что если существует абсолютное зло, то должно существовать и абсолютное добро...

— Глупый ты человек, коли ищешь Бога в Серой Пустыне. Василиск — и не добро, и не зло. Его суть — отнятие, как суть рыцаря — убийство, а стариков — умирание.

— Ты жив, — съехидничал Квайдан.

— Творец Пустыни отнял у меня смерть...

— Ты — бессмертен?!

— Спроси меня об этом через сто лет, — горько усмехнулся старик. — А теперь — уходи отсюда, пока в тебе еще теплится надежда. Василиск может ее у тебя отнять...

— А ты? Ты веришь в Бога?

Старец молча отвернулся и пошел. На юг.

— Веришь? — кричал ему вслед рыцарь. — Ответь! Я же могу тебя убить, старый дурень! Уж такова суть рыцарства — убийство!

Ему ответил ветер, пересыпающий волны пепла с места на место, без лада и склада. Квайдан снял латы, отпустил коня и двинулся в глубь пустыни. Идти было тяжело, ноги увязали почти до колен, но он брел дальше. Неизвестно, сколько времени шел он так по осыпающемуся пеплу, может, часы, может, дни. Солнце припекало немилосердно. Наконец он увидел впереди одинокую детскую фигурку. Это была девочка, которую он убил. Она ничего не говорила, только стояла и глядела на Квайдана. Он даже не почувствовал, как его уши испепеляются. Он потерял сознание. Когда пришел в себя, была уже ночь. Он не слышал ветра, перегоняющего пепел, не слышал биения собственного сердца, не слышал дыхания. Он был глух.

И тут понял, что старик был прав. Василиск не случайно лишил его слуха. Это было знамение. Символ. Ведь он же хотел услышать Голос Бога.

Спустя несколько лет в один из жарких дней он въехал в город, охваченный Черной Смертью. Он не слышал пре-

достережений убегающих в панике толп. А может, попросту искал смерти? Лишенный надежды — он умер без сожаления.

Немая женщина из замка Кальтерн родила сына, хоть и была девицей. Мальчик превратился в необыкновенного человека. В нем была сила целителя и чудотворца. Он говорил, что самое главное в жизни человека — любовь. Что даже если кто-то говорит языками ангельскими, то без любви это всего лишь кимвал звучащий. Без любви это — ничто.

Не все ему верили, но нашлось несколько поверивших. Разумеется, в конце концов дело дошло до предательства, и он погиб от страданий и боли. Его колесовали.

И то колесо стало символом новой, необычной религии.

Смерть стала его величайшим триумфом.

Ибо в памяти бесчисленных поколений он жил и живет как Голос Бога.

Ольштын, февраль — июнь 1995 г.





1

Трактир стоял неподалеку от дороги, ведущей прямо в запретный город Барден. Место удачное, так что хозяину грех было жаловаться на недобор клиентуры. Однако сейчас за столом сидели лишь четыре посетителя. Возможно, остальные ушли, чтобы избежать общества четырех довольно-таки темных типов. Темные предметы вообще трудно различать, и, говорят, именно поэтому так сложно бывает предугадать судьбы хулиганов и бандитов.

Так или иначе — трактир опустел, и никто так и не решился сказать пришельцам дурного слова. Впрочем — недурного тоже.

Хозяин, человек пожилой и умудренный опытом, о чем свидетельствовали бельмо на правом глазу, седина в висках

и досаждающая при ходьбе подагра, молча обслуживал клиентов. Самый младший из четырех, отзывающийся на имя Кандан, пытался разговорить хозяина, туманно намекая на осеннюю прохладу, пронизывающую до костей. Однако хозяин трактира только глянул на него правым, затянутым бельмом глазом, и болтун умолк.

Время от времени крыша дома угрожающе гудела, словно извещая людей, что через минуту-другую похоронит их под собой. Впрочем, это были бы и ее собственные похороны.

В течение нескольких часов посетители поглощали вино, не расплачиваясь. Смахивало на то, что они намереваются в трактире заночевать. Старшим в группе был Яго, человек лет уже под пятьдесят. Возраст и многочисленные кабацкотрактирные приключения нанесли серьезный ущерб его комплексу зубов, что ограничивало коммуникативность некоторых его высказываний. Впрочем, когда требовалось, он выражался ясно и кратко, и все его слушали. Он был вожаком. Почти ровесником Яго был Кавалькадо. Этот в основном молчал, а лицо его скрывалось в тени. Цноб отличался особым норовом и был достаточно молод. Его лицо пересекал совсем недавно затянувшийся шрам. Когда он начинал резкоgrimасничать, рана раскрывалась, поэтому он старался говорить редко и не проявлять особо живых эмоций, что при его темпераменте было нереально.

Кандан разглагольствовал о девках, с которыми «игрался» последнее время в Бардене — в его повествованиях была масса преувеличений, и товарищи, вообще-то говоря, его не слушали. Впрочем, если по правде, так вообще никто никого не слушал. Выпивохи тянули монологи, и сами же были их единственными слушателями. Яго все время возвращался к теме ухода на заслуженный отдых, утверждал, что это поручение — последнее пар-

шивое поручение в его жизни. Вероятно, лишь молчаливый Кавалькадо улавливал его слова краем уха, да и то вряд ли. В свою очередь Цноб то и дело впадал в бешенство, хотя при его ране это было противопоказано, но он не мог сдержаться и постоянно возвращался к «суке», которая так чертовски его уделала. Он рисовал сам себе красочные кровавые картины, сутью которых были клятвы выпустить ей кишкы, а потом накормить ими свиней. При слове «свиньи» Яго вздрогнул.

— Заткнись, Цноб, — проговорил он. — Я видывал в своей жизни больше бебехов, чем ты девок и свиней, вместе взятых. Как ни взвешивай. Хоть на весах. Сколько мы знакомы, я ни разу не слышал от тебя ничего нового, так что лучше уж помолчи. Баба от нас не уйдет, ей надо думать о своем ублюдке.

Кандан, уже будучи в сильном подпитии, с мутным взглядом и красной физиономией, принял грубо подсмеиваться над профессиональными возможностями Цноба, которого первая попавшаяся девка на всю жизнь пометила кинжалом. Цноб взбеленился, рана на щеке вновь начала кровоточить. Получалось, что Цноб проливал не только чужую кровь. Яго дипломатично разрядил обстановку, отослав Кандана за вином, а Цноба наверх, в гостевую комнату, чтобы он там привел в порядок свою рану. Когда они остались за столом вдвоем, Кавалькадо заговорил в первый раз за этот день.

— Паршивая работа.

— Работа как работа, — философически отозвался Яго.

— Я был с тобой под Варданом, Яго. Никогда — ни до того, ни после — я не видел столько трупов сразу и в одном месте, словно за всем стоял какой-то извращенный

коллекционер. Не видывал я ни такой жестокости, ни такого моря бессмысленно пролитой крови.

— Помолчи, Кавалькадо, — проворчал Яго, у которого память была не хуже.

— Мы убивали, потому что Сорм хорошо платил. Справедливость тут ни при чем, важно, что мы — наемники и этим живем. Но ничего похожего... — Кавалькадо перешел на шепот, словно его душил собственный голос: — ...от нас, Яго, никто ничего похожего не требовал. Я, как и ты, убийца без стыда и совести, под паршивой звездой уродился. Но то... Нет, то и вправду было скверно... Светлейший князь Сорм Беспалый явно свихнулся.

— Мы приняли заказ, Кавалькадо. Мы ни разу никого не подводили, это единственный наш заработка. Князь платит хорошо. Работа паскудная, но не мы одни этим промышляем. Ежели существует ад, мы туда попадем не одни. Вот покончим с этим делом — бросаю ремесло, да и тебе советую. Но только после этого дела... Не боись, Кавалькадо, нас ждет спокойная безбедная старость.

— Спокойная старость... И молчащая совесть, так, Яго? — съязвил Кавалькадо.

— Уж не ослышался ли я? — крикнул Кандан, который с помощью трактирщика наконец принес вино. — Храбреца Кавалькадо совесть замучила! Вот и славно, каждому придележе больше золота достанется!

— Замолчи, мальчишка, — тяжело вздохнул Яго и подумал, что лет пятнадцать назад за такие слова Кавалькадо молодому дурню укоротил бы язык. Теперь же они были старые, утомленные, их мучили совсем ненужные угрызения совести и изматывали сомнения. Мир принадлежал таким неоперенным дураляям, как Кандан или Цноб, которых угне-

тало лишь чрезмерное мотовство да сомнения касательно чистоты девок, которых они брали между пьянками.

Но Кавалькадо просто прикинулся, будто не слышит Кандана.

— Думаешь, правда?

— Что?

— Ну, то, что о Сорме болтают. О том избиении младенцев. О предсказании спящего астролога.

Яго, не ответив Кавалькадо, погрузил губы в терпкий напиток. Интересно все же, какой жидкости они пролили в жизни больше: вина или крови?

— Говорят, он не псих, а вовсе даже святой человек, — возбужденно вклинился Кандан.

— Святость и кровожадность парой не ходят, — отрезал Кавалькадо, наклонился к столу, и зыбкий огонек плошки осветил его лицо. Многочисленные шрамы образовали сеть впадин на просторной равнине его физиономии. — В противном случае более праведного человека, чем я, в природе не сыскать.

Хохотнул громко, но коротко и сухо.

— Пожалуй, и верно, — буркнул Яго. — И покончим с этим. Не нам докапываться до причин и поводов. Наше дело — результаты.

Яго когда-то всерьез подумывал о карьере философа. Однако некий мыслитель уберег его от этого ремесла, неоспоримо доказав, что заяц никоим образом не может догнать черепаху. Философия, явно противоречащая здравому смыслу, показалась Яго пустой игрой ума. И он выбрал профессию, более близкую к реальности.

Кандан, разумом которого управляла похоть, поинтересовался у хозяина касательно потомков женского пола. Поскольку ответом было молчание и просверк бельма, Кандан,

впав в отчаяние, спросил о сестре старика. Тем временем Цноб спустился вниз, лицо у него было неряшливо обмотано грязной тряпичкой, сквозь которую уже успела просочиться кровь.

— Черт побери, Цноб! — крикнул Яго, у которого вино в голове шумело, словно океан. — Так еще хуже! Кавалька-до, зашей ему шрам, и тебе зачтется!

Сумерки опустились неожиданно быстро, им помогли чернильно-синие тяжелые тучи. Яго решил дать команду на заслуженный отдых, но не успел, потому что в этот момент в трактир вошел новый гость. Вместе с вновь прибывшим ворвался непрошеный пронизывающий холод, воспринятый Кавалькадо как внезапное прикосновение смерти. Его охва-тили скверные предчувствия, но он и виду не подал.

Огонек плошки заколыхался, и по стенам поползли тени фантастических форм и очертаний.

— Женщины мне наскучили, пения не слышу, охотно выпил бы винца, — громко сказал пришелец. — И пусть кто-нибудь займется моим конем.

— Не вижу серебра, не вижу золота, — проворчал хозяин. — Впрочем, возможно, я гляжу не тем глазом.

— Да, конем! — громче повторил новый гость. — Я здесь заночую. Но сначала — вино.

— Похоже, я его откуда-то знаю... — театральным шепотом проговорил Яго.

Трактирщик без особой прыти наполнил гостю кружку. Волосы чужака были белы как снег, но это больше походило на сценический парик — он был слишком молод для столь обширной седины.

Лицо его казалось авторской смесью смущения и сомнения; он напоминал собаку, которую сначала жестоко побили, а потом отняли желанную кость. И вот теперь собака пле-

тется к своей конуре в поисках укрытия, но на месте вожделенного убежища находит пепелище. Незнакомец походил на человека, с достойным удивления постоянством движущегося от поражения к поражению. Однако он был рыцарем — о чем свидетельствовал не только меч на боку, выкованный из дорогой, несомненно, далетанской, стали, но и герб на груди — Бесхвостая Белка. За подобный герб Яго отдал бы многое. Тот, что долгие века носил род Яго — Безлистный Клевер, — был причиной непрекращающихся огорчений наемного убийцы. Ибо чем более высокое место в иерархии бытия занимало существо на гербе, тем выше был общественный статус владельца. Гербами аристократов обычно бывали птицы, реже — рыбы. Поговаривали, что гербом кесаря была Женщина Без Волос на Лоне. Ходили также слухи, будто гербом владыки далекой страны Гонг был Падший Ангел об Одном Крыле.

Но тут Яго неожиданно вспомнил, кто таков вновь прибывший. Вспомнил — хотя, когда видел его в последний раз, рыцарь походил не на побитого пса, а на алчущего крови человека. Его лицо изрезали не борозды сомнения и печали, а ничем не замутненная уверенность, волосы же... волосы были черные. Черные, как беззвездная ночь.

— Квайдан, — прошептал Яго, а вслух добавил: — Здравствуй, сэр.

— Он не слышит, — бросил трактирщик. — Глянь, господин, на его уши.

У Квайдана не было ушей.

— Квайдан, — проговорил Кавалькадо. — Знакомо мне это имя.

Яго опорожнил кувшин и поднялся со скамьи.

— Жаль, не могу его спросить, в какую сторону света он направляется.

— А зачем? — заинтересовался Цноб.

— Затем, чтобы отправиться в противоположную. Попшли, парни. Завтра нас ждет тяжелый день. Хозяин, утром заплатим за все. Перед отъездом.

— Вам зачтется.

2

Крони ругалась на чем свет стоит, лежит и сидит. Она резко осадила лошадь, которая была от этого явно не в восторге. Ребенка снова вытошило ей на спину. Крони достаточно намучилась в пути. Мальчионок был еще слишком мал. Она старалась ехать по возможности медленно, чтобы ему не было больно, но достаточно быстро, чтобы уйти от преследователей.

— Ну и где же ты сейчас есть, Тот Которого Нет?! — крикнула она. Не ответило даже эхо. Вокруг раскинулось вересковье, которому, казалось, нет ни конца ни края. Но край был. На севере, там, где начиналась Серая Пустыня.

Крони быстро высвободила торбу на спине и попыталась покормить малыша грудью. Не получилось. Мальчик, измотанный дорогой, беззвучно плакал.

— Еще немножечко, — шепнула она, — еще совсем немножечко... Мы остановимся в Кальтерне, а потом — будь что будет.

Она начинала сожалеть, что резанула молодого убийцу кинжалом по лицу. Может, следовало отдать ребенка, может, такая цена за спокойствие не была чрезмерной?

Крони, как всегда, чувствовала себя преданной и брошенной. Это ощущение сопровождало ее с раннего детства. Предательство придавало ее жизни смысл и форму. Вначале предавали ее, потом она принялась предавать сама, мстя таким образом за свою судьбу. Ее мать была девкой из захудалого борделя. Убила ее нечистая болезнь. Перед самой смертью она отправила Крони в город Барден; семилетняя девочка восприняла это как первое предательство. В двенадцать она влюбилась в хозяина дома, предав доверие его жены. Никаких угрызений совести по этому поводу она не испытывала; талант, унаследованный от матери, помогал ей в искусстве обольщения. Хозяин дома любил свою жену и слыл человеком чести, однако не сумел воспротивиться искусно побуждаемому желанию. Разразившийся в его сознании конфликт привел его к сумасшествию и в результате — к самоубийству. Крони восприняла это как очередное предательство. Когда ей исполнилось пятнадцать, она сбежала из дома благодетелей и отправилась на панель. Свое ремесло она рассматривала как одно непрекращающееся, безмерное предательство. Представляла себе, что предает всех мужчин, которым отдается, да в принципе так оно и было. Однако мимо сознания Крони как-то проходил тот факт, что предаваемые ею мужчины ничего не знают о предательстве либо смиряются с ним, платят за него, а возможно, и желают его. Мужчины обожают барахтаться в нечистотах. Однако же двое из осаждавших ее легионов возжелателей действительно воспылали искренним чувством. Ничего странного — Крони была красива и молода, вдобавок — по следам матери — соблазнительна. Мало того — она одной из первых начала пользоваться косметикой.

Первый из двух подарил ей солидное состояние, второй — герб аристократа. Однако система ценностей Крони исходила из иного уровня реальности: не титулы и не богатство привлекали ее, а лишь само предательство в его чистейшем — так сказать, дистиллированном — виде. Она разбила оба сердца так, словно это были изделия из тончайшего фарфора.

Крони считала, что мир добро только к людям сильным и лишенным элементарных эмоций; сердечные порывы она полагала вредными для этого органа; в существование души не верила вообще. Она ничего не знала — в ее мире об этом не знал еще никто — о механизме естественного отбора, но интуитивно считала себя элементом подобного механизма. Порой думала о себе как о законе природы, бездумной стихии, действующей вне добра и зла.

Она несколько раз беременела и всякий раз прерывала беременность, выплачивая за это крупные суммы знакомой знахарке. Как ни удивительно, она считала такие поступки единственными актами милосердия в своей короткой жизни. Она даже осуждала собственную мать за то, что та не выкинула ее в соответствующий момент из своего чрева. Таким вот образом минуты сомнения и страдания переплетались в ее жизни с моментами радости от исполненных абортов и совершенных предательств. Смерть часто посещала ее мысли, однако Крони была уверена, что самоубийство — признак слабости, подчинения тем законам, которые до сих пор она устанавливала сама.

И неожиданно, совсем недавно, появился он. Подошел к ней на улице, когда она прогуливалась в профессиональных целях.

— Я есть Тот-Которого-Нет, — представился он.

— Длинное имя, господин Естькоторогонет. Я — дорогая, — сказала Крони, запуская в действие арсенал своих прелестей.

Тот-Которого-Нет хищно улыбнулся. В тот момент он напомнил Крони волка — двигался легко, словно ничего не весил, но источал силу и грубость. Ей нравился такой тип мужчин. Она не влюбилась ни разу ни в кого, но любила именно таких. Лишь потом она заметила удивительный талант нового клиента, его способность плавно изменять свойства характера, а порой, казалось, даже внешность — это прекрасно сочеталось со сменами ожиданий Крони. Когда ей хотелось, чтобы рядом был нежный любовник, черты лица мужчины смягчались, тембр голоса становился бархатистым; когда хотела увидеть в нем грубого завоевателя — он становился им. Отдаваясь клиенту, она не испытывала радости, на сей же раз все было иначе. Естество Того-Которого-Нет казалось ей почти сверхъестественным; она чувствовала блаженство, которого никогда раньше не испытывала. Тем временем мимикрирующий любовник вел себя в постели поразительно неэмоционально, его движения были расчетливыми и взвешенными, что еще больше усиливало страсть девки. Все выглядело так, будто они поменялись ролями: клиентом была она, а он — панельной путаной. И все время он что-то говорил, произносил слова, которых она не понимала. Говорил об эволюционной цепи предательств, венцом которой была Крони. Говорил о ребенке, который родится и окажется величайшим предателем в истории.

— Я выбрал тебя из тысячи, предательская моя Крони, — сказал он на прощание. — этот ребенок должен родиться. Ты не прервешь беременности, и это тебе зачтется.

Он сладострастно, предательски и восхитительно улыбнулся и ушел. С тех пор она больше его не видела. Спустя

месяц убедилась, что беременна, как и предрекал удивительный любовник. Несмотря на ярость, она решила доносить ребенка, будучи убеждена, что ее дитя окажется чем-то исключительным, из ряда вон выходящим, как и его отец. Сразу же после родов в Бардене разнеслась весть о предсказании придворного астролога князя Сорма. Звезды, утверждал он, говорят, что в недалекой местности и в еще более близком времени на свет появится Царь Царей, ниспровергатель авторитетов и великий мудрец. Сорм, которому это сулило потерию монополии на власть, с молчаливого согласия Кесаря начал избиение новорожденных младенцев мужского пола. Крони удалось бежать из Бардена, по дороге она ранила одного из наемных убийц-преследователей, посланных Сором. В глубине души она была убеждена, что ребенок из предсказания астролога — ее сын.

Она пыталась ехать медленнее, чем прежде. Не прошло и половины дня, как Крони увидела какие-то постройки. Подумала, что судьба ей благоволит, потому что уже начинало недоставать воды. Вблизи постройки выглядели так, словно вот-вот перевернутся, стоит на них как следует дунуть. Ее встретил мужчина с вилами. Похоже, в округе было неспокойно. Увидев, что перед ним женщина, он отложил импровизированное оружие. Крони услышала плач ребенка.

— Мальчик?

— Да, — гордо ответил мужчина. — Мой сын.

Его женщина, увидев Крони и притороченную к спине торбу с младенцем, принялась ломать руки и настаивать, чтобы они остались подольше, но Крони уперлась на том, чтобы ехать немедленно.

— Куда? — спросил хозяин.

— На север.

— Туда ехать опасно, госпожа, — побледнел мужчина. — Лучше возвращайся откуда приехала. Какая бы злая судьба ни привела тебя в наши края, там тебя ждет только смерть.

— Отсюда далеко до Кальтерна? — спросила Крони, не забивая себе голову причитаниями бедняка.

— День пути.

— Благодарю вас, добрые люди, — бросила Крони и собралась расплатиться с ними за воду, но хозяева не приняли ни сребреника.

Крони ничего не говорила ни об убийцах, посланных Сормом, ни о предсказании астролога. Подумала, что наемники, если они продолжают ее преследовать, могут удовольствоваться смертью сына крестьян. Даже не заметила, что ее самовлюбленность немного расширила границы и теперь распространилась и на сына. Наконец-то появился кто-то, кого она полюбила. Однако она не могла бы сказать, проявился ли у нее материнский инстинкт, или же заговорила надежда на покровительство будущего Царя Царей.

Женщина и мужчина глядели вслед удаляющейся Крони. Оба думали, что никогда ее уже не увидят.

Они не ошибались..

3

Квайдан ехал по дороге, извивающейся по вересковьям.

После встречи с василиском его не покидало сомнение относительно смысла какой-либо деятельности. У чудовища была огромная мощь — исчезновение ушей под его огненным взглядом было лишь символом, материальным

эквивалентом утраты способности. Способности слышать и верить. Василиск лишил рыцаря этих способностей, и одно было неразрывно связано с другим. Квайдан никогда не услышит Глас Бога.

Он дважды пытался покончить с собой, однако реальность упорно противодействовала его попыткам. В первый раз он повесился в полном вооружении, как пристало воину, на придорожном дереве — ветка не выдержала перегрузки. Однако Квайдану достаточно оказалось связанных с неудачей впечатлений и царапин, поэтому он справедливо решил, что смерть путем удушения и нелегка, и недостойна рыцаря. Тогда он решил испытать на себе отраву, приготовленную одним отшельником. Эксперимент закончился жестоким поносом. После этого Квайдан пришел к выводу, что ни одна разновидность смерти не может содержать в себе что-либо особо приятное, поэтому решил отложить попытки самоубийства на неопределенное время, что, конечно, не означало, что он станет уступать смерти дорогу добровольно.

Он огорчился и сделался равнодушным; отчаяние, лишающее сил его душу, он перекрывал бравадой и цинизмом. И только черты его лица — результат работы долота отчаяния и сомнения — выдавали истинные чувства Квайдана.

Иногда ему доводилось размышлять о Боге. Неужели потеря слуха действительно оказалась Знаком? Какова истинная природа Бога? И вообще — существует ли Бог? Повсеместно распространенное мнение о Создателе как о существе бесконечно добром и милосердном казалось Квайдану наивным. И вовсе не потому, что собственный печальный опыт сужал ему перспективу. Такое понимание Бога существенно ограничивало Божеские атрибуты. Ибо какие-либо отдельно взятые свойства, раздутые до гигантских размеров, по сути своей уменьшали Бога. Ежели он действительно был свобод-

ден от ограничений, бесконечен, то все должно было в нем быть бесконечным: добро и зло, милосердие и жестокость, благорасположенность и зловредность. Только такое бытие можно считать бесконечным. С другой стороны, бесконечность противоположных свойств взаимоисключается. Кроме того, какие-либо свойства, пусть даже и присутствующие в безграничных количествах, в принципе ограничивали их владельца. Ибо, как утверждали мудрецы, свобода воли основывается не на подчинении склонностям, а на противодействии им. Получается, что Бог есть существо без собственного Я? Достигая этой точки рассуждений, Квайдан приходил к выводу, что сталкивается с парадоксом несовершенства человеческого познания и разумения. И останавливался на практической констатации: он попал на скверный день Бога. А дни Бога бывают очень долгими. Порой сопоставимыми с продолжительностью жизни обычного рыцаря.

Уже два дня двигался он по кровавому следу на дороге. Вначале след привел его к крестьянскому двору, и там он понял, что у следа много общего с деятельностью наемников князя Сорма Беспалого, гостивших в трактире. Однако двухдневное обильное кровотечение в таком количестве обычно свидетельствует о смерти кровоточащего — значит дело было не в паскудном шраме, пересекающем лицо одного из бандюг. В Квайдане впервые за долгое время проснулось что-то вроде любопытства. След вел на север, туда, где располагались замок Кальтерн — объект, пользующийся дурной славой, а дальше — Серая Пустыня; слава второй была и того хуже. Получалось, что Квайдан возвращался в те места, которые должен был бы обходить стороной, и что не тайна кровавого следа, а сама судьба собственной персоной вела рыцаря.

След вел к придорожному хозяйству, на первый взгляд казавшемуся опустевшим. Даже если б Квайдан мог что-

либо слышать, все равно до него не долетел бы ни один звук; кругом стояла ничем не замутненная тишина. Рыцарь слез с коня и на всякий случай взялся за меч. Дверь готовой развалиться хибары была открыта — Квайдан осторожно вошел внутрь и прежде всего увидел труп мужчины, продолжавшего сжимать в руках вилы; у мужчины была разрублена голова, вокруг нее по-весеннему расцвел ореол крови. Вилы тоже были в крови, из чего Квайдан сделал вывод, что мужчина сумел ранить противника. Женщина умерла в соседней комнате, и Квайдан догадался, что она защищала доступ к маленькой деревянной люльке. Рыцарь пожалел, что ничего не слышит — возможно, ребенок плакал, и эти звуки не хуже музыки успокоили бы Квайдана, развеяли сомнения, которые через минуту могли обернуться уверенностью. Потому что люлька не шевелилась, а стояла неподвижно, будто камень. Наконец он подошел. В люльке было очень много крови, с трудом верилось, что столько умещается в таком маленьком тельце. Тело младенца было обезглавлено. Голову Квайдан найти не смог нигде.

Он похоронил тела. Нужных молитв он не знал, но доверил тела Богу, в которого, правда, верил не до конца.

Потом сел на коня и двинулся дальше по кровавому следу на север.

4

Немая женщина, единственная, не считая сына, обитательница замка Кальтерн, не удивилась, увидев Крони. Она сразу почувствовала, что их что-то объединяет. Обе родили сыновей одновременно и при загадочных обстоятельствах. Они

были противоположностями — уличная девка и невинная девица, — как бы двумя концами одной палки. Терпешняя хозяйка Кальтерна, проклятого замка, сразу же просветила Крони насквозь — такой у нее был дар. Она поняла, что жизнь ее гости — полоса измен. Прочла это в прекрасных, но жестких чертах лица Крони, плотно сжатых губах, холодных глазах, голубизна которых говорила не о небе, а о стали. Немая знала, что мир управляется жестокими законами и что у них мало общего со справедливостью. Она не винила Крони за содеянное ею зло и даже графа Мортена за то, что он когда-то велел у нее — маленькой девочки — убрать язык, чтобы этим путем не проскользнула тайна замка. Не винила она Безымянного Палача, который выполнил приказ графа. Мир был тяжелой цепью поступков и их последствий, оплетающей людей, сдерживающей свободу их милосердия. Люди не могли разорвать эту цепь, они были слишком слабы. Предательство порождает предательство, страдание отзыается страданием. Зло никогда не исчезает. Это был Закон Сохранения Зла, который немая когда-то сформулировала для себя и которым ни с кем не могла поделиться из-за немоты и неграмотности. У нее лишь сохранялась надежда, что, быть может, ее сын, рожденный при странных обстоятельствах, будет тем, кто разорвет цепь и сможет противодействовать Закону.

Крони видела — ошибочно — беспомощность и слабость немой женщины. Немного поблекшая от тягот пути красота Крони (тени под глазами, не бывшие результатом искусного макияжа, растрепанные волосы) расцвела на фоне некрасивости хозяйки замка. И именно за это, а не за проявленное гостеприимство, уличная девка почувствовала благодарность к немой.

Замок немного удивил Крони, не привыкшую к столь просторным строениям, таким запутанным, таким сырьим.

Каждое даже самое тихое движение Крони, каждый ее шаг вызывал отголоски и эхо. В отсутствии законных владельцев в Кальтерне воцарился истинный рай для пауков, которые — поняв собственную неприкосновенность — принялись плести паутину, отличавшуюся художественными признаками. Дальнейшая их эволюция, протекающая в столь благоприятных и стимулирующих творчество условиях, могла в результате породить паучий интеллект.

Сынок Крони быстро пришел в себя: мать гордилась его силой — видимо, он унаследовал ее от отца. Малыши спали в комнате на первом этаже, где размещался дающий тепло камин. Вели себя дети поразительно спокойно, казалось, наблюдали друг за другом. Их следующей встрече предстояло изменить судьбы мира.

Над камином висел портрет женщины изумительной красоты. Крони старалась не смотреть в ту сторону, но ее взгляд прямо-таки магнитически притягивало туда. Она считала, что более красивая, нежели она, женщина — это достойная осуждения расточительность природы. И только она, Крони, может устанавливать каноны красоты. Она — и никто другой.

Она уснула, уставившись на портрет, и увидела странный и страшный сон. Сначала появился седовласый рыцарь без ушей. Но это видение быстро развеялось, и его место занял младенец в золотой короне. Она подумала, что это ее сын, и почувствовала гордость, ей казалось, что сердце вот-вот выскочит, нарушив форму ее прекрасных грудей (это вызвало у Крони беспокойство). Лишь спустя минуту она поняла, что видит не своего сына, что не ее дитя было Царем Царей. Это был сын немой женщины! Она возненавидела его, Господи, как она его возненавидела!

«Прекрасно, изумительная моя, предательская Крони, — услышала она шепот Того Которого Нет и тут же увидела его. — Советую не взвывать к Богу. Это излишне».

Она хотела крикнуть, ехидно спросить его, где он был, когда за ней гнались бандиты Сорма, ей хотелось проклинать его, раздирать ему лицо ногтями, но он лишь погладил ее по волосам и тронул лоб губами. Она ничего не сказала.

«Смотри, — проговорил он. — Смотри...»

Она увидела змея, ползущего к малышу в короне. Хотела предостеречь его, крикнуть, чтобы он бежал, однако не сделала этого. Пусть погибает! Ведь он — не ее сын, не ее кровинка. Пусть умрет в муках!

«Взгляни на змея, Крони, — шепнул Тот-Которого-Нет. — Разве он не прекрасен?»

И тогда она поняла: змей — ее сын! Она заплакала, слезы избороздили ее красивые щеки.

«Убей нашего сына, Крони!»

Она не поняла. Ведь это же их сын, правда, он извивался по земле без изящества и привлекательности, но все же он — их сын! Однако Тот-Которого-Нет повторял: «Убей, убей, убей!»

Она подскочила к змею, чтобы затоптать его, уже занесла ногу. Материнская любовь, неожиданно разбуженная, боролась в ней с ненавистью, исходящей из разочарования, чудовищного разочарования. Тот Которого Нет остановил ее в последний момент.

«Однажды тебе придется предать нашего сына, — сказал он. — Предательство порождает предательство».

Змей упрямо полз, а Царь Царей, который в соответствии с логикой снов неожиданно превратился во взрослого мужчину, сидел неподвижно. Он видел смерть, приближающуюся неотвратимо, но не реагировал. Только смотрел.

Смотрел.

С сожалением.

5

После пробуждения положение Крони значительно ухудшилось. Она лежала, связанная, в огромном помещении, в центре которого располагался большой деревянный стол, окруженный скамьями. На стенах висели картины, изображающие попеременно натюрморты с яствами и сцены охоты, где жертвами были кабаны. Это было тем более странно, что такие животные не водились вблизи Кальтерна. Крони догадалась, что скорее всего находится в пиршественном зале. Рядом, в столь же плачевном положении, лежала немая женщина. Один из наемников князя Сорма, тот, которого она когда-то пометила кинжалом, лежал на скамье в расплывающейся луже крови. Над ним склонился Кавалькадо, с любопытством осматривавший раны.

— Ну и на кой ляд я тебе морду латал? — спросил он.

— Мне плохо, — простонал Цноб.

— Ничего удивительного. Этот селянин пропорол тебя чуть не насеквоздь. После такого никак нельзя чувствовать себя хорошо, поверь.

Яго был взбешен. Он не хотел убивать ту семью, не хотел лишать человека головы. Не хотелось ему также убивать двух мальчиков, а все указывало на то, что ему придется взять на себя это бремя. Впрочем, не беда, совесть у него была резиновая.

Цноб лежал на скамье и додорал. Вокруг него увеличивалась лужа густеющей и темнеющей крови. Гримаса боли так растянула ему лицо, что разошлись наложенные Кавалькадо швы и рана снова начала кровоточить. Казалось, он решил как можно скорее избавиться от своей крови. Конечно, все было не так. Цноб очень страшился смерти.

Кандан лакомо посматривал на Крони.

«Надо будет прикончить девку», — подумал Яго. Эта мысль еще сильнее растянула его совесть. Так, что он даже ощутил пустоту внутри себя.

— Кандан, — сказал он громко. — Сходи за мешком с головами. Воняют. Отнеси в погреб — там похолодней.

Яго надеялся, что подвальный холод сможет остудить и Канданову голову.

— И на кой мы таскаемся с этими головами? — буркнул Кавалькадо, хотя прекрасно знал «на кой». Просто у него нервы начинали сдавать.

— Сорм платит с головы.

Кандан вышел во двор за мешком.

— Мы оставляем после себя кровавый след. Ровно улитки!

— Замолкни, Кавалькадо! Лучше перевяжи этого идиота. Меня уже мутит от красного. А он с первых же дней дает его больше всех!

Яго накапливал в себе злобу, чтобы пойти наверх и прикончить детей. Это шло у него туго, так туго, что он чуть ли не с радостью воспринял крик Кандана, влетевшего в комнату.

— Яго!

— Где мешок? — из принципа спросил Яго, прикидываясь недовольным.

— Кто-то едет по тракту с юга!

— Рассмотрел кто?

— Кажись, тот рыцарь. Как его? Квайдан!

— Скверно, — проворчал Яго.

— Это ж не его забота, — сказал Кавалькадо. — Зачем бы ему возвращаться? И жизнью рисковать? Я слышал, он такая же дрянь, как и мы.

— Когда-то был, — согласился Яго. — А потом убил ребенка. Девочку. Говорят, в нем что-то оборвалось. Причаялся искать Бога... Бросил ремесло. Боюсь, детишки — это больное место.

Яго лихорадочно размышлял. Переговоры не имели смысла, учитывая сложности в общении. Рыцаря следовало убить. Кандан не годился ни на что, поэтому Яго отоспал его в могреб вместе с женщинами. Цноб только что испустил дух. Стало быть, остались лишь они двое, как всегда: Яго и Кавалькадо. Кавалькадо и Яго. Плечом к плечу.

«О чём это я? — с отвращением подумал Яго. — Сантименты? В моём-то возрасте?»

Послышался звон копыт о брускатку двора.

Они спокойно вытянули мечи.

— А он и вправду так хороший? — спросил Кавалькадо.

— Я только однажды видел, как он размахивал мечом, — уклончиво ответил Яго. — Лет десять тому. У него был поединок с кретином, имевшим глупость непочтительно высказаться относительно его ушей.

— У него и тогда были сложности с ушами? — заинтересовался Кавалькадо.

— Да. Только тогда их было многовато. Слишком были большие. Торчали и под шлем не влезали.

— И что?

— Что «что»?

— Чем кончился поединок?

— А он почти и не начинался. Всего одно мгновение. Я никогда не видел такого быстряка, как Квайдан. Но это было десять лет назад.

— Ты всегда умел меня утешить, Яго. Надеюсь, тебе это зачтется.

— В рай я все равно не попаду.

— А ад... переполнен.

Наёмники обменивались любезностями, а Квайдан тем временем заглянул в намокший от крови мешок. В нем понемногу поднималось бешенство из рода тех, самых опасных, холодных как лед и одновременно не влияющих отрицательно на холодность мыслей.

Меж тем Кандан в погребе делил свои интересы на две части. У него давно не было женщины, а Крони была прекрасна. Кроме того, его заинтересовал странной формы пыточный механизм — он никогда раньше такого не встречал, хотя в порядке хобби посещал различные тюрьмы и пыточные ямы. Конечно, он слышал о трудившихся здесь легендарном Безымянном Палаче и его технических нововведениях. Машина, которая так живо заинтересовала Кандана, в другой реальности называлась гильотиной. По имени изобретателя. У Кандана отсутствовало техническое воображение, поэтому он положил голову под острие и с этой позиции приглядывался к Крони. Потом неосторожно оперся рукой о рычаг, и острие высвободилось.

Квайдан не спешил — двигался по кровавым следам, хотя они и были уже не столь обильны, как те, что оставил после себя сноб, пронзенный вилами. Рыцарь давно не бился, поэтому старался привести себя в соответствующее настроение — смесь холода и решительности. Когда он добрался до пиршественной залы, он был уже нужным образом подготовлен.

Кавалькадо, по своему обычая, начал с оскорблений. То, что противник не мог их слышать, роли не играло — оскорблении поддерживали в наёмнике боевой дух. Однако уже первый выпад — тычок, на первый взгляд быстрый и молниеносный, вдобавок ничем не предваренный, должен

ствовавший пробить сердце Квайдана, — закончился для Кавалькадо роковым образом. Рыцарь мгновенно ушел едва уловимым пируэтом, балетным по своему изяществу, а затем быстрым как мысль ударом сверху лишил наемника меча вместе с правой кистью. Боль была чудовищная, хотя нервы сработали с благословенным запозданием — перед глазами Кавалькадо замаячили красные пятна, двигающиеся в головокружительном танце. Он, несомненно, погиб бы, если бы не нападение Яго, который отвлек внимание рыцаря.

— Ты думаешь, это боль? — спокойно спросил Квайдан. — Никакая это не боль по сравнению с болью бытия, пес.

Рыцарь был убежден, что уж он-то испытал величайшую боль за всю историю человечества — боль собственной души.

Кавалькадо мысленно даже согласился с противником: он и сам испытал в жизни ужасные страдания — хотя бы тогда, когда ему припекали бока, чтобы получить сведения, которыми он, увы, не располагал. До сих пор вонь горящего мяса лишала его чувств, поэтому он предпочитал вареное. Сейчас он стоял на ногах, кровь вытекала из него так, словно кто-то по неосторожности вынул из его тела затычку. И все же он наклонился, чтобы поднять меч левой рукой. Прежде чем он выпрямился, Яго был уже мертв. «Спокойная старость», — пронеслось у Кавалькадо в голове как-то иронически. Он сорвался с силами и снова блеснул красноречием, окатив противника потоком таких ругательств, от которых у рыцаря, несомненно, вспухли бы уши, ежели бы таковые у него были. Наемник успел подумать, что сегодня удачный день для умирания, и — действительно — секундой позже был трупом.

6

Квайдан никогда не увидел спасенных им мальчиков. Он даже не знал, что спас их. Никогда бы не предположил, что был близок от чуда, которое искал всю свою бестолковую жизнь. Возможно, он не заслужил того, чтобы знать это, однако тут, несомненно, проявилась жестокость судьбы.

Когда он отъезжал на юг, немая женщина, почувствовавшая разъедавшую рыцаря пустоту, подумала, что содеянное им в Кальтерне будет ему зачтено в раю.

В тот же момент Крони, которая тоже готовилась к дальнему пути, крикнула вслед исчезающему вдали рыцарю:

— Тебе это зачтется! В аду!

Квайдан, конечно, не мог ее слышать.

Ольштын, февраль 1999 г.



Т. Колодзейчак

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПАМЯТИ



Есть единый Бог, коему девять Имен. Каждое имя владеет своим народом, которое другим Именам служить не может. Девять народов образуют единое тело Верных.

Белый Папирус. «Закон Касть»

1

Лежащий на коленях у Каззиза кот дрожал. Время от времени он начинал давиться, хрипеть, то открывал, то закрывал подернутые туманом глаза. Кот пытался показать Каззизу, что ему здесь хорошо и он чувствует себя в безопасности. Однако он не мог сдержать дрожь в лапах и уже не в силах был вылизывать потертую шерстку. Его хвост, вместо того чтобы изгибаться вопросительным знаком, лежал, как растоптанная змея. Оронк был стар и умирал.

Каззиз гладил его, физически чувствуя, как из кота уходит тепло жизни и улетучивается другой род кошачьей энергии — неуловимой ауры, наполняющей естество человека сонным покоем.

Проводя рукой вдоль гибкой когда-то спинки животного, Каззиз думал обо всем, что осталось за смертью Оронка: годах, когда кот был посланцем, немым и глухим, не осознающим своей роли и все же несущим прикосновение руки, тепло, дыхание. Память.

Каззиз уложил Оронка на мягкую подстилку из подушек. Дотронулся пальцами до висящего на шее медальона. Как всегда, когда появлялся кот, перед глазами Каззиза проходили картины — четкие, выразительные, будоражащие, словно запись в самом лучшем голограммическом проекторе.

— Осторожнее, Каззи! Грузовик! — В голосе Мараены сквозил страх. — Грузовой модуль идет на тебя!

Не подвох ли? Ведь девочка уже несколько минут не могла найти Каззиза. Он — единственный из тех, кто играл в прятки, сумел скрыться от ее зоркого глаза. Так что, впервых, она могла сейчас хитростью попытаться выманить его из укрытия. Хотя — с другой стороны — раз она предупреждала о приближении грузовика, значит, угадала, что он прячется в швартовочной камере. В-третьих, сегодня Эрез — роковой день, когда никто не работает, потому что это оскорбило бы Богов. К тому же мало того что Эрез, так вдобавок еще Э'р — самая середина его самой тяжелой части. Ни один грузовик не мог сейчас подходить к порту, потому что его никто не стал бы разгружать. Хотя, в-четвертых, на орбитальной станции работали несколько невер-

ных, и они порой забывали о действующих на Регелисе порядках.

Рассмотрев вопрос с четырех сторон, как того требует пророк Гахни в Белом Свитке, Каззиз предпочел не высовывать носа из укрытия. Поэтому сидел в темной цилиндрической камере с серебристыми лентами проводов и таращился на круглое отверстие, заполненное зеленым светом неба. Однако Мараена не сдавалась.

— Каззи! Грузовик! Ну пожалуйста, Каззи, выходи, где бы ты ни был!

В ее голосе пробивалось что-то странное, что-то такое, чего раньше он никогда не слышал. Конечно, он знал, что она хитрюшка, но не думал, что может так здорово притворяться.

— Каззи, я сдаюсь! Я проиграла! Я тебя не могу найти!

Неожиданно ему стало жарко. Она сдавалась! Так, может...

Где-то далеко послышался тихий скрежет. В чреве темной камеры дрогнул горячий воздух. Круглое отверстие перед глазами Каззиза затянула тень. О Боги! Грузовик! Еще минута — и его причальный буфер всунется в приемник! Тело Каззиза — никакая не помеха для машины, загруженной многими тоннами товаров. Его просто расплющит по задней стенке! О Боги!

У Каззиза не оставалось времени на то, чтобы спокойно выйти из камеры. Он оттолкнулся ногами. Рванулся вперед, словно дельфин, пробующий проскочить сквозь обруч. Его тут же ослепил свет зеленого солнца и серебристый блеск контрольных пазов на причальном буфере грузового модуля.

Он почувствовал удар по ступне, его завертело, падение самортизировать не удалось. С высоты двух метров он

рухнул на бетонный пол. Попытался встать, но почувствовал острую боль в правой ноге и свалился на землю, беспомощно глядя, как серый борт грузовика надвигается на него.

Что-то толкнуло его за раненую ногу, да так, что он взвыл от боли. Но это «что-то» не отпустило, а дернуло сильнее. Он застонал. Однако волна боли на секунду отрезвила его. Он засунул пальцы в щель между бетонными плитами, оттолкнулся — навстречу источнику своего страдания.

Позади послышался скрежет и глухой удар. Это грузовик дошел до причальной платформы, и буфер заполнил швартовочную камеру. С другой стороны тут же донеслись радостный вопль ребят и голос Мараены:

— Ты жив, о Боги, жив! Ну как ты мог туда залезть, как ты мог так поступить со мной?

Она наклонилась к нему. Высокая, щуплая, смуглая. Ее худощавое лицо тринадцатилетней девочки заслонило небо. В глазах с такими темными радужками, что они сливались в одно целое со зрачками, блестели слезы. Рука с тонкими пальцами нежно гладила его по голове.

— Мараена, — тихо сказал он. — А ведь ты меня не нашла. Я выиграл.

— Ты дурак, — блеснули в улыбке белые зубы. — Да. Ты меня победил.

Пятнистый кот потерся о ноги хозяйки. Потом подошел к лежавшему на земле Каззизу, остановился у самого его лица. С такого близкого расстояния кот казался огромным, будто леопард. Однако розовое пятнышко на носу придавало ему добродушный и вовсе не опасный вид. Он дружески смотрел на Каззиза и казался вполне довольным:

наконец-то ему довелось быть не ниже лучшего друга своей хозяйки, наконец-то он смог прикоснуться к его лицу усами и проверить лапой странную шерсть, покрывавшую голову мальчика.

Они провели в молчании целый час, который Каззизу показался вечностью. Он несколько раз терял сознание. Мараена гладила его по голове, а другие ребята приносили холодную воду из ближайшего крана и поливали раненную ногу. Мокрая штанина прилипла к щиколотке, потом на ткани появилась полоска крови.

Наконец закончился проклятый час Э'р, и врачи снова приступили к своим обязанностям. К счастью, люди некоторых профессий имели право нарушать запрет на работы в роковой день Эрез. Конечно, потом им приходилось искупать грех долгой покаянной молитвой и постом.

Вой кареты «скорой помощи» вспорол тишину порта. Кот отскочил, гневно фыркая. Мараена тоже отошла на несколько шагов. Одновременно с медиками, катившими носилки, к Каззизу двигались несколько пожилых мужчин в одеждах слуг первосвященника.

Его вылечили за неделю. За это время прошли суды над охранниками и техниками, отвечающими за систему безопасности транспортных доков. Во-первых, дети вообще не должны были туда заходить. Во-вторых, датчики почему-то не отреагировали на присутствие мальчика в причальной камере. В-третьих, грузовой модуль прилетел в роковой день Эрез. С виновных очень быстро сняли мелкие обвинения. Как-никак все случилось в той части порта, которая не была охвачена автоматическим контролем, а охранники не могли работать в Эрез. Оказалось, что с

электронной защитой камеры в тот день с утра что-то случилось, а в это время космодромные информатики принимали омовение в священной реке Кадлиш и не могли молчать тело и мысли работой.

Поэтому самым большим преступлением сочли действия молодого навигатора с орбитальной станции. Именно он отправил вниз автоматический модуль с несколькими грузовыми контейнерами, не рассчитав, что посадка придется на роковой день Эрез, причем почти точно на проклятый час Э'р. Ни один приверженец Богов Реки не мог в это время работать. Если бы грузовик отправили своевременно, возможно, старцы ограничились бы порицанием.

Но ошибка злосчастного оператора привела к многочисленным последствиям — молодой человек из касты Чистых чуть было не расстался с жизнью, врачам пришлось нарушить табу Эреза, а священников оторвали от приходящихся на этот день церемоний и ритуалов. Кто-то должен был заплатить за преступление, и этим «кем-то» оказался Уэлдон, диспетчер орбитальных модулей.

Каззиз сидел в зале суда, когда оглашали приговор. Уэлдон, весь в белом, стоял, скрестив руки на груди, в кабине связи сателлитарной станции. Брови у него были покрашены красным, а лицо и голова тщательно выбриты. Ему сообщили приговор. Спустя полчаса Уэлдон вновь появился на мониторе и показал собравшимся зале суда левую, теперь четырехпалую, руку.

— Я исполнил обряд. Я наказан.

— Мы видим. Мы прощаем тебя, — сказал Оорус, священник-судья, решающий проблемы виновности или невиновности жителей Сехеба. — Прошу тебя, сын мой, будь внимательнее. Ты живешь вдали от дома, и свет бла-

голосовенного солнца не проникает в твои мысли обычными, дарованными нам природой путями. Слишком много времени ты проводишь с неверными. Твой грех есть результат забвения законов Свитков. Однако ты молод и живешь во враждебном мире. Кара, кою мы тебе назначили, была мягкой, ибо знаем мы, что тебе нелегко. Будь верным, сын мой! Верь!

— Благодарю за мягкий приговор.

Выйдя из здания суда, Каззиз увидел Мараену. На девочке было голубое платье, полагающееся членам касты Повинующихся, когда они отправлялись в общедоступную часть города. На руках она держала своего старого верного друга, кота Бероя.

— Наказали только Уэлдона, — сказал Каззиз, показав руку. — Ему велели отрубить себе палец. Вот этот! Думаю, без него можно жить. В принципе к чему он людям? Ведь все предметы мы держим остальными...

— Если Боги дали нам десять пальцев на руках, — сказала Мараена, — видимо, так мы и должны выглядеть. Что говорят твои родители?

— Сначала очень злились. Уже назначили мне искупление — два месяца буду чистить стены храма Каль-Абар. Выдержать можно. Но теперь они уже успокоились. Зато все время дрожат за меня и мое будущее. Сама знаешь: «Куда идешь, Каззиз? Что будешь делать вечером, Каззиз? Ты должен думать о будущем, Каззиз!»

— Ну точно как моя мать, — улыбнулась Мараена. — Неужели все взрослые одинаковые? А может, дети превращаются во взрослых людей так же, как личинки дромадеров во взрослых животных? У личинок исчезают уси-

ки и большие глаза, а у детей пропадает желание играть и чувство юмора? У дромадеров вырастают дополнительные ноги и густая шерсть, а у родителей появляется нудное причитание и прорезается страсть к поучениям?

— Это не все, — сказал Каззиз, глядя на кончики пальцев, выглядывающих из сандалий. — Это не все, Мараена. Родители хотят, чтобы я перестал встречаться с ребятами. И с тобой. Говорят, что мне уже почти четырнадцать лет, вскоре меня примут в касту. И тебя в твою тоже, и других ребят... Говорят, что я должен дружить только с Чистыми, потому что в будущем мне предстоит жить и работать среди них.

Он поднял голову, но не решился взглянуть ей в глаза. А может, не хотел? Может, предпочел смотреть на ее девичьи, пока еще угловатые, но уже приобретающие женственную округлость бедра? На руки с покрашенными в соответствии с законами ее касты красным ногтями. На выпуклости, намечающиеся под плотно охватывающей тело тканью. Может, он хотел так смотреть на нее и вспоминать свои первые сны о женщинах. А может, боялся взглянуть на ее губы, которые вот-вот проговорят, что он, конечно, прав. Ведь мама Мараены наверняка постоянно повторяла те же слова Свитков, что и его родители. Девочке тоже уже исполнилось тринадцать, и вскоре ее должны будут принять в касту. А это означало, что они смогут встречаться только здесь, в общей зоне, недолго и лишь в связи с занятиями, требующими сотрудничества. И разговаривать только так, как позволяют Свитки представителям различных каст.

Коту Мараены, Берою, божеские законы не мешали. Он спрыгнул с рук хозяйки, подошел к Каззизу и, тихо мурлыча, потерся о его ногу.

2

Да, Оронк, старый, умирающий кот... Так говорят Свитки. Они учат нас, как достойно жить, как общаться с Богами, как познать цель и смысл существования. Они устанавливают табу, говорят о наказаниях за преступления, подсказывают, как выходить из трудных ситуаций. Определяют ритуалы и обычай, описывают наше прошлое и говорят о будущем. Они — основа нашего бытия, без них мы не существовали бы. Но и они не выжили бы без нас, ибо что есть священная книга и Бог, у которого нет поклоняющихся ему? В такой взаимозависимости уже прожили сотни поколений с тех пор, как наш народ возник на старой Земле, а потом переправился сюда, в этот далекий мир.

Мы отрезаны от остальной человеческой цивилизации. Наши предки выкупили права на колонизацию Регелиса, обрели мир, в котором могли жить по законам, данным нам в Свитках. Эти законы заставили Уэлдона отсечь себе палец во искупление греха халатности. Эти законы велят пятнадцатилетним детям вступать в те касты, в которых пройдет их дальнейшая жизнь. Эти законы предписывают человеку, нашедшему тебя, кот, мертвым, совершить необходимые обряды, мумифицировать твое тело и захоронить в песках пустыни, окружающей наш город-колонию. Оронк, старый котище, этим человеком буду я.

Помнишь ли еще ты, когда она к тебе прикасалась? Сегодня, вчера, на прошлой неделе? Сколько времени тебе пришлось влечь сюда свое дряхлое тело, чтобы передать мне этот дар? Дар памяти...

* * *

Спустя два года после случившегося в порту Каззиз стал полноправным членом касты Чистых. Ушел в пустыню, где многие дни предавался размышлению, отказавшись от пищи и принимая лишь чистую воду. Потом прошли торжества, в которых участвовали все священники Каль-Абара, самого большого храма города, и гости из других номов.

Колонизация планеты началась тридцатью годами раньше. С того времени количество жителей выросло с двадцати тысяч до двухсот. Сразу же по прибытии колонисты активировали в инкубаторах свои плоды, а в настоящее время на свет являлись уже родившиеся естественным путем дети первых искусственно зачатых регелиан. Планета была суровой и безжизненной — летом стояла жара, доходящая до восемидесяти градусов Цельсия, зимой, даже на экваторе, морозы достигали минус пятидесяти. Однако планета была богата сырьем. Солнечная, химическая и ядерная энергии помогали возводить дома, изолирующие людей от враждебного климата. Автоматы-исследователи отыскали несколько районов с приемлемым микроклиматом. Другие параметры тоже благоприятствовали колонизации. Тяготение на Регелисе составляло четыре пятых земного. Несколько неглубоких морей — зимой промерзающих не до дна, а летом испаряющихся почти целиком — смягчали климат. Собственная живность Регелиса не перешагнула порога колоний одноклеточных. Континенты на огромных пространствах были покрыты зелеными кожухами органической материи, проходящей годовой цикл развития. Весной они разрастались, набухали, образуя слизистую, склеивающую песок пленку. Летом странные поля высы-.

хали, превращаясь в рваную тонкую темно-зеленую пленку. Осенью сильные ветры разрывали пену на лохмы и разносили по поверхности планеты. Рассеявшись таким образом споры ухитрялись перезимовать и дождаться очередной весны. Во временных морях и подземных реках тоже ютились различные формы водорослеподобной жизни. Эти несложные организмы за несколько миллиардов лет существования сумели в ходе фотосинтеза наработать столько кислорода, что он составлял десять процентов атмосферы Регелиса.

Люди Свитков заселяли одну за другой провинции — номы: возводили города и фабрики пищи, строили шахты. На орбите удерживался сателлитарный центр связи с гиперпространственным проходом. Проход по меркам человеческой цивилизации находился очень далеко от планеты — на расстоянии более четырех парсеков. Регелис практически был отрезан от остальной части человеческой цивилизации и ее крупнейшего средоточия — Солярной Доминии.

Для церемонии принятия в касту, уже после испытания голодом, Каззиза поставили перед первосвященником храма Каль-Абар. Аудиенц-зал был небольшой, невысокий, освещенный не компакт-лампами, а горящей в углу лампадой. В комнате клубился дым, выжимающий из глаз Каззиза слезы. Одетый в черные одежды старец сидел на своем престоле. На голове у него была тиара, а ноздри, уши и глаза прикрывали золотые бляшки. В углах комнаты стояли четыре аколита могучего сложения. Лысые, в набедренных повязках. Первосвященник жестом подозвал мальчика. Растопыренной пятерней коснулся его лба, губ и подбородка. Потом острым ногтем процарапал на груди слева знак змеи, а справа — птицы. Обмакнул

палец в кровь и нарисовал на животе символ глаза — знак касты Чистых.

Два аколита подошли к юноше, взяли его под руки и ввели в храмовый зал, где ожидали родители, семьи старших братьев, соседи и друзья. Теперь он стал одним из них. Началось торжество. Пестрая процессия двинулась к родительскому дому Каззиза, где предстояло начаться двухсуточному празднеству. Ошеломленный, он безвольно проделывал все, чего требовали близкие, — пел, танцевал, пожимал руки мужчинам, целовал в щеки женщин.

Неожиданно ему показалось, что вдалеке, за поворотом улицы, он видит маленькую фигурку. Эта фигурка наблюдала за шествием, но когда процессия приблизилась — убежала. Уже через минуту одурманенный алкоголем и наркотиками Каззиз не мог бы сказать, действительно ли видел ее. Нежели Мараена решилась прийти сюда, в центр запретного для нее района проживания касты Чистых?

Они встретились через два дня. Он уже начал работать — выполнять обязанности, связанные со взрослением. Дети приверженцев Свитков учились до двадцати лет, однако последние годы учебы у них сочетались с трудом. Каззиз специализировался на программировании исследовательских автоматов. Сотни таких машин изучали планету. Несмотря на тридцатилетие присутствия человека, огромные пространства Регелиса, в основном особо удаленные от столицы, еще были малоизучены. Автоматы пересекали пустыни в поисках благоприятных климатических ниш, источников сырья, новых разновидностей регелианской флоры. Машины обладали большой степенью автономности, работали по самообучающимся про-

граммам и с поддержкой стационарных экспертных систем, однако временами наталкивались на препятствия и явления, разобраться с которыми не могли. Тогда в дело вступал человек.

Каззиз работал дома, необходимые данные поступали к нему по Сети. В принципе первые месяцы работы тоже были обучающими — он просто наблюдал за деятельностью автоматов и анализировал решения опытных, высококвалифицированных программистов. Ему часто поручали разобраться в такой же проблеме, которая стояла перед его более опытными коллегами. Он принимал самостоятельные решения, а затем сравнивал их с реальными действиями, осуществленными в конкретной ситуации.

На третий день после торжественной инициации его направили на техническую базу по проектированию и ремонту разведывательных автоматов, помещавшуюся в центральном районе, доступном для представителей всех каст.

Транспортная капсула доставила Каззиза на самую простиорную площадь города, окружающую храм Каль-Абар. Там он увидел Мараену.

Ей было пятнадцать лет, и уже начинала проявляться ее красота. За прошедшие месяцы исчезла угловатость, тело приобрело стройность и гибкость.

Мараена стояла у памятника первосвященнику Хатху, первому на этой планете пастырю народа Свитков. На руках у нее был кот Берой. Теперь и она увидела Каззиза, однако не двинулась с места и не окликнула его, прекрасно зная, что допускают обычай и законы, а чего нет. Он знал тоже.

Он шел к ней. Ноги в сандалиях мягко ступали по брускатке, покрытой тонким слоем белого песка. У Каззиза силь-

нее забилось сердце — а вдруг да кто-то за ними наблюдает? Вдруг донесет священникам?

«Успокойся, — мысленно приказал он себе. — Успокойся, глупец. Ты прошел инициацию, но она-то еще ребенок. Ты можешь к ней подойти и поговорить. Умеренно, как велят Свитки. Но можешь. Пока еще — можешь!»

Десять дней назад, до обряда, они расстались детьми. Сидели на земле рядом с товарным дебаркадером. Мараена поглаживала дряхлого Бероя, а Каззиз рассказывал ей о намеченных торжествах, о подготовке и обрядах. Она слушала, слегка улыбаясь, и внимательно, как всегда. Десять дней назад...

Теперь все изменилось: он — взрослый, она — ребенок. Он — член касты Чистых, она через девять месяцев вступит в касту Повинующихся. Сейчас к ней еще можно подойти и поговорить. Почти коснуться ее кожи. Осталось совсем мало.

Он шел к девочке и вдруг ощущил неодолимую уверенность в том, что она стоит здесь с утра, что была здесь и вчера, и позавчера. Он почувствовал укор совести за то, что торжества и новая работа настолько увлекли его, что оттеснили в памяти образ Мараены. И в то же время поступок девочки доставил ему радость, принес ощущение покоя и безопасности.

— Привет, Мараена. — Он старался говоритьnormally, как всегда. Она почувствовала, что он напряжен, что новые социальные отношения, возникшие между ними, лишают его свободы. Она всегда умела угадать его чувства, колебания и сомнения.

— Здравствуй, Каззи, — тихо ответила она. — Как хорошо, что ты пришел.

— Мы должны придерживаться установленного порядка.

— Я помню, — грустно улыбнулась она. — Знаешь, Берой опять болеет.

Каззиз посмотрел на кота. Животное неподвижно лежало на руках у девочки, прикрыв глаза и поджав хвост.

— Он просто сладко спит, по крайней мере так кажется, — попытался успокоить Мараену Каззиз.

— Я дала ему лекарство, у него что-то с желудком, кажется, опухоль...

Кот Берой был спутником их забав всегда, сколько помнил Каззи. Он постоянно следовал за Мараеной. Когда набиралось слишком много шумливых ребятишек, он незаметно исчезал в ближайших кустах или в подвалах. Но стоило Мараене отправиться в свой район, и Берой появлялся снова. Внезапно и беззвучно, как положено всякому коту. Он тут же требовал, чтобы его взяли на руки и отнесли домой. Каззиза он полюбил, разрешал себя гладить и ласкать. Даже охотнее, чем кошка Каззиза — Бреда. На других детей — любителей понежничать — он фыркал, спокойно, но с явной решительностью: «Не подходи, если не хочешь снимать с руки кожу, как шкурку с помидора!» Обычно этого было достаточно.

Берой явно постарел. *May* — священные кошки приверженцев Свитков, окруженные почетом и уважением, — это генетически укрепленная раса. Бывало, они доживали и до тридцати лет, однако время, а зачастую и болезни брали свое. Берой уже давно рас прощался с молодостью.

— Я люблю тебя, — сказал Каззиз, чувствуя в горле шершавый ком страха. Любовь к девушке из другой касты. Признание в любви. Это не умещалось в дозволен-

ные границы поведения. Становилось опасным. И все-таки он сказал.

— Я тоже люблю тебя, Каззи. Но ты уходишь. — Мараена указала на кота: — И он тоже покидает меня.

С того дня они встречались почти ежедневно. Он искал повода выбраться из дома в центральный район города. Посещал конструкторские бюро, наблюдал за погрузкой и отправкой модулей с новыми или отремонтированными исследовательскими автоматами, работал одновременно в нескольких проблемных лабораториях. Такая активность вызывала к нему уважение руководителей и старших коллег. Он разбирался в своем деле, и вскоре на него перестали смотреть как просто на способного юношу. Хотя ему еще не исполнилось семнадцати, он стал полноправным членом коллектива программистов. Благодаря этому появлялись новые предлоги покидать районы касты Чистых. Он занимался не только исследовательской работой. Как члену ночной гильдии ему доводилось участвовать в религиозных требах и торжествах, а также обычных дружеских встречах, которые устраивали члены коллектива. Каззиз посещал центральный район по четыре-пять раз в неделю.

И там его неизменно ожидала Мараена.

Иногда они разговаривали не скрываясь — в парке или на центральной площади города. Кодекс не запрещал случайных встреч, хотя они вроде бы несколько противоречили хорошему тону. Однако позволять себе такое слишком часто они не могли. Поэтому изобрели множество способов, чтобы встречаться хотя бы на минутку, увидеться издали, перекинуться несколькими словами. Договаривались о встрече то в большом торговом зале, то на

верблюжьих бегах, то в толпе людей, совершающих религиозные церемонии, вообще там, где было много народа, а встреча казалась случайной. Несмотря на все предосторожности, Каззиз не сомневался, что множество глаз слишком часто видело их вместе. Да и вообще, разве возможно укрыться в городе, насчитывающем всего сто тысяч жителей? Тем более если это происходит на территории, занимающей едва десятую часть агломерации — а ведь примерно такова была площадь центрального района.

Время шло, принося ежедневные порции работы, радости и забот. Бреда была сукотая. Приближался день, когда юноша должен был получить самостоятельную должность оператора. Надвигалась регелианская зима, а с ней и большие морозы и бураны. Но — что самое важное и самое страшное — каждый день приближал Мараену к шестнадцатой годовщине рождения, дню кастовой инициации.

Касте Повинующихся предстояло пополниться новой женщиной, здоровой, красивой и умной, работающей биологом на станции по производству пищи. Каззиз, программист из касты Чистых, должен был потерять ее навсегда.

3

Каззиз поднялся с подстилки, на которой лежал старый кот. Из стенного шкафчика достал тюбик с красными надписями. Подошел к Оронку. Выдавил на палец немного зеленой массы. Правой рукой погладил голову кота, потом смазал ему щеку.

Оронк раскрыл глаза, вздрогнул. Хвост у него напрягся, потом выгнулся мягко и красиво, как в былые времена. Аромат мази явно возвуждал его. Побелевшим язычком он облизал губу, чтобы в рот попало как можно больше живительного вещества.

«Это наркотик, кот, обман. Он дает лживое ощущение вкуса и силы, приносит удовольствие и временное забвение. Позволяет почувствовать сытость, хотя в действительности ты подыхаешь от голода. Приносит радость, хотя в реальности тебя должно снедать отчаяние. Обман. Однако сколь же мизерна эта биохимическая ложь в сравнении с тем обманом, который создают наши собственные здоровые и нормальные органы чувств.

Ложь. Зыбкая надежда, минутное забвение, трепет блаженства... Мы дарим это себе, но всякий раз вынуждены возвращаться в реальный мир, как и ты скоро вернешься из наркотического сна.

Как давно это было, кот? Сколько лет я ласкаю тебя, как это делала она, и ничего больше сделать не в силах. Тридцать лет? Тридцать четыре? Ты молодец, кот. Ты подарил нам несколько дополнительных лет. Больше, чем мы могли ожидать...

Отчаяние, безумие и наказание. Все случилось сразу.

До инициации Мараены осталось всего две недели. Они виделись редко, потому что все ее время уходило на долгие молитвы,очные бдения в храме и подготовку одежды. Вокруг девушки копошилась масса людей — женщины из родственников, священники, подруги. Почти невозможно было сбежать на свидание.

Каззэз терпеливо приходил в центральный район, чуть ли не ежедневно прогуливался по огромной площади между изваяний богов и жрецов, делая вид, будто совершает обряд покаяния.

Почти всю прошлую ночь он проплакал.

Религия была основой их общества. Свитки, обнаруженные в развалинах последнего храма старой религии на острове Филе*, содержали описание картины мира и управляющих им законов. Последние египетские жрецы, спятившие пророки, свидетели гибели своей тысячелетней цивилизации, попытались понять, что творится вокруг. Их мир уходил в небытие, а ведь казался таким неуничтожимым, вечным. Храмы их веры и гробницы давних царей были древностью уже во времена греков и римлян — народов, которых история сама называет древними. Поколения за поколениями темнокожих жрецов были свидетелями ритмов возрождающихся миров, могущества и падения владык, побед фараонов и нашествий чужеземных армий, урожайных лет и годов голода. А храмы из песчаника, устремленные в небо пирамиды, древнейшие мифы и Река существовали незыблемо. Но вот пришли новые варвары со своей странной религией, которая овладела Империей и смела старых богов. Один за другим падали святыни, приверженцы отворачивались от своих покровителей, а жрецов изгоняли или убивали. Последний храм Исиды выжил на острове Филе. Там два вдохновенных безымянных жреца написали Свитки — охватив единой мыслью истины угасающей религии и предсказав явление пророка, который вернет вере давнюю силу. Они

* Остров в районе первой катаракты — порога — Нила. — Здесь и далее примеч. пер.

укрыли Свитки в подземном склепе, а сами, вероятно, погибли от рук христианских фанатиков-монахов. Свитки сохранились. Прошло две тысячи лет, прежде чем их отыскал пророк, новое воплощение Тота Трисмегиста*. Он обновил обряды и начал проповедовать слово Богов, записанное в Свитках.

Приверженцы пророка пережили преследования времен Внутренних Солярных войн, культ не погиб в века Виртуальных Миров, Святыни использовали Десятилетие Исхода. Полвека назад священникам удалось приобрести права на колонизацию Регелиса. Люди Свитков строили города и на многих других планетах, заселенных людьми и Чужими.

Религия, традиции и обычай придавали людям силу, помогали понять мир, укрепляли чувство общности и безопасности. Он создали Каззиза таким, каким он был. Он понимал это. Знал, что подчинится законам сам и Мараена поступит так же. Понимание этого отнимало у него сон и аппетит, не позволяло сосредоточиться на работе, приводило к тому, что в контактах с родными он сделался ворчуном, даже брюзгой.

Однако наконец он все же увидел Мараену, хотя уже совсем было потерял надежду. После нескольких дней разлуки, долгих часов одиноких прогулок, попыток разглядеть знакомую фигурку, оборачиваясь на каждый женский голос, он наконец увидел ее.

Она медленно шла к нему, оранжевая туника, которую девушки должны были носить перед инициацией, играла на ее теле в ритме шагов. Черные прямые волосы падали на щеки, длинные ресницы заслоняли глаза, мягкой дугой

* Тот, трижды величайший.

изгибались тонкие выщипанные брови. Веки были накрашены голубым, а губы — светло-красным, почти оранжевым. Эти яркие пятна резко контрастировали с ее темными волосами и черными глазами.

Когда Мараена подошла ближе, Каззиз увидел, что она плачет.

«Сейчас она размажет макияж, — подумал он. — Сейчас сбегутся люди, начнут выспрашивать, почему она плачет, если на ее лицо нанесены краски радости. О Боги, почему она плачет?!»

Она остановилась в двух шагах от него и молча, скав губы, вглядывалась в его лицо, словно хотела запомнить каждую черточку.

— Что случилось, малышка? — спокойно спросил он.

— Берой умер. Утром. Отец уже мумифицировал его и захоронил в пустыне. Нет больше Бероя.

— Он был уже старый и болел. — Каззиз сделал шаг к Мараене. Он понимал, что произносит ужасные, бессмысленные слова, которыми обычно пытаются утешить людей, впавших в отчаяние после смерти близких. — Он страдал. Теперь ему уже не больно.

— Его нет, — прошептала она так, словно вообще не слышала слов Каззиза. — Нет Бероя.

— Кошки живут короче, чем мы.

— Но ты-то живешь не короче, чем я! — Она словно очнулась. На ее лице появилась гримаса злости, а может, страдания. — Ты родился всего на девять месяцев раньше меня. И однако, уходишь. Почему? Почему после того, как я пройду инициацию, мне нельзя будет разговаривать с тобой? Почему можно будет покидать свой район только в определенные дни?

— Ты — из касты Повинующихся.

— А ты — из касты Чистых. Да, тебе можно! — Она вдруг поняла, что ее тоска оборачивается злостью, направленной на Каззиза. — Прости. Пожалуйста, прости! Все это так ужасно...

— Я знаю, что ты чувствуешь, Мараена.

Она молча взглянула на часы.

— Мы слишком долго разговариваем. Тебе надо идти.

Он не пошевелился, хоть знал, что Мараена права.

— Иди, прошу тебя, повернись и иди. Больше мы здесь не встретимся. Это дурно, это опасно. Иди, Каззи, повернись и уходи, потому что я уйти первой не смогу...

Он ушел, ни разу не оглянувшись.

На работе чуть было не вызвал катастрофу, отправив разведывательный автомат на слишком тонкий лед, покрывающий мелкое море. Лед начал прогибаться под тяжестью прибора. В последний момент Каззизу удалось вывести аппарат на сушу. Наставник-руководитель сначала похвалил его за хорошо проведенную спасательную операцию, а потом отругал за крупную ошибку. Под конец сказал, что Каззиз, кажется, прихворнул, и отправил его домой.

Еще не миновал регелианский полдень.

— Каззи, Каззи! — уже на пороге дома его веселым криком встретила Зани, младшая семилетняя сестренка. — Боги к нам благоволят! Бреда окотилась! Пять котяток! Все живы, хочешь посмотреть?

— Конечно.

Каззиз взял сестренку за руку, и они отправились в комнату для кошек. Он почувствовал странный запах, сладковатый и тошнотворный, ассоциирующийся с чем-то прият-

ным и с операционным залом. Утомленная Бреда лежала на правом боку. Глаза у нее были закрыты, из полуоткрытой пасти высунулся кончик розового язычка. У ее живота толкались пять пушистых комочков. Вероятно, каждый котенок считал, что только ему дано право наполнять животик теплым молоком.

Трансгенетические кошки май появляются на свет более зрелыми, нежели их земные предки. Котята рождаются зрячими и уже умеющими ходить. Теоретически они могли вести самостоятельную жизнь, питаясь тем же, что и взрослые кошки. Практически же несколько первых дней они остаются при матери и предпочитают ее молоко другой пище.

Вид копошащихся комочков немного успокоил Каззиза. В помете было две кошечки и три кота — красивые, складненькие, с медовой шкуркой, покрытой коричневыми пятнышками. У одного котенка на носике было удивительно знакомое розовое пятнышко.

— Смотри, смотри, Каззи! — Сестра указала пальцем именно на него. — Этот похож на Мараениного Бероя! Может, его сынок?

— А вон тот похож на кота Хоннов, что напротив. Может, это его сынишка? — улыбнулся Каззиз.

— А что, вполне даже возможно. — Зани задумалась над такой комбинацией, вспоминая обрывки всех тех сведений, которые в принципе знать еще не должна. — Значит, этот — сынок Бероя, а тот — Хоннонка. А другие три?

— Посмотри как следует и попробуй угадать. — Он погладил сестренку по голове. Потом наклонился и поднял похожего на Бероя котенка. — Ты уже дала им имена?

— Они у меня сейчас на этапе предварительного проектирования, — гордо выпрямилась девочка. — Но этого уже назвала, если тебя интересует.

— Меня? — Он понизил голос. — Да что ты. Совсем даже нет.

— Ну, так я и не скажу! Не скажу! — закричала она, и котята плотнее прижались к матери, которая наконец-то соизволила приоткрыть один глаз.

Установив, что шум исходит от маленькой Зани, создающей вблизи наиболее повторяющиеся, хоть и неопасные шумовые эффекты, кошка снова погрузилась в дрему. Малыш в руке Каззиза принял тихо попискивать, грозно склить иголочки зубов. Он был теплый и мяконый, Каззиз чувствовал, как быстро колотится его маленькое сердечко.

— А может, и скажу, — решилась Зани. — Его зовут Оронк.

Беседу прервал громкий окрик, долетевший из родительской части дома. Отец звал Каззиза. Если он вызывал сына к себе, а не выходил в общие комнаты, значит, предстоял трудный разговор. Каззиз сразу же сообразил, о чем или о ком пойдет речь. Покой, вызванный встречей с сестрой и котятами, мгновенно лопнул. Подложив Оронка к остальному кошачьему семейству, Каззиз снова увидел лицо Мараены.

Вечером того же дня Каззиз вышел из родительского дома. Он был взбешен, напуган и подавлен. Конкретной цели у него не было, хотя родители, вероятно, думали, что он идет в молодежный бар для неженатых мужчин. Родители считали, что в таком месте, где можно отведать несколько легких эротических виртуальных имитаций, не-

крепких наркотиков и крепкого вина, их сын забудет о неприятностях. Для начала на несколько часов, потом навсегда. Однако расстроенный юноша пошел не в бар, а направился к докам, где когда-то они вместе Мараеной провели не один день.

Отец решил, что пора призвать сына к порядку. Для начала надавал по щекам, чтобы показать свое недовольство. Пощечины были несильные, но Каззиз болезненно воспринял каждый удар. Он был хорошим ребенком, к тому же родители всегда относились к нему как к другу. Взбучки он получал редко. Последний раз отец надавал ему по щекам много лет назад за какое-то очень рискованное озорство. Однако сегодня он поступил с Каззизом как с младенцем — и это было больнее, чем сами пощечины.

— Ты уже взрослый мужчина, — спокойно сказал отец, хотя Каззиз уловил в его голосе возмущение, — а ведешь себя неподобающим образом, нарушаешь обычай и навлекаешь на родителей позор. Мама сегодня не желает тебя видеть. Она не придет даже для того, чтобы дать тебе пощечину, хотя, видят Боги, мы оба знаем, как ты этого заслужил. Прими ее решение как знак гнева.

— Чем я провинился, отец?

— Чем провинился? И ты смеешь об этом спрашивать? Считаешь меня глупцом? Или себя? Ты сегодня встречался с женщиной, вернее, с ребенком из касты Повинующихся. Ты долго беседовал с ней, явно слишком долго для случайной встречи и времени, которое требуется, чтобы поздороваться. Конечно, вы можете с ней здороваться, потому что вы знакомы, к тому же того требуют культура и обычай. Но ты провел с ней много времени. Сегодня — и две недели

назад, и раньше, много, много раз. Не ведумай возражать! Ты опозорил не только себя и свою семью, но и Мараену и ее близких. Что может сказать священник отцу, ведущему дочь на инициацию, просящему Богов ниспослать ей любовь и удачу? Что его дитя встречается со взрослым мужчиной из касты Чистых? Что она не порвала детского знакомства, а общается с ним, нарушая наши законы?

— Закон не запрещает разговаривать!

— Молчи! Запрещают Боги, запрещают обычаи, запрещаю я! Сегодня ты не можешь сдержать своих чувств и отказаться от детских иллюзий. Говоришь, закон разрешает тебе ее видеть, вот ты и видишь? Да, закон не запрещает! Но обычай велит ограничить такие контакты. Сдержать чувства не потому, что они запрещены, а по своей доброй воле. Права — важны. Священные книги говорят правду. Но Богам нет никакой пользы от твоих добрых дел, если ты совершаешь их не по доброй воле, а исключительно из страха перед законом! Ты понимаешь, что я тебе говорю?

— Да, отец...

— Это не все, еще не все. Ты, вероятно, думаешь: почему закон разрешает, а обычай запрещает? Почему между ними нет согласия? Я знаю, многие молодые люди задают себе такой вопрос. Отвечаю: каждому юноше необходимо время, чтобы научиться жить правильно и пра- ведно. Поэтому если сегодня ты не сдержишься по доброй воле, то подвергнешь позору лишь себя и своих близких. Но если ты не научишься владеть своими желаниями, то позже, когда уже главенствовать будет не обычай, а закон, ты подвергнешь себя огромной опасности. Снова начнешь потакать слабостям. Втайне, по секрету ты бу-

дешь повторять прёжние ошибки. Будешь жить в страхе и все же поддаваться искушениям. И тогда тебя постигнет серьезное наказание. Ибо ни один дурной поступок Боги не оставляют без возмездия. И здесь, и в посмертном мире Дат*.

Они разговаривал долго. Под конец отец снова дал Каззизу пощечину, чтобы показать, как сильно он гневается и что считает разговор очень важным. Однако потом улыбнулся и сказал:

— Есть у меня для тебя и хорошая новость. Мы с матерью уже выбрали девочку, которая станет твоей женой. Мы разговаривали с ее родителями, и они согласны. Завтра мы вместе пойдем к ним, чтобы подписать свадебный контракт. Твоей нареченной девять лет, так что тебе еще много лет не придется выполнять отцовские обязанности — будешь учиться и совершенствоваться в избранной профессии. Какое изумительное положение! Прежде чем тебе исполнится двадцать один год, ты женишься и создаешь семью. Да благословят тебя Боги!

Каззиз не спорил с отцом, не пытался переубедить, даже не спросил, кого для него выбрали. По соседству кили много девятилетних девочек. Он их не знал, так как ружил в основном с теми, кто постарше. К тому же улял, как правило, в центре, где много времени проводил

Мараеной и знакомыми из других кварталов. Таков закон: дети должны были знакомиться с представителями других каст, чтобы понять, что и они тоже серьезные и достойные уважения члены народа Свитков. Но после этого как дети вступали в касты, им приходилось прекра-

* Дат (Дуат) — в египетской мифологии место, где пребывают усопшие.

щать дружбу со сверстниками из иных каст, а контакты могли осуществляться только в соответствии с закрепленными в кодексах принципами.

Каззиз на минуту подумал о той девятилетней девочке. Знает ли она уже о свадебном контракте? Слышала ли вообще о нем, Каззизе? Гордится ли его карьерой и рассказывает ли о нем подружкам? А может, как и он, удивлена? Может, не хочет его видеть и боится своего будущего? Ведь она же всего лишь девятилетняя девочка...

В тот вечер Каззиз все-таки добрался до портовых доков. Смеркалось. На небе разгорелись первые звезды, но ни одна из трех лун, «людей с лицами без глаз», еще не вышла в путь. Зато прямо над головой Каззиза горела желто-красная точка — висящая в ста тысячах километров над планетой орбитальная космическая база.

Каззиз взглянул на чернеющий во мраке контур грузового дебаркадера. Именно здесь он часто встречался с другими ребятами и с Мараеной. Именно на этой платформе он чуть было когда-то не погиб.

Каззиз наклонился, присел на пятках, положил руки на колени и прикрыл глаза. Сидел почти неподвижно, не обращая внимания на стелющийся по земле холод. Чтобы успокоиться, взялся читать молитву Богу Света. Размеренные, ритмичные слова вызывали в сознании юноши удивительную мелодию, звучащую сегодня точно так же, как она звучала четыре тысячелетия назад в древних храмах. Закончив молитву, он принялся читать снова. С начала. Потом еще и еще, так что наконец потерял счет и ощущение времени. Его охватил ночной холод, и ему казалось, что сквозь прикрытые веки он видит яркий свет первого из лунных странников.

Открыл он глаза, только когда услышал приближающиеся шаги. Мягкие, тихие — знакомые. Перед ним стояла Мараена. Он поднялся и подошел к девушке, в голове все еще звучали ритмичные слова молитвы. Мараена обняла Каззиза, прижалась лицом к его груди. Он начал гладить ее волосы, целовать шею. Его руки превратились в два существа, жаждущие тепла ее тела.

У последовавшей потом молитвы был совсем другой ритм, нежели у той, которую он твердил мысленно, но она была столь же всепоглощающей и всеохватывающей. Мараена вскрикнула. Очень тихо.

Крики людей под окнами родительского дома Каззиза были перенасыщены гневом. Они разбудили юношу утром, когда после недолгой ночи в своей постели, ночи, наполненной не только прекрасными воспоминаниями, но и страхом, он наконец сумел уснуть.

Перед дверями дома стояли священнослужители из его района и из квартала Повинующихся и кричали на отца. За их спинами толпились любопытствующие и возбужденные люди. Отец пытался что-то объяснить, но когда до него дошли слова священников, он онемел от изумления. Попытился к двери и глянул на окно спальни сына. В тот момент Каззиз не мог сказать, какие чувства отразились на лице отца. Но гримасу он запомнил навсегда. Священники и стражи закона вбежали в дом и уже спустя минуту колотили в дверь его спальни. Он едва успел надеть набедренную повязку, как они ворвались, грубо схватили его за руки и выволокли на улицу. Покрикивая, подталкивая и тыча в спину, двинулись к храму судей.

4

Оронк, друг мой, как отблагодарить тебя? Ты был посланцем, хоть ни разу не принес ни единого листка, ни пленки, ни снимка. Ты просто бывал там и здесь. Тебя касались ее и мои руки. Это все, что было нам дано.

Они разрешили нам это, ведь в законе не было ни слова о такой ситуации. Вдобавок ты — кот. Мой народ почитает многих животных, хоть на Регелисе живут всего несколько видов привезенных с Земли существ. Только кошек здесь много, потому что кошка — самое главное животное нашей религии, частица первородной материи Ну, переносящая древнейшую энергию, но отгороженная от реального мира шкуркой и шерстью. Будь ты ибисом или собакой, они, возможно, попытались бы тебя удержать. Однако не отважились коснуться кота с прекрасным пятнистым мехом, красивой мордочкой и смешным розовым пятнышком на носу. Ведь они знали, что когда-нибудь придет конец твоим странствованиям. И тогда-то, как раз сегодня, начнется исполнение самой ужасной части приговора.

— Мой сын преступил закон. Он должен понести наказание. Но это она своей греховной юностью навлекла позор на наш род, она отрывала его от работы, она использовала любую возможность, чтобы пробудить в его сердце чувство. Я требую сурового наказания для моего сына, а она должна быть изгнана из города. Она покрыла себя позором!

— Моя дочь преступила закон. Она должна понести наказание. Но это он своей безудержной похотью навлек позор на наш род. Это он искал ее всякий раз, как бывал в городе, это он, вместо того чтобы работать, разгуливал с ней по улицам, это он, взрослый и отвечающий за свои действия человек, не позволил ей забыть о нем. Я требую сурогового наказания для моей дочери, а он должен быть изгнан из города. Он — грешник!

Говорили родители и судьи, священнослужители и послушники, коллеги по работе и друзья. Говорили все. Каззиз не мог представить себе, сколько людей наблюдали за ними, как много близких знакомых беседовали со священниками, какие сомнения мучили родителей, знающих о странном поведении детей.

Он знал — их вина велика.

Они не получили божеского и родительского благословения, и несмотря на это, их соединила любовь телесная. Это проступок, но такое случается нередко. Он уже взрослый, а она еще нет. Конечно, это провинность, но Мараена была достаточно зрелой, так что он не совершил преступления. Они объяснились в любви, хотя каждому уже были предназначены будущие супруги. Да, это грех, но его можно искупить тяжким трудом на пользу общества, постом в храме, молитвой с просьбой о прощении.

Но преступление их состояло в том, что все произошло с людьми из разных каст. Что неоднократно нарушая обычай — кульминацией чего стала та ночь, — они выступили против общества, покусились на его структуру, нарушили внутреннюю связность.

— Что будет, — кричал священник-судья, — если каждый скажет: «Я могу это сделать!» Если слова Богов, запи-

санные в Свитках, мудрые правила, установленные предками, обычаи, проверенные на протяжении веков, будут нарушаться и предаваться забвению? Кем мы станем через двадцать лет, что сможет объединить наших детей, кто захочет служить разрушенным ценностям? Кара, коя вас постигнет, будет суровой. Она будет полновесной расплатой за ваше страшное деяние! Она будет предупреждением для других! Но и вам принесет успокоение, ибо, подвергнувшись ей, вы возвратите честь своим родным. Помните также, что вы по-прежнему остаетесь детьми Свитков, что Богам нужны ваши мысли, что, будучи наказаны, вы тем не менее остаетесь полноправными членами нашего общества.

Каззиз сидел в судебном зале, отупевший и оглушенный тирадами обвинителей, гневом отца и матери, ненавистью родителей Мараены, а прежде всего — несправедливостью наказания, которое падет на нее из-за его слабости. За время процесса он ни разу не увидел ее. Они сидели в герметических клетках анизотропного поля. Могли видеть судебный зал, но их не видел никто. До тех пор, пока не будет оглашен приговор, каждый, кто взглянет на них, поговорит с ними либо коснется их, лишится чистоты. Право нарушить запрет дано лишь ближайшим родственникам, священникам-судьям да стражам закона.

Изгнание в пустыню не могло не окончиться смертью. И хотя осужденных снабжали пищей, выдержать регелианскую зиму вне города было невозможно. А их вывозили в столь удаленные и безлюдные районы, что добраться до заселенных номов они б самостоятельно не смогли. Так карали убийц, насилиников и клятвопреступников. Каззиз знал, что его и Мараену вполне могли отнести к последней из названных групп. Мысль, что девушка окажется одна на песчаном,

покрытом зелеными водорослями безлюдье, среди камней и льда, настолько ужасала Каззиза, что страх перед собственной судьбой куда-то отступал.

— Приговор будет вынесен завтра, — сказал священник-судья. — Сегодня пусть семьи разведут детей по домам, сытно накормят и предадутся совместной молитве. Завтра утром вы приведете их опять. Вы двое, преступившие закон! Завтра вам будет дано время и возможность перед оглашением приговора провести вместе полчаса. Вы сможете видеть друг друга, разговаривать, вам будет дозволено коснуться лиц, волос и рук. Наконец, каждый из вас сможет вручить другому подарок. Потом я оглашу приговор. Наказание вас не минует. Оно будет более горьким, нежели изгнание. Я сказал.

Завтра... полчаса. Увидеть, услышать, коснуться... О Боги, как же счастлив он тогда был, как благодарил судей за милосердие и сострадание! Тогда он не понимал, почему они так поступили, думал, что это последний дар осужденным перед окончательным приговором. За этот подарок, за неожиданные полчаса с Мараеной он готов был благословлять священников до конца дней своих. Как же он был глуп! Священники ничего не делали без повода.

Он подарил ей котенка, маленького, теплого, со смешным розовым пятнышком на носике. Мараена — медальон со своей монограммой. Они почти не разговаривали. Сидели на неудобных стульях, разделенные твердым столом, под присмотром стражи закона. Каззиз гладил руки и волосы Мараены, пытался стереть с ее щек слезы. Он чувствовал аромат девушки, тот самый аромат, который так ошеломил его в ту ночь.

Резкий звуковой сигнал прервал встречу. Из стола взвилась силовая перегородка, быстро мутнеющая и отре-

зающая звуки. Прежде чем перегородка окончательно затуманилась, он еще успел увидеть, как Мараена прижимает к себе Оронка и ее губы беззвучно произносят имя: «Каззиз». Потом его вывели в зал суда.

— Мы могли бы вас изгнать, выдворить в пустыню, — говорил священник-судья. — Ни один добропорядочный приверженец Свитков не обвинил бы нас в жестокости. Но смерть юного грешника — не самое лучшее решение. Грех должен быть наказан страданием, а там, на безлюдье, вы быстро погибнете. Кара должна стать примером для других, а если вы исчезните из города, люди быстро забудут о вас. Преступление требует возмездия и возмещения, а мертвые вы не сможете трудиться на благо общества и прочувствовать свою вину. Поэтому мы назначили вам другое наказание. Наказание, которое не лишит вас жизни, но принесет боль и страдание, закроет дорогу другим, послужит примером для иных. Вы говорили, что любите друг друга. Я верю вам и хоть осуждаю ваши чувства, не могу вам их запретить. Скажу больше, продолжайте любить друг друга, думайте друг о друге, мечтайте, вспоминайте проведенные вместе минуты, такие, как испытанные вами только что. Мы дали вам полчаса, чтобы вы как следует запомнили лица друг друга, еще раз сказали о любви.

Каззиз отупело слушал священника. Он видел, что многие люди воспринимают речь судьи с беспокойством, не зная, как понимать его слова. Неужто священник благословил грешную связь, неужто позволил этим грешникам пребывать в грехе, неужто дал им возможность жить рядом? Неожиданно Каззиз почувствовал, что все может окончиться хорошо, что священники отыскали в Свитках строки, позволяющие удачно разрешить эту ситуацию. Но когда он взглянул на судью, на его лысый

череп, тонкие подчерненные брови, бритый подбородок, выкрашенные золотом губы, то понял, что все сказанное не более чем ораторский прием, обман, сулящий осужденным надежду и тем самым ослабляющий их сопротивляемость удару.

— Вот ваше наказание! Город для вас будет разделен на две части. В одной сможет находиться Каззиз из Чистых, в другой — Мараена из Повинующихся. Вам запрещено встречаться. Разговаривать, видеться, передавать письма, слушать рассказы о себе. Если когда-либо кого-нибудь из вас застанут на попытке связаться с другим осужденным, то этот другой умрет. Вы будете здесь жить до конца дней своих, помня о любви, ее аромате и цвете. Зная, что любимый вами человек рядом, тут же, за невидимой границей, вы не сможете ни увидеть, ни услышать, ни коснуться его... Я сказал.

Потом их забрали.

Это произошло тридцать четыре года назад. Он думал о ней ежедневно. Не женился на назначенной родителями девушке, потому что ее семья разорвала помолвку. Мало кто поддерживал с ним дружеские отношения. Он много работал. Он не знал, что происходит с Мараеной, потому что ему не позволено было знать ее жизнь. Он часто ходил по улицам вблизи от условной границы разделя города. Думал, что, может, она недалеко, за углом, на соседней улице, в проезжающей мимо транспортной капсуле. Сколько же раз он намеревался пойти на площадь перед храмом или в район портового дока и ждать, что она придет? Он ни разу этого не сделал, не смел подвергать ее опасности.

Тридцать четыре года.

У них был только кот. Первый раз котенок пришел к дому Каззиза через две недели после суда. Юноша не мог твердо сказать, Оронк ли это, потому что подросший уже котенок промелькнул на улице чем-то явно напуганный. Потом он начал приходить чаще. Его очень быстро приметил отец Каззиза и тут же вызывал священника-судью. Они схватили кота, чтобы проверить, не принес ли он какое-то сообщение. Священник после краткого раздумья и нового изучения соответствующих статей кодекса Свитков решил, что закон не запрещает Каззизу играть с котом. Так оно и повелось — до сего дня.

Юноша рос, созревал, мужал. Кот приходил каждые пять-шесть дней, оставался на несколько часов и вновь исчезал в городских переулках. Каззиз не знал, возвращается ли животное к своей хозяйке. Не знал, но подсознательно чувствовал.

Когда он гладил кота, в тепле его тела, в удовлетворенном мурлыканье, в ожидающем ласки изгибе спины он улавливал тепло и мягкое прикосновение руки Мараены. Чем был этот кот, посланец без послания, вестник без вестей, утешитель без утешения? Кто он — благословение, позволяющее помнить? Или проклятие, не дающее забыть? Чем он был все эти годы для тебя, Мараена...

Кот тихомяукнул. Открыл глаза, помутневшим взором взглянул на Каззиза. Несколько раз ударил хвостом по подстилке, словно напрягая мускулы для последнего усилия. Наконец засопел и попытался встать. Получилось неудачно — ноги разъехались, голова упала на подушку. Однако Оронк не сдавался. Он дернулся еще раз, сполз с подстилки и встал на подкашивающиеся лапы. Минуту глядел на Каззиза. Мужчина опустился рядом.

хотел взять кота на руки, но кот отверг помо~~чь~~ — сделал шаг, другой. Громко зашипел, может, от боли, а возможно, чтобы придать себе храбрости.

Каззиз погладил его по спине, едва касаясь свалившейся шерстки, потому что боялся повалить кота даже легким прикосновением. Оронк снова мяукнул и направился к открытой двери. Каззиз, все еще стоя на коленях, удивленно смотрел на него.

«Ты идешь к ней? Сможешь ли ты добраться? Дашь ли ей погладить себя еще раз? Наверняка последний, ведь я не сомневаюсь, сейчас ты напрягаешь последние силы. Прошу тебя, кот, выдержи, очень тебя прошу, кот, этот один, последний раз... Прощай, кот. Прощай, Мараена...»

Оронк шел неуклюже, тащил тело совсем не по-кошачьему. Попытался бежать, но чуть было не перевернулся. Вышел из комнаты в открытую дверь. Через минуту Каззиз увидел в окно, как кот медленно идет вдоль окружающей дом загородки. Когда он исчез в какой-то щели, мужчина еще долго стоял у окна и снимал с руки пушки медово-седой кошачьей шерстки.



НОЧНОЙ КОНЦЕРТ



Похоже, они улетели недавно. Может, тридцать, может, пятьдесят лет назад. После них остались дома, странные картины и незнакомые машины. Не сохранилось ни одного их изображения, но изучая их жилища и инструменты, можно было предположить, как они выглядели.

Откуда они пришли, тоже было неизвестно. Здесь, на Септории, находилась только их колония. Была ли это научная база, лагерь беженцев или просто временное прибежище существ, потерпевших космическую катастрофу? Никто не знал. Но люди постоянно искали разгадку.

— Они опять накинулись на меня! — стонал Питер О'Нейл, когда Роберт перевязывал ему руку. — Я бы всех их перестрелял!

— Они красивые, — проворчал Роберт.

— Но у них отвратительный характер. — О'Нейл опять зашипел.

Клычи были шестиногими, пушистыми и на первый взгляд вполне невинными. Они заселяли мертвый городок, стаями

Nocny koncert. © Tomasz Kołodziejczak, 1998.

© Перевод. Вайсброт Е.П., 2002.

шастали по разрушающимся домам и улицам, выкапывали в руинах норы. Они немного походили на кошек. Биологи выяснили, что клычи не были септорианами. Скорее всего они прилетели вместе с хозяевами, а после их исчезновения завладели хозяйственными жилищами.

Клычи не любили людей. Днем, когда свет двух солнц Септории раскалял небо до белизны, они прятались в норах, и люди могли спокойно проводить исследования. Во время короткой ночи они тоже вели себя спокойно. Просыпались утром и вечером, в самое удобное для археологических изысканий время. Нападали не часто, обычно лишь в ответ на провокации со стороны людей. Однако могли целыми часами бродить вокруг работающих астронавтов, бурча при этом свои клычевые песни. Либо неподвижно сидеть, уставившись оранжевыми глазами на землян. Чувствовалась их враждебность. Однако командир исследовательского корабля, капитан Она-сир, запретил убивать клычей. Роберт считал это решение правильным. Животные, казалось, были последними стражами умершего города, да и как ни говори, именно земляне нарушили их покой, тишину и печаль. В общем, решили, что клычи имеют право не любить людей, и хоть многим это не нравилось, убивать животных было запрещено, кроме, конечно, крайних ситуаций.

— Ну как, лучше? — спросил Роберт.

О'Нейл пошевелил рукой, посмотрел, как приживается искусственная кожа, и улыбнулся.

— Как все случилось? Он напал на тебя?

— Вообще-то нет, — проворчал О'Нейл. — Мы вели поисковые работы в третьем квадрате, ну, знаешь, в жилом районе. Там собралось особенно много клычей, они фыркали, ворчали, сам знаешь, какие они. Наконец кто-то из на-

ших не выдержал и запустил в них камнем. Попал в одного, тот запищал и удрал, поджав переднюю пару лап. Другие тоже разбежались. Немного погодя я залез в один из подвалов и наткнулся на животное. Оба мы перепугались, но у него ведь когти, да и реакция получше. Он хватанул меня по руке и сбежал.

- Нашли что-нибудь интересное?
- Так, кое-что. В «музее» лежит...

«Музеем» они называли место, куда складывали находки. Их можно было рассматривать и пытаться угадать, что они такое. Как правило, это сложности не составляло: инструменты, простые приборы, остатки одежды. Обстановка домов была очень странной — наряду с современными машинами и электронным оборудованием там были примитивные инструменты, украшения и предметы мебели. Это вроде бы говорило о том, что в городке жили потерпевшие катастрофу. Они привезли с собой множество сложных аппаратов и устройств, но пришлось заниматься и изготовлением кое-чего на месте. Это получалось у них не очень ловко.

Считалось, что рост септов — их назвали по имени планеты — не превышал полутора метров. Они перемещались в вертикальном положении на двух ногах, имели по две пары хватательных конечностей. Овальное туловище переходило в шарообразную голову с большими, широко расставленными глазами. Так получалось на основании изучения руин. Иногда в числе найденных предметов попадались и такие, назначения которых установить не удавалось. Угадывание принципа их действия превратилось у землян в своеобразную игру.

Роберт стоял в «музее» перед столом, на котором громоздились найденные предметы, и вертел в руках одну из нахо-

док — странно изогнутую, мягкую, продырявленную в нескольких местах трубку. Трубка была не сплошной, а состояла из нескольких эластичных, шарнирно соединенных частей. Люди уже два дня ломали головы над предназначением находки. Что бы это могло быть? Игрушка? Произведение искусства? Роберт дунул поочередно в каждое из отверстий, но услышал только тихий свист.

Он осторожно нажимал трубки, изменял их взаиморасположение. Неожиданно что-то хрустнуло, и трубка согнулась в одном из шарниров. Роберт встряхнул предмет и почувствовал, как внутри что-то пересыпается, крошится. Он тряхнул еще раз. На стол высыпалось немного песка, образовавшего небольшие кучки. Он еще некоторое время сгибал трубку, пока не почувствовал, как внутри что-то треснуло. Он приложил трубку к губам и дунул. Изнутри на стол посыпался песок. И одновременно...

Звук прозвучал не чисто, но, несомненно, возник не случайно. Выходит, это был духовой инструмент, просто до сих пор забытый песком. Роберт улыбнулся. Он выиграл! Сегодня вечером все станут его похлопывать по спине и поздравлять, а может... Ему в голову пришла неожиданная мысль. А что, если...

Он тщательно прочистил инструмент септами. Поднес к губам. Дунул и услышал звук, который немного походил на звук флейты, но как бы измененный, переделанный, похожий на... Роберт никак не мог сообразить, на что, но чувствовал, что где-то такой звук уже наверняка слышал. Он снова поднес инструмент к губам.

— Браво! Ты молодец, парень!

Ритуал похлопывания по спине прошел как полагается. И даже лучше! Но Роберт дал им дополнительный повод.

Несколько последних часов он тренировался играть на «шарнирном органе», как его окрестил О’Нейл. Название прекрасно соответствовало типу инструмента: закрывая отверстия и нужным образом как бы подключая отдельные трубы, можно было модулировать звук. Правда, у септов было четыре руки, и это позволяло им легче управлять инструментом. Роберт понимал, что звуки, которые он пытается извлечь, могли иметь мало общего с музыкой септов. Тем более что и на обычной-то земной флейте Роберт поигрывал давненько, еще в детстве. И все же то, что он продемонстрировал друзьям за обедом, несомненно, было музыкой, может, не очень септской, но и не вполне земной.

Шестеро парней внимательно слушали, аплодировали и похлопывали его по спине. Смеялись и шутили. Он как-то забыл их спросить, не ассоциируется ли у них с чем-то звук «органа».

— А знаете что, — предложил Дорс Онасир, — может, пойдем в руины, и там Роберт поиграет? Скоро начнет темнеть, и обстановка будет что надо.

— Клычи, — буркнул О’Нейл. — Там полным-полно клычей. Лазающих и воюющих клычей с огромными зубицами.

— Прихватим фонарики, к тому же на шестерых людей они вряд ли нападут. Ну как, идем?

— Лады. — Идея Роберту понравилась.

Квата, меньшее солнце двойной системы Септории, как раз уходила за горизонт. На фоне ее зеленого диска резко вырисовывался шпиль полуразвалившейся башни. Возможно, отсюда септы еженощно высматривали спасение? Искали на искрящемся звездном небе быстро двигающуюся яркую точку — спасительный корабль? Знать это могли только

руины. И клычи. Несколько животных сейчас следовали за людьми в абсолютном молчании, так, словно сумерки, лишающие мир расцветок, украдли у них и голоса.

О'Нейл поругивался себе под нос и то и дело хватался рукой за рукоять метателя. Иногда Роберту казалось, что О'Нейл хочет, чтобы клычи действительно напали на него. Тогда он мог бы начать стрелять в них с чистой совестью.

— Здесь будет самое то. — Дорс указал на большую груду щебня.

— Внимание, внимание, настроение номер пять, возбуждение. — Сабо Жолдош пытался пошутить, но никто не улыбнулся.

— Тс-с... — Роберт приложил палец к губам. — Слушайте.

Он снова заиграл. Та же самая, что и за обедом, музыка здесь, среди разрушенных септских жилищ, в зеленом угасающем свете Кваты, подхваченная и дополненная другими звуками — шумом ветра, шелестом осыпающегося щебня, дыханием людей, звучала совершенно иначе. Здесь, в этом городе, жили септы. Если бы люди прилетели на пятьдесят лет раньше, они б наверняка еще их застали. Что случилось с обитателями города? Их убила болезнь, распри или, может — и это было бы самым прекрасным решением, — они дождались наконец помощи и вернулись домой? Оставив мертвые стены и агрессивных, злобных клычей?

Вот именно, клычи! Заслушавшись, погрузившись в собственные мысли, астронавты не сразу заметили, что клычи собираются вокруг них. Но не как обычно — не десяток, самое большое — полтора. Сейчас скопилось уже несколько десятков животных, и продолжали стекаться все новые. Их оранжевые глаза вглядывались в людей, а белые острые клыки, от которых они и получили название, сверкали в полуоткрытых пастиах.

Клычи сидели неподвижно, но их круг постепенно как бы сужался.

— Клычи!

Музыка резко оборвалась, астронавты вскочили со щебня.

— О Господи... — прошептал кто-то.

— Спокойно! — Онасир не случайно был командиром, теперь он первым успокоился. — Возвращаемся к кораблю. Достать оружие! Стрелять только по моему приказу...

Клычи, словно поняв его слова, пошевелились. Круг животных начал сужаться быстрее.

— Нападают! — О'Нейл поднял оружие.

— Не стреляй! — Крик Роберта раздался так неожиданно, что даже изумленные клычи на секунду замерли. — Стойте... Они... они... Смотрите... они ведут себя по-другому... Они пришли послушать!

И тут он понял, что напоминал ему тот странный отзвук в мелодии септорианского инструмента — бурчание клычей.

Всю ночь Роберт просидел на развалинах городка, далеко от собственного дома. Он играл на инструменте, изготовленном септами для своих животных. Он знал, что звуки, которые он извлекает из флейты, всего лишь неумелое подражание настоящей музыке. Однако осиротевшие, лишившиеся своих хозяев клычи слушали его с грустью и счастьем, горевшими в оранжевых глазах.

Утром старый клыч подошел к Роберту и положил ему голову на колени.



Я. Дукаў

МУХОБОЙ



— **В**ас называют Мухобоем?

— Называют.

— А кто вы, собственно?

— Коллекционер.

Они шли по заполненной экспонатами галерее, протянувшейся вдоль наружной колоннады террасы. Среди экспонатов были действительно весьма интересные. Однако Уинстон Клаймор не очень-то присматривался к ним. Гораздо больше его интересовало лицо хозяина: высокого — два метра двенадцать сантиметров, — пропорционально сложенного и, что странно, совершенно не сутулившегося мужчины. Клаймор, когда-то игравший крайним нападающим в университетской баскетбольной команде, рядом с Мухобоем казался тщедушным недомерком, этакой остановившейся в развитии жертвой собственных гормонов.

Он задержался у черного, как беззвездная ночь, камня размером с кулак, лежавшего под прозрачным колпаком на мраморной подставке.

Muchobójca. © Jacek Dukaj, 2000.

© Перевод. Вайсброт Е.П., 2002.

— Что это? Метеорит?

Мухобой глянул в левое, потом в правое стекло зеркальных очков Клаймора, быстро протянул руку к его лицу, снял очки и засунул ему в карман серого пиджака. Лишь после этого он ответил:

— Нет.

Клаймор с каменным лицом ждал дальнейших пояснений и, не дождавшись, спросил:

— Тогда что же?

— Почему это вас так интересует?

Клаймор поморщился. На лице Мухобоя не дрогнул ни один мускул.

— Просто так спросил, — буркнул американец, — из любопытства. Раз вы его выставили, значит, каждый может увидеть...

— Я не каждогопускаю к себе в дом. По правде сказать — почти никого.

Клаймор пожал плечами:

— Воля ваша. Давайте выйдем на террасу.

Вышли.

Солнце стояло в зените. На небе, более чем небесно-голубом, виднелось лишь несколько маленьких белых облаков, весело бежавших под ветром с Красного моря. Терраса выходила прямо на чистый светло-желтый пляж, где линия прибоя отчеркнула почти прямую, словно прорванную рукой архитектора, линию. У морской воды был цвет пламенеющего льда.

Весь район вдоль моря был частной собственностью, и Клаймор не видел на пляже ни живой души.

Усевшись в ивовые кресла у овального столика на трех ажурных ножках, они погрузились в глубокую тень и мер-

ный шум моря, напоминающий дыхание спящего Левиафана, и любовались бескрайностью горизонта.

— Это обошлось вам недешево, — сказал Клаймор, когда ушел слуга-араб, принесший на большом подносе густой кофе для Мухобоя и ледяно-холодную колу для американца.

— Да, — кивнул Мухобой и тут же снова удивил Клаймора, выпив черный как смола кофе несколькими долгими глотками, не отрывая губ от чашечки.

— Я слышал, шейх ваш друг? — проговорил Уинстон.

— Я тоже слышал.

Клаймор поднял стакан с колой.

— Жаль, нет у вас пива; при такой жаре человек просто может окочуриться. Простите. Знаете, холодное пиво...

— Алкоголь. Вы незнакомы с Кораном? Таков закон. Надо было легче одеться.

Сам Мухобой был без сандалий, в продуваемых насквозь шароварах и шелковом балахоне. Кожа у него была уже настолько смуглой, что он вполне мог сойти за местного жителя, тем более что и чертами лица — резкий орлиный нос, выступающие скулы, темные брови — и цветом волос — брюнет — он практически не отличался от туземцев.

— Ну что ж, — проворчал Клаймор, у которого по-немногу начинал иссякать профессиональный запас хорошего настроения, — я заскочил сюда на пару часов, поскольку вы не соизволили прибыть в Штаты, так что...

— Прошу прощения. Я вел себя бес tactno. Извините.

Уинстон Клаймор чуть было не поперхнулся колой.

— В извинениях нет нужды. Ничего страшного не случилось. Однако хотелось бы, чтобы вы внимательно выслушали мое предложение.

— Слушаю.

Клаймор закинул ногу на ногу, поправил отогнувшуюся полу пиджака.

— Вы, конечно, знаете, мистер Мрозович, что в данный момент я прибыл к вам совершенно официально как президент правления «Q&A», надеюсь, содержание нашей беседы останется строго между нами. Насколько мне известно, вас нельзя назвать человеком болтливым.

— В моем молчании можете быть уверены.

— М-м... Ну да.

— Насколько я догадываюсь, речь идет о какой-то утечке вашей разведывательной компании.

— Разумеется.

— Тогда, может быть, сразу перейдем к сути и решим вопрос о моем вознаграждении?

Клаймор еле заметно улыбнулся:

— Из того репортажа, который сделали о вас, следует, что у вас невероятно страстное хобби и ради расширения коллекции и пополнения знаний вы, ни о чем не спрашивая, отправитесь на край света, да при этом еще доплатите.

— Репортаж пустили без моего согласия; материал был тенденциозно подобран, смонтирован и снабжен унижающими мое достоинство комментариями. Я уже привлек к ответу автора и продюсера, и мой адвокат не сомневается в разме-рах возмещения ущерба.

— Вы удивлены? Но ведь они хотели сделать фильм о каком-нибудь эксцентричном богаче и случайно попали на вас. Впрочем, убытки от возмещения возможных претензий они включают в годовой бюджет. Если б вы знали, какую чушь болтают обо мне!

— Какую?

Клаймор натянуто усмехнулся:

— Посильнее, чем о вас, посильнее!

— Мы говорили о моем гонораре, — напомнил Мухобой.

Клаймор посеръезнел:

— Какая бы сумма вас устроила?

— Никакая.

— Простите?

— Деньги, мистер президент, меня не интересуют.

— Любопытная религия. А что же в таком случае интересует?

— Ну, знаете ли, то да се.

— Что именно?

— Например, собственный Проход.

Если б Клаймор в этот момент пил, он наверняка бы поперхнулся.

— Шутить изволите?

— Не возмущайтесь. Это было всего лишь предложение. Откровенно-то говоря, я пока еще не знаю, чего может стоить услуга, которую вы хотите у меня купить.

— А я и не возмущаюсь. Но вы, думаю, прекрасно знаете, что частный Проход — это нереально. Или вы намерены поставить себе собственную атомную электростанцию?

— В таком случае, может быть, все же перейдем к деталям, касающимся самой услуги.

Клаймор поскреб гладко выбритый подбородок.

— Кратко говоря, я хочу, чтобы вы очистили от злых духов некую планету.

Мухобой даже не дрогнул.

— Понимаю. А конкретнее?

— А конкретнее — речь идет, собственно, о спутнике некоей планеты.

— Так-так. Позвольте спросить, что навело вас на мысль направиться именно ко мне? Тот репортаж?

— Отнюдь. Какой же серьезный человек верит репортажам!

— Так что же?

— Это, если можно так выразиться, абсолютная тайна, и каждый оберегает свой Проход, как невинность собственной дочери, однако слухи все равно расходятся. Уже образовалась герметично замкнутая группа специалистов, эдаких экспертов-интернационалистов, которых проблемы конфиденциальности не очень волнуют, и заставить их молчать — дело достаточно сложное. Каждый зарабатывает по миллиону в год и плюет на все и всяческие распоряжения и указания, а поскольку рынок труда у них еще не стабилизировался и сохраняется высокий коэффициент ротации специалистов, они непрерывно перемешиваются; в такой среде слухи распространяются легко и быстро. Я поспрашивал там и сям, ну и услышал то да се.

— А именно?

— Ну, к примеру, как вы изгнали Солнечные Привидения. Это тоже был заказ или нет?

— Меня попросил шейх.

— Я вас тоже прошу.

— Вы не шейх.

— Верно. Господь не сподобил. Но следует ли понимать вас так, что шейх Шахрад обладает исключительными правами на ваши услуги? Надо думать, между вами не сразу сложились столь хорошие и доверительные отношения: вы побывали в больнице, вас дважды реанимировали, видимо, планеты шейха небезопасны.

— А на той луне, что принадлежит вашей компании, были какие-либо смертельные случаи?

— Ну что ж... один или два.

— Вы давно там копаетесь?

— У меня, знаете, такое ощущение, что мы заплываем на слишком глубокие воды. Сначала я хотел бы знать, заинтересованы ли вы в принципе.

— Заинтересован. Вопрос — достаточно ли вы решительны.

— Решителен, чтобы сделать что?

Мухобой тряхнул над темным паркетом террасы растопыренной левой ладонью и наклонился к столику.

— Выслушайте меня внимательно, мистер Клаймор, потому что я назначу окончательную и не подлежащую обсуждению цену ожидаемой вами от меня услуги. Цена следующая: право на неконтролируемое многократное использование Прохода «Q&A». Я соглашусь на достаточно разумный суммарный уровень общего количества часов доступа, например, на год либо полгода. Но это все. Возможно, я и не могу иметь собственный Проход, но кто сказал, что не имею права арендовать чужой? Ведь вы — компания коммерческая; подсчитайте прибыль и расходы. За энергию я, естественно, буду платить. Итак — приемлемо ли мое предложение?

Клаймор вперился в какую-то точку на море, от гладкой поверхности которого Солнце отражалось не хуже, чем от настоящего зеркала. Ему было тридцать три года, последние два года он руководил компанией и относился к тому поколению менеджеров, для которых бизнес давно уже неотличим от войны. Работа — двадцать четыре часа в сутки, всегда начеку, всегда готовый

к сопротивлению, скорое возвышение, быстрое падение, пенсия в тридцать пять лет, капиталы, зарабатываемые в течение недели, аристократы холодного интеллекта, князья Уолл-стрит, в их жилах вместо крови текут компьютерные коды торговых операций. Чему они поклоняются, если поклоняются вообще? Наверняка не деньгам. Может — самим себе?

— Что вы понимаете под «неконтролируемым использованием», мистер Мрозович?

— Только я буду знать координаты места перемещения.

Клаймор кивнул:

— Так я и думал. А вы понимаете, что практически это сделает вас первым физическим лицом, способным владеть целыми планетными системами?

— Да.

Клаймор зло кашлянул, раздраженный однозначным ответом Мухобоя.

— Это решение *par excellence** политическое, — прорвичал он.

— Ну так принимайте его.

Название «Филантропы», придуманное редактором какой-то бульварной газетенки, вскоре одержало верх в ведущейся между СМИ войне и прижилось. Итак, «Филантропы». Социологов привлекало позитивное звучание слова, и они были уверены, что оно сыграет роль естественного глушителя ксенофобии и страхов перед неведомым. Фактически это подействовало даже слишком хорошо: спустя двенадцать лет после получения «Инструкции» у девяноста процентов рес-

* в высшей степени (лат.). — Здесь и далее примеч. пер.

пондентов ее десигнат* воспринимался как нечто среднее между спилгеровским И.Т.** и доброжелательным бестелесным боженькой. В результате чего социологи даже слегка обеспокоились, поскольку столь наивный подход был чреват крупным потрясением в случае возможного контакта.

Однако вне круга социологов это не волновало никого, и мало кто вообще верил в возможность этого контакта, как и любого контакта вообще. Намерения «Филантропов» представлялись ясными: они тщательно очистили «Инструкцию» от всего, что хоть как-то могло навести получателей на след авторов, а значит, они желали остаться анонимными. Людям ни о чем не говорило направление, с которого поступил сигнал — почти строго перпендикулярный эклиптике и при этом из абсолютно беззвездного вакуума. А это вроде бы говорило в пользу его внегалактического происхождения, что, впрочем, было сразу же исключено из чисто теоретических соображений: большой силы сигнал в момент приема и банальный способ передачи — на волне 21 см. К тому же сам математический язык «Инструкции», построенный с помощью физических постоянных и бинарного кода, был, по всеобщему мнению, искусственно сконструирован для нужд как можно большего числа сколь угодно отличающихся типов получателей. Уверенность в какой-то чуть ли не божественной силе «Филантропов» следовала из попытки засечь источник излучения («Инструкция» передавалась более восемнадцати часов без перерыва): расстояния получались совершенно абсурдные, то тысяча световых лет, то сто астрономических единиц, а однажды даже

* Десигнат: здесь — предмет (в отличие от его содержания).

** И.Т. (Е.Т.) — герой-инопланетянин в одном из фильмов Спилберга.

вышла дистанция, превышающая диаметр постинфляционного «пузыря» горизонта событий. Поскольку не могло быть и речи о повреждении приборов (на прием «Инструкции» перевели все радиотелескопы Земли) или ошибке в вычислениях (да и где тут было ошибаться?), начали одна за другой плодиться совершенно безумные теории вроде «нульвременного резонанса пространства» или «временной волны». Между тем «Инструкция» была не чем иным, как инструкцией — руководством по созданию и обслуживанию мощных, дьявольски энергоемких устройств, теперь уже известных под названием «Проходы». Название неоригинальное, но более точное придумать сложно, в конце концов, это были обычные, прекрасно знакомые любителям научной фантастики трансмиттеры материи. Вход в них располагался на Земле, а выход — где угодно во Вселенной. Вначале физикам немало забот доставлял принятый «Филантропами» метод расчета местоположения точки, в которой раскрывался Проход, учитывая специфическую систему координат. В конечном итоге приняли определение, сравнивающее предложенный метод с «пробитием уровня пятимерных сфер в неевклидовом пространстве», которое в действительности ничего не определяло, но звучало вполне таинственно. Наконец методом проб и ошибок физики кое-как приоровились, попутно обнаружив единственное ограничение Проходов — чем ближе к границам познаваемой Вселенной, тем большая энергия требуется для удержания Прохода открытым. Разница же в потребляемой мощности при трансмиссиях внутри Млечного Пути оказалась столь невелика, что ее не стоило учитывать

при расчетах. В первый момент это смахивало на свойственную человеку ущербность познаваемости, на что-то вроде усвоения человеческим умом скорости света и принципа неопределенности Гейзенберга, однако вскоре возникла догадка о встроенных «Филантропами» в Проходы предохранителях, не позволяющих получателям «Инструкции» добираться до соседних «постинфляционных пузырей», где, вероятно, и скрываются «Филантропы»: происхождение «Инструкции» вне пределов нашей Вселенной объясняло бы невозможность локализации ее источника традиционными методами. Это утверждение можно было доказать лишь экспериментальным путем, то есть частичной перестройкой Проходов. К сожалению — а может, и к счастью, — до сих пор так и не нашлось государства или частного спонсора, готового выложить значительные суммы для возведения и запуска таких Проходов, поскольку вмешательство в их механизмы (а принципа их действия никто, откровенно говоря, до конца не понимал, хотя многие утверждали обратное) могло легко привести к самоуничтожению Прохода, если не к чему-нибудь похуже (засасыванию Земли в иную Вселенную, что предрекали, в частности, обожающие катастрофические катаклизмы публицисты). В конце концов ООН вообще приняла постановление, порицающее и запрещающее какие-либо эксперименты с Проходами как чересчур опасные для человечества. Сторонники проекта тут же ответили предложением возвести такой перестроенный Проход где-нибудь вне Земли, но поскольку это лишь существенно увеличило бы затраты, не меняя сути дела, проблема приказала долго жить, скончавшись естественной смертью.

Поскольку «Инструкцию» принимали на всей планете, очень скоро полный ее текст оказался в Интернете, а расшифровка его не составила особых сложностей («Фильтраторы» сделали все, чтобы максимально упростить задачу), ну и следовательно, не могло быть и речи о каких-то ограничениях в распространении технологии Проходов. По сути, единственным тормозом были деньги: кроме затрат на саму постройку и необходимые материалы (а требовались достаточно экзотические и труднодобываемые составляющие — вроде больших количеств редкоземельных элементов), Проходы поглощали огромные суммы уже в ходе работы, заглатывая за секунду энергию, достаточную, чтобы удовлетворить суточную потребность средней величины города. Поэтому неудивительно, что за двенадцать лет, прошедших с момента получения «Инструкции», количество Проходов до сих пор не перевалило за десяток (пригодных для использования, так как еще существовали два Прохода непригодных: Индийский и славной памяти компании Оркан — заброшенные в ходе строительства из-за непреодолимых финансовых трудностей). Впрочем, в данный момент строительство новых уже не намечалось, установился определенный *status quo*. Действовали три коммерческих Прохода: исследовательских компаний «Q&A», «Dreamcatcher» и «Nakade», а также шесть Проходов правительственные: США, Китая, России, Германии, Лиги Арабских стран и Франции.

Исследовательские компании представляли собой конгломераты с весьма сложной финансовой структурой, участниками-основателями которых были могущественные концерны всего мира. Так, первая из зарегистрированных

компаний «Q&A» опиралась почти исключительно на капитал, поступивший из Северной Америки и Европы, а в ее Контрольном совете заседали представители «Дженерал Моторс», «Дженерал Электрик», «Майкрософт», «Экскона», «ИГ Фарбен», «Филлипс» и даже «Уорнер Брос», однако решающий голос принадлежал японской группе капитала. «Nakade» собрала южно-азиатские финансовые гиганты, говорили, что в действительности компания служит лишь прикрытием для японцев, хотя, с другой стороны, ходили слухи о серьезном участии в предприятии грязных денег из Китая и Золотого Треугольника. У самой младшей из строек, «Dreamcatcher», не было столь четкого национального профиля, ее участниками были фирмы и физические лица со всей Земли, она даже выбросила свои акции на Нью-Йоркскую биржу, что, как оказалось вскоре, было мероприятием не из самых умных, потому что заставило компанию в определенной степени знакомить публику со своими действиями, в то время как конкуренты удерживали в тайне все, что только могли.

Ведь не сразу все выглядело именно так. Первое время функционировали только два Прохода — США и Китая, они находились в центре внимания СМИ, даже велись передачи первых проходов, как говорится, «вживую», и не было такого случая, когда информацию, касающуюся подробностей, в том числе и координат исследуемых мест, назавтра нельзя было бы найти в газетах. Интерес общественности был настолько велик, что такая — совершенно идиотская с точки зрения правительства — ситуация продержалась в течение открытия двух землеподобных планет, и лишь после того, как китайские астрономы наткнулись на Рай, все перевернулось вверх ногами.

Побочным эффектом открытия Рая оказалось изменение программы использования Проходов — все гармонограммы космологических и астрономических исследований отошли в сторону, осталось только одно: отыскать и обследовать планету. Трудно сказать что-либо о дальнейших успехах или поражениях на этом поприще, поскольку, начиная с Рая, все действия подпадали под гриф «Тор secret»*, в результате чего только не придумывали (например, после очередного крупного наводнения в Китае было выдвинуто полуофициальное обвинение в адрес США, которые якобы научились управлять погодой, применив технологию, полученную с какого-то «нового Рая»). Паранойя разливалась бурным потоком, переходы делали правдоподобным любой психоз: не было такого события, которое нельзя было бы с их помощью подогнать под какой-либо «исторический» заговор.

Алгоритм поисков планет выглядел следующим образом: вначале астрономы выделяли потенциально «планетоносную» звезду; обычно это были звезды, расположенные сравнительно недалеко от Земли (недалеко — в галактических категориях); либо же просто исходили из предположения, что в отношении более удаленных районов космоса имелось соответственно меньшее количество достоверной информации. На второй стадии через Проход в экосферу выбранной звезды забрасывали по противоположным ее сторонам несколько автономно действующих и принимающих самостоятельные решения зондов, забитых оптическими и радиотелескопами. На третьей стадии, переждав время, необходимое для проведения зондами соответствующих исследований (в том числе сканирования небесной сферы на

* Совершенно секретно (англ.).

различных длинах волн), туда перебрасывали снабженные двигателями и максимальным количеством горючего миниатюрные складные антенны и какой-нибудь носитель информации, а также быстродействующий процессор. В их задачу входил прием у зондов всех полученных данных, архивирование, возвращение — преодолевая гравитационные поля звезды и планет — в район пункта переброски и «выстрел» миллисекундным импульсом этой информации в Проход в заранее обусловленное время. На Земле «рапорт» вскрывали и подвергали обработке до тех пор, пока не появлялась уверенность, что вокруг данной звезды нет ничего интересного. Если же «в сеть» попадалась какая-то «непустая» планета, тогда — уже непосредственно на ее орбите — помещали пару спутников, по существу, мало чем отличающихся устройством и предназначением от обычных шпионских аппаратов. И лишь получив «рапорта» и от них, открывали Проход на поверхности открытой планеты. Однако и здесь первыми шли механические разведчики, небольшие механизмы, исследующие состав атмосферы, почвы, наличие и вид возможной флоры и фауны.

В принципе все эти автоматы были приборами одноразового использования в основном потому, что стоимость их возвращения на Землю превышала их цену: ведь уже возникли предприятия, специализирующиеся на изготовлении соответствующих моделей и жестоко конкурирующие между собой на этом закрытом, нерасширяющемся рынке, поэтому приборы со временем значительно подешевели. И все же детальное изучение всего лишь десятка звезд, даже лишенных планет, по-прежнему было делом невероятно дорогостоящим. Для ограничения затрат, не-

обходимых уже на этом начальном этапе исследований, пришлось обратить особое внимание на тщательность предварительной селекции «планетоносных» звезд. Теперь, когда имелись Проходы, не было проблемой развернуть в какой-либо точке межпланетного пространства, где гравитационным влиянием ближайших масс можно пренебречь, гигантскую сеть приемников, образующих радиотелескоп с эффективным диаметром истинно астрономических размеров; либо — на аналогичном принципе — разместить на поверхности какого-либо не имеющего атмосферы тела систему оптических телескопов. Поскольку количество расходуемой Проходом энергии не зависело от того, где он открывался — над Сатурном или в другой точке пространства на расстоянии, скажем, в три миллиона световых лет, — постольку не было и оснований размещать эти телескопные сети вблизи Солнца, тем более что его окрестности и без того уже были хорошо изучены традиционными методами и вдобавок оказывались наиболее доступным полем деятельности для любых групп доморощенных исследователей. В состав Галактики Млечного Пути входит свыше ста пятидесяти миллиардов звезд, а ведь она далеко не самая крупная; даже учитывая очень невысокий процент звезд с землеподобными планетами, мы получим цифры, которые трудно охватить разумом.

По мнению политиков и журналистов, решения о размещении мегателескопов отдельных государств и компаний на долгие годы привели к установлению хоть и неформальных, однако вполне секретных сфер их влияния в космосе; тем не менее то и дело на публику обрушивались лавины слухов о предполагаемых координатах этих доминионов, что в конце

концов создало почву для постоянных шуток и газетных карикатур типа: «Французы присвоили себе право владеть туманностью Андромеды», «Dreamcatcher» обживается в Малом Магеллановом облаке». «Китайско-германская война за NGC 6822!» Астрономы постоянно высмеивали эти и подобные им сенсации, показывая, что люди просто не представляют себе фактических размеров объектов, о которых говорят, и расстояний, отделяющих их друг от друга и от Земли.

Что происходит в действительности, не знал никто — во всяком случае, никто из любителей порассуждать на данную тему.

С другой стороны, разговоры об упомянутой китайско-германской войне за какой-то удерживаемый в секрете космический объект не были досужим вымыслом, взятым с потолка, — ведь вот уже восемь лет на поверхности Рая не прекращался вооруженный конфликт за контроль над наиболее интересными районами планеты, и к настоящему времени туда были переброшены общим числом почти пятьдесят тысяч американские, китайские и российские солдаты, не считая спорадических рейдов исламских командос или грабительских эскапад люмпенов, нанятых исследовательскими компаниями. Недели не проходило без сообщений о кровавых стычках, военная цензура вырезала совсем немного, каждый мог на экране своего телевизора любоваться красочными картинками безжалостных боев, ведущихся под лиловым небом и солнцем цвета перезрелой сливы. С каждым годом это все больше начинало напоминать космический вариант Вьетнама: удаленное экзотическое место, куда отправляются наши сыновья, а возвращаются гробы. Однако в отличие от вьетнамской войны общество не поддерживало проектов оставить Рай в

покое: несмотря ни на что, люди прекрасно понимали, к чему это могло привести...

Планета Рай, спутник старой, сползающей с главной ветви звезды, отстоящей от Солнца более чем на две тысячи световых лет, скрывала в недрах и на поверхности прямо-таки бесценные сокровища. Название она получила после того, как репортер Си-эн-эн процитировал в исторический момент фрагмент «Потерянного Рая» Мильтона, более простые ассоциации вели скорее в сторону ада. Для воюющих и умирающих там солдат планета, несомненно, была адом, а Раем казалась, пожалуй, только влюбленным в нее ученым. Количество обнаруженных там артефактов — известных мировому общественному мнению — уже перевалило за тысячу. К этой тысяче следовало добавить всякого рода маленькие и более крупные строения, а также так называемые непостоянные районы. И хотя создатели всего этого разнообразия по-прежнему, как и «Филантропы», оставались тайной за семью печатями, а о принципах действия (да по правде говоря, и предназначении) девяноста процентов обнаруженных на Рае предметов никто не имел ни малейшего понятия, но уже одна только разгадка секрета «Солнечных Клеток» и анализ некоторых аспектов работы Генераторов Времени, который привел в конечном счете к сформулированию теории Кваги и подчинению себе сил гравитации, оправдывали все вложенные в овладение Раем усилия.

Как же кляли себя китайцы, не догадавшиеся раньше сохранить в тайне проводимые исследования!

Однако теперь уже все это не было секретом; если какое-либо государство или какая-либо из трех основных корпораций нападет на подобный Рай, то уж наверняка

никому об этом не сообщит. Не будет войны, не будет состязания преступников. Первооткрыватель станет единовластным хозяином всех сокровищ. Поскольку непосредственные соседи Рая — звезды в радиусе тысячи световых лет — были проверены в первую очередь, подразумевалось, что у каждого из владельцев Прохода в данный момент есть равные шансы выиграть «Джек Пот». И хотя — здраво рассуждая — какие-либо логические предпосылки для предположения о существовании очередных «раев» отсутствовали, все больше укоренялось мнение, что в действительности их уже обнаружили давным-давно, а мы — профаны — просто-напросто не можем распознать эффектов использования внеземных технологий счастливыми первооткрывателями... Опять же — наводнение в Китае... Ураганы... Вспышки на Солнце... Финансовые крахи... Да мало ли что еще!

Уинстон Клаймор III попросил у главного инженера огонька. Кхани кинул ему зажигалку.

— Когда? — спросил Клаймор, раскуривая сигару.

Кхани взглянул поверх голов сидящих в креслах членов Контрольного совета куда-то в сторону стены мониторов.

— Уже едет, — буркнул он. — Не станем же мы ради него изменять время переброски. — Он принял листать записную книжку, потом проворчал, не поднимая головы: — И вообще не понимаю, почему вы так беспокоитесь.

Клаймор нахмурился:

— Скажем так, у меня скверные предчувствия. Предпочитаю не спускать с него глаз, пока он не пройдет.

— Он же в любом случае ничего сделать не сможет.

— Я защищаю свою задницу, сэр, в случае чего — я не пустил дело на самотек, я был... на посту. Бдил.

— Политика, — махнул рукой главный инженер. — Не понимаю, на кой ляд нам сдался этот шарлатан? Он же чистейшей воды псих! Вы просматривали репортаж?

— Займись-ка лучше своим делом.

На одном из главных экранов он видел, как подъемник остановился и Мухобой вошел в форкамеру. На нем были кожаные сапоги с голенищами до колен, темные джинсы, темно-синий свитер с высоким воротом, расстегнутое черное пальто. На левом плече — плотно набитый матросский мешок, в правой руке — солидных размеров несессер. Поскольку форкамера была совершенно пуста (сто метров на шестьдесят и на сорок: бетонный куб с белыми стенами), то не с чем было сравнить и верно оценить рост Мухобоя, на экране он даже казался мелковатым.

— Вы его просвечивали? — спросил Клаймор, осматриваясь в поисках пепельницы.

— Ух-м, — кивнул Кхани и постучал по клавише ближайшего терминала. — К тому же его все равно ждет проверка после возвращения.

(Каждого возвращающегося проверяли с прямо-таки абсурдной дотошностью в поисках мини-фотоаппаратов, кинокамер, фотоснимков, кино- и магнитофильмов, компьютерных записей и даже сделанных от руки зарисовок неба, раскинувшегося над принадлежащими компаниям планетами: это вроде адреса, хотя, вообще-то говоря, они и сами вполне могли сообщить координаты.)

— А что у него в мешке и чемоданчике?

— Одежда и кое-какая мелочь.

— Что значит «кое-какая»?

Кхани криво усмехнулся с каким-то зловредным удовлетворением.

— Ну, например, «Чайник».

— Что?

— «Чайник» и два других резонирующих подобных образом артефакта, которых у меня в каталоге нет.

(«Чайниками» называли некий род предметов, довольно часто обнаруживаемых в «горячих» районах Рая: внешне они действительно немного напоминали миниатюрные заварочные чайники. Ни предназначения, ни принципа их функционирования до сих пор не установили. Несколько штук «чайников» находились в свободном обращении на Земле, так как они были первыми находками, сделанными еще до начала «запроходной» войны.)

— А чтоб тебя! — зло покрутил головой Клаймор. — У вас тут нет пепельницы? — сменил он тему.

— Здесь курить запрещено, — процедил Кхани.

— Тогда почему мне не запретили?

Створки ворот зала переброски начали медленно раздвигаться. Мухобой пошел вперед, двигаясь между рельсами.

Огромные экраны создавали иллюзию близости, но в действительности зал Прохода отделяли от зала надзора без малого двадцать километров; вдобавок первый был заглублен почти на пятьсот метров. А над ним — пустыня. Компании «Q&A» принадлежало несколько тысяч квадратных километров песка и камня, окруженных металлическим ограждением под высоким напряжением. Кроме того, территорию патрулировали войска компании, стерегли сети хитро скрытых датчиков. Этакое государство в государстве. Компания выкупила пустыню у правительства Австралии за многие

миллионы, зато теперь могла позволить себе похвастаться относительным суверенитетом.

Мухобой вошел в зал переброски, который размерами не отличался от форкамеры, да и пустоту в нем заполняли лишь тормозящий экран (в глубине слева), углубленная в пол пусковая установка (подальше справа) и стоящая уже на рельсах грузовая платформа с одним смонтированным в центре креслом (заднюю часть платформы плотно охватывали черные челюсти пусковой установки). У Прохода как такового не было никаких постоянных материальных элементов: во всеобщем употреблении этот термин совершенно не соответствовал реальности, так как физики именовали Проходом само «пространство одновременности», которое держалось едва долю секунды, потом исчезало. Однако люди воспринимали все иначе: Проход — это механизмы, делающие возможным невозможное. Во всяком случае, единственной частью устройства, которую видел сейчас Мухобой, были две идущие от пола до потолка плиты шириной по десять метров каждая, изготовленные из какого-то темного металла, которые прикрывали центральные части боковых стен. Район переброски — Проход — располагался как раз между ними.

Мухобой положил свой багаж между контейнерами, застыгнул на платформу и втиснулся в кресло. Застегнул почти дюжины ремней и в неподвижности замер.

— Посмотрите, — Клаймор ткнул сигарой в сторону экрана, — ненормально же. Этот тип с самого начала меня раздражает. Я не знаю никого, кто бы не нервничал перед переходом, не вертелся, не поглядывал на часы и все такое. А этот даже не вспотел!

— Говорю же — псих! — буркнул Кхани. — Зачем вы его притащили? Совет сожрет вас живьем. Мало того что он

не сотрудник компании, так вдобавок еще и не подписал стандартного контракта, который содержит пункт о конфиденциальности.

— Думаешь, у меня есть выбор? — проворчал в ответ Клаймор. — И вообще — не твое это дело! Твое дело — Проход, а все, что за ним, тебя интересовать не должно!

Кхани пожал плечами и наклонился к микрофону:

— Тридцать!

Включился автоматический отсчет.

Клаймор умолк, сосредоточенно покусывая кончик сигары и вперившись в экран. При «нуле» воздух между черными плитами потемнел и задрожал. Пусковое устройство двинуло туда платформу. Одновременно несколькими метрами дальше возникла платформа-близнец, двигающаяся параллельно пути, по которому помчалась в ничто машина с Мухобоем, и ударила в экран амортизатора, тут же откатившегося на добрых десять метров. Прежде чем экран остановился, пространство между плитами вернулось в свое естественное состояние. Проход замкнулся.

— Ну, — вздохнул Клаймор. — Пошло. Теперь пусть голова болит у Крёге.

У ван дер Крёге голова болела уже два дня, то есть с момента получения в предыдущей передаче с Земли сообщения об ожидаемом прибытии Мухобоя.

Относительно волнующей тебя проблемы: очередным переходом, ускоренным на 237-143000, к вам перейдет компетентная в подобных вопросах личность, нанятая компанией (все данные — ТУ). Окажи всю возможную помощь. Надеюсь на скорое решение вопроса.

* * *

Из приложения с данными Крёге узнал, что компетентной личностью является некий Мрозович. Это имя ни о чём ему не говорило. Лишь через несколько часов, уже укладываясь спать, он вспомнил о деле и приказал профильтировать весь объём информации, имеющейся в компьютере станции, воспользовавшись приложенным к сообщению паролем. Компьютер выловил несколько сотен газетных статей, фрагменты какой-то интернет-конференции и получасовой телефильм под названием «Мухобой». На Земле он в открытой сети наверняка выискал бы гораздо больше, однако банк данных моррисоновской станции имел ограниченную емкость, и поэтому нельзя было накапливать информацию с индексом важности ниже определенного уровня. В нем и без того значительную часть занимали присылаемые компанией еженедельных приоткрытиях Прохода «сервисные чипы», взаимонакладывающиеся, автоматически актуализирующиеся и по мере их установления стираемые. Только чипы содержали обширные обзоры информации о последних политических, экономических, культурных событиях, полные записи курсов всех бирж мира, два-три десятка часов телепрограмм, несколько новых фильмов, десятки премьер-дисков, сотни компьютерных программ, тысячи свежеизданных книг и так далее, и так далее. Постоянная связь была невозможна, а более частое раскрытие Прохода исключала его энергоемкость. Здесь, на Моррисоне, все жили в недельном цикле. Разве что по каким-то серьезным причинам компания решалась на ускоренную переброску, например, в связи с прибытием Э. Мрозовича. Мухобоя.

Пока ван дер Крёге, нацепив наушники, пялился на экран, его жена занималась релаксационными упражнениями. Вливающийся в спальню сквозь раздвинутые двери террасы рубиновый свет Гендрикса придавал ее загорелой коже цвет глины, смешанной с кровью. Она сидела на ковре в позе лотоса, выпрямившись, прикрыв веки, и заставляла себя глубоко дышать.

— А если это Педросо? — неожиданно спросила она.

— М-м?

— Я подумала, а не мог ли это быть Педросо?

Петер остановил фильм и вместе с креслом повернулся к ней. Свет в комнате не горел, и глаза Крёге, резко отвернувшегося от яркого экрана, мало что увидели: тени и полутиени, мягкий полумрак полного Гендрикса. В нем абрис нагого тела Розанны.

— Что — Педросо?

— Малик. Торн. И вообще. Ведь шпион же.

— Было следствие, — напомнил Петер. — Энквист. И пижоны от Клаймора. Успокойся: что-нибудь да нашли бы.

Розанна перешла от йоги к упражнениям, расслабляющим мышцы; от энергичного вращения бедрами у нее начали подпрыгивать груди, и без того высоко поднятые в слабом тяготении Моррисона. У ван дер Крёге это всякий раз вызывало смех. Впрочем, Розанна знала мужа достаточно хорошо, чтобы не глядя представить себе выражение его лица.

— Я не верю в духов.

— Ты в явном меньшинстве, — сказал Петер, снова поворачиваясь к экрану компьютера, на котором виднелось угрюмое лицо Мухобоя, застывшее в стоп-кадре с прищуренными глазами и полуоткрытым ртом. — Клаймор присыпает нам какого-то шамана, Мрозовича, из-за которого — я тебе говорил — сместили время очередного раскрытия

Прохода. Какой-то доморощенный экзорцист. Кликуха — Мухобой. Клаймор его нанял.

— Как-как? Мухобой?

— Да. Надо же! Чокнутый миллиардер, шляется и скучает всяческие диковинки из-за Прохода. Я как раз смотрю репортаж: недурно они по типусу прокатились. Ничего не скажешь.

Розанна закончила упражнения. Повернулась к мужу, взглянула на экран.

— Клаймор вконец свихнулся.

— Ничего типчик, верно?

Она встала, подошла к Петеру и глянула "поверх его головы на застывшее в холодном свете монитора лицо Мухобоя. Смотрела долго, пока по спине не пробежали мурашки. Потом скрестила руки на груди, ссугутилась, присела у стены, подтянула ноги к подбородку, словно защищаясь от неожиданного порыва холодного воздуха, хоть на Моррисоне всегда стояла одинаково удушающая жара, независимо от поры лунного дня, — термометр сейчас наверняка показывал не меньше тридцати пяти градусов по Цельсию.

— Не нравится мне все это, — сказал она тихо, глядя на далекие холмы, купающиеся в потоках красного, как молодое вино, света. — У меня скверные предчувствия. Лучше держись от него подальше. Судя по физиономии — достаточно вредный субъект.

Поскольку подобное поведение было для нее несвойственным, обеспокоился и сам ван дер Крёге:

— Хм... Знаешь, как это бывает. «Вся возможная помощь» и все такое. Покрутится, порасспрашивает и смоется.

Она задумчиво качала головой, ударяясь подбородком о колено, темные волосы заслоняли лицо.

— Может, нам следовало бы убраться, — пробормотала она после долгой паузы, во время которой Петер выключил компьютер, встал, снял трусы и отправился в душевую кабину. Однако слова жены остановили его на пороге.

— Ты о чем? — спросил он, насупившись, хотя прекрасно знал, что она имеет в виду.

— Хватит, — проговорила Розанна, все еще задумчиво надувая губы и сгибая пальцы ног. — Хватит. Достаточно. Больше семи лет такой жизни. Мы искушаем судьбу. Одиннадцать планет. Господи, Петер, одиннадцать планет! Тут уже не до романтики. Неужели ты этого не видишь? Мы заколачиваем деньги, просто-напросто заколачиваем деньги. Но ведь мы уже и без того богаты. Так зачем же?

— Ты хотела приключений.

— Дело в том, — фыркнула она, — что меня приключения больше не интересуют. Мне нужно совсем другое.

— Мы поженились.

— Это был эрзац. Теперь я понимаю. Что нам бумага? Она ничего не меняет; но я уже, кажется, начинаю хвататься за символы. Мы стареем, Петер, стареем. Теперь я боюсь совсем другого, другие у меня сны, другие мечты.

— Дом. Ребенок.

— Не говори об этом так.

Он замер, прижав руку к прохладном косяку. Не знал, что сказать. Не то чтобы она застала его врасплох, но у него не было готового ответа, соответствующего ситуации и настроению. Он не мог отшутиться, не мог отмахнуться, не мог проигнорировать, не мог солгать. Она поймала его — нагого и безоружного в буквальном смысле. Поэтому он стоял и молчал, и в нем нарастало горькое отчаяние, тяжелая тоска. «Вот до чего мы дожили, — думал он. —

Когда-то мы вели такие разговоры чуть ли не соприкасаясь губами, в ленивых объятиях после ночей любви, а сегодня — сегодня все холодно: пять метров темной пустоты между нами, она даже не может на меня взглянуть, а я думаю о том, как солгать. Это смерть. Мой Боже — что сделать, что ответить? Самые страшные грехи — грехи бездействия».

Он шепнул:

— После Моррисона я заявлю Клаймору об отставке.

Только теперь она подняла на него глаза.

— Не надо.

— Почему? Ведь ты хочешь именно этого.

— Но этого не хочешь ты. Я бы вырвала у тебя сердце.

— Ты и без того вырываешь. — Он отнял руку от косяка, сделал несколько маленьких шагков, нормальных в слабом тяготении луны, и присел на расстоянии вытянутой руки от Розанны, наклонившись и опустив голову, чтобы заглянуть ей в глаза, скрытые занавесью волос, но это ему не удалось — она уже смотрела на свои ноги. Он протянул руку. — Я всегда считал, что это будет наш дом. И наш ребенок.

— Я тоже так думала.

— Так что же? — Он мягко развел ей волосы.

Она укоризненно взглянула на него.

— Ты приближаешься к точке, из которой нет возврата. Ты показал мне Мухобоя, и я поняла. Ты рад его прибытию. У нас теперь нет безболезненного выхода. Если я останусь, мы разорвем друг друга на куски.

— Неправда. Неправда. Ты не можешь этого знать. Ты просто оправдываешься, потому что...

— Прошу тебя...

— Да, — опомнился он. — Прости.

Она смягчилась. Отчаяние куда-то ушло.

— Ведь мне все это нелегко. Говорить должен ты. И решать тоже.

Он покачал головой:

— Откуда у тебя такая уверенность?..

— Скажи, что относительно Мухобоя я ошиблась.

Он пожал плечами:

— Не знаю. Возможно, ты и права. Но что это доказывает?

— То, что ты не изменился, а я изменилась. В тебе все еще живет мальчишеский энтузиазм любителя научной фантастики. Ты не видишь рутины. Не замечаешь лицемерия Клаймора. Постоянно витаешь в мире собственных иллюзий. Семь лет. С того момента, как я познакомилась с тобой на Гильгамеше, время для тебя остановилось. А у меня уже другие мечты. Я думала, что супружество сумеет вырвать тебя из этого сна, но нет. Для меня он постепенно превращается в кошмар.

— Неужели я действительно такой идиот?

Она рассмеялась сквозь слезы. Схватила его за волосы, потормошила, перевернула на ковер. Они покатились, шутливо переругиваясь, к двери террасы. Свет Гендрикса залил их. Они невольно подняли глаза к висящему на темно-синем небе невероятно огромному шару планеты, диску королевского пурпур — такому близкому, такому далекому, такому прекрасному, такому невероятно чуждому!

Он прижался губами к ее теплой щеке.

— Неужели ты этого не видишь? Не видишь, не понимаешь?

Она вздохнула, ее дрожь отдалась долгой дрожью в нем.

— Нет.

Проход закрылся, платформа ударила в экран, и сигнал тревоги выключился. Ван дер Крёге подошел к расстегивающему ремни Мухобою.

— Приветствую вас на Моррисоне. Петер ван дер Крёге, исполнительный директор.

Мухобой только кивнул. Управился с застежками и спрыгнул на бетон. Снял с платформы мешок и несессер.

— И это все? — мимоходом бросил ван дер Крёге, однако тут же схватил Мухобоя за руку и потянул в сторону. — Давайте лучше поспешим, не то нас «Хассель» раздавит.

Женщина, сидевшая за рулем погрузочного кара, погрозила ему кулаком.

Они направились к широким воротам ангары. Ван дер Крёге внимательно рассматривал Мухобоя, который, не раздумывая, совершенно интуитивно начал ставить ноги так, как того требовала пониженная гравитация. Обычно люди обретали такой навык лишь через неделю-другую.

Ангар соответствовал размерами залу Перехода на Земле и был оборудован точно так же, недоставало только больших черных плит. Кроме Петера, Мухобоя и водительницы кара, здесь находился оголенный до трусов бородатый негр, исступленно копошащийся в механизме пускового устройства; за ним у белой стены стояли на боковой ветке две пустые платформы.

— Вы вспотеете, — сказал ван дер Крёге. — Вам не сказали, как следует одеться? Рекомендую снять свитер, сейчас середина лунного дня, сорок пять градусов в тени.

Сам директор был в сандалиях на босу ногу, шелковых бермудах в цветочек и расстегнутой гавайской рубашке с короткими рукавами. На голове — соломенная шляпа, на носу — солнцезащитные очки.

Они вышли из зала, спускаясь с холма, на котором он стоял. Мухобой прищурился. Красное солнце, неестественно большое, глянуло на них с розоватого неба, густо усеянного чем-то таким, что напоминало цветы, сплетенные из серебра, и что наверняка было здешним аналогом облаков.

Ван дер Крёге проследил за взглядом Мухобоя и понимающе улыбнулся:

— Интересно, правда? Это из-за растительно-животных паразитов, которые размножаются, перелетают с водяным паром, поднимающимся к облакам. Они выглядят еще эффектнее во время параллельного восхода.

— Планета? — спросил Мухобой, и это было первое слово, произнесенное им на Моррисоне. Его голос ассоциировался у Петера с голосом давно скончавшегося актера, в основном игравшего в ужастиках монстров с мертвыми лицами; но так им воспринимались большинство новоприбывших, потому что высокое давление моррисоновской атмосферы удивительно изменяло голоса, а подсознательная интерпретация этого явления уводила бог знает куда.

— Сейчас она под нами. — Ван дер Крёге махнул рукой, указывая в надир. — Вы получили материалы? Вероятно, нет. Все секретное, а? Ну так вот, мы находимся на Моррисоне, это спутник Гендрикса, газового гиганта, который вращается вокруг Джоплены, именно она так нас привлекает. Преждевременная стадия красного гиганта, ясное дело; некоторые подозревают результат космической инженерии. На Моррисоне существуют несколько времен

недели; сменяются они, с точки зрения человеческого организма, чрезвычайно нерегулярно: период вращения Моррисона вокруг Гендрикса составляет неполных четыре земных дня, время оборота вокруг оси почти в два раза короче, орбита экваториальная, замкнутая, близкая к Гендриксу, но внутреннее ядро и вообще плотность Моррисона не соответствуют стандартам, на Рыбе еще действуют несколько вулканов; тем не менее сила тяготения здесь ненормально велика, так что в теории происхождения Моррисона из древней экосферы Джоплены не все абсолютно однозначно. Есть основания полагать, что спутник в свое время был захвачен Гендриксом, впрочем, имеются и совершенно иные гипотезы. Да, вот еще что. Относительно времен недели. Существует полная ночь, когда наше полушарие отвернулось и от планеты, и от звезды, есть просто день и день внешний, в положении нашей луны, противоположном полному ночному. Тогда над нами висят и планета, и солнце, есть «полногендриксение», когда он отражает свет Джоплены, и двойная ночь — с темным Гендриксом. Кроме того, к этой свистопляске надо присовокупить прохождение остальных лун, а их, как говорится, полна кастриоля и даже более того. Кольца планеты в принципе не видно, слишком острый угол. Что еще? Ага, двуокись углерода. Атмосфера Моррисона вроде одеяла, в результате суточных скачков температур здесь должны были бы бушевать страшнейшие ураганы, однако ничего такого нет, у нас тут какой-то зачуханный гомеостат, убедитесь сами, ночью такая же жара. Видите мой загар? А ведь ультрафиолет здесь отсекается лучше, чем дюжиной земных озоновых слоев. Взгляните, девушки жарятся; это новенькие, прибыли три недели назад. Им еще вообще расхочется вылезать из тени.

Две оголенные блондинки лежали одна на спине, другая на животе на газоне рядом с бунгало, мимо которого в это время проходили ван дер Крёге со своим спутником.

Ван дер Крёге, шагая вдоль белого деревянного заборчика высотой в неполный метр, многозначительно показал им на часы и постучал по стеклу ногтем. Девушки нехотя глянули на него и посоветовали сонными голосами отцепиться, оставить их в покое и вообще исчезнуть из их биографий.

— Вот видите, — отреагировал на это Петер, — какая у меня супердисциплина. Хе-хе-хе, исполнительный директор называется. Надо ходить с батогом и вилами. У вас бы получилось, вид у вас такой, что упаси боже.

— Клаймор не стал бы вас здесь держать, если бы ваши результаты не были выше, чем у других кандидатов.

— Это-то я знаю, очень даже хорошо знаю, а вот то, что сначала пришлось навтыкать как следует, — так это уж точно. — Однако он не переставал улыбаться, и все его жалобы не следовало принимать всерьез. Просто он посмеивался над собой ничуть не меньше, чем над другими.

Они свернули на подъездную дорожку к стоящим рядом пяти одноэтажным домикам цвета слоновой кости, построенным из дерева, пластика и стекла в японском стиле, так что даже казалось, будто стены у них действительно сделаны из бумаги. Вошли во второй домик с краю. Петер вручил Мухобою ключ и голосом включил климатизацию. Окна потемнели, повеяло прохладой. Мухобой сложил свой нехитрый багаж у кровати. Он по-прежнему не снимал ни черного пальто, ни свитера.

— Надеюсь, вам понравится, — сказал ван дер Крёге, присаживаясь на выдвинутый из стены складной стул и кив-

ком указывая на глубокие кресла, стоящие вдоль стен салона. — Ненавижу утопать в них, — бросил он, — потом весь позвоночник ломит. Какая радость, что удобно, ежели неудобно.

При этих словах Мухобой слегка улыбнулся. Подошел к бару, звякнул стеклом. Буркнул:

— Роскошь.

— А то! — Ван дер Крёге снял шляпу и кинул на стоящий неподалеку столик. — Загляните в холодильник, там наверняка найдется какое-нибудь пойло.

— Роскошь, — повторил Мухобой и бросил Петеру бутылку.

Тот неуверенно поискав глазами открывалку, потом шлепнул крышкой по поручню стула.

— Удивляетесь? — проворчал он, сделав несколько глотков. — Вначале все удивляются. Думают увидеть какую-то турбазу, военный лагерь, подземные комплексы, роботов, баки для топлива, бетонные купола, силовые поля. Бог знает что еще. Начитались книжек, насмотрелись фильмов. А это все просто не окупается. Ведь здесь прежде всего важен доход, экономия, дорогой мой, экономия. Зачем возводить гигантские укрепления, зачем вгрызаться в землю? Понадобилось бы время, материалы, люди, энергия. Расточительство. Во-первых, мы всегда занимаемся землеподобными планетами, так что необходимость в строительстве замкнутых систем обитания отпадает. Во-вторых, разумных аборигенов, увы, до сих пор встретить не удалось, во всяком случае, мне об этом неизвестно, а значит, и не от кого защищаться. Остается проблема возможной агрессивности местной флоры или фауны. Однако на Моррисоне это неактуально. А посему поступают стандартно: перебрасывают через Про-

ход строительную бригаду, и та возводит в какой-нибудь красочной долинке этакий университетский городок. Уходя, мы его даже не демонтируем, потому что невыгодно снова забирать и увозить материалы. А поскольку стоимость раскрытия Прохода не зависит от массы перебрасываемого товара, а связь с Землей в любом случае поддерживать необходимо, хотя бы в недельном цикле, то как довесок к пище мы бесплатно перетаскиваем сюда все, что хотим. Такая платформа, как наша, перебросит полнебоскреба с Земли. А от нас — и того больше.

— Вирусы, бактерии? — подсказал Мухобой, потягивая из бутылки перье.

— Какие вирусы? Какие бактерии? Вы что, в конвергенцию верите? Это моя одиннадцатая площадка: ДНК — ничего священного, что ни планета, то другой репликатор — один белок отличается от другого. Газоны, акации — все с Земли. Искусственно созданная разновидность, пошебуршили у них в генах, приспособили к несколько иной атмосфере и гравитации и установили жесткую иммунологическую блокаду. Прогуляетесь к холмам, увидите, что тут в действительности растет. Здесь у нас, знаете ли, такие растения, что могут философские диспуты вести.

— Э?

— Вообще с отнесением представителей моррисоновской жизни к флоре и фауне у нас огромная путаница, такое впечатление, что на этой луне обосновалось какое-то третье царство, все многообразие земных творений представлено здесь, пожалуй, только евгленой зеленой. Этакое ни рыба ни мясо. Ведь в принципе здесь расплодились хищные растительноядные, но нет хищных плотоядных. Хищниками являются некоторые растения, а также евгленоиды. Ну и

«древо познания». Собственно, никакое это не дерево, оно и выглядит-то как немного переросший куст. Разумеется — никаких признаков интеллекта. Но эволюция так над ним поработала, что отличить от идиота трудно. Первое время случались забавные ошибки, и неудивительно, потому что если растение вдруг начинает обращаться к тебе по-английски, то черт-те что в голову лезет. Однако это всего-навсего такой способ охоты. Кое-что содержится в генах, кое-что оно как бы запоминает: последовательность звуков, издаваемых потенциальными жертвами. Понимаете — плотоядное дерево. Этакая болтливая росянка. Я предполагаю, что, приманивая здешних квазиживотных, она воспроизводит их брачные сигналы. Что же касается людей — то у нее нет никакого опыта и она повторяет все, что только зарегистрировала. Это создает впечатление бездумно микшированного монолога. Хм, однако такое мнение разделяют не все, моя жена — кстати, ксенобиолог, — считает, что орган деревьев познания, ответственный за сбор и селекцию звуковых данных, проявляет определенную аналогию с мозгом и содержит значительный потенциал... Понимаете — человек через миллиард лет... И так всегда, какая бы это ни была планета — всегда мы появляемся на миллиард лет раньше, как будто мы — какие-то галактические недоноски, получается, черт побери, что Рай представляет собой какой-то мусоросборник гинеколога, ошметки космических абортов, что его, выходит, что...

— Вы перепили?

Ван дер Крёге глянул из-подо лба на подпирающего стену Мухобоя.

— Одного-то пива?

— Я прибыл сюда не ради деревьев.

Петер вздохнул, потянулся.

— Ну что ж, простите. Что б вы хотели еще узнать? Все данные в компьютере: терминал — в кабинете, — он указал рукой, — директория GHOSTS. Если что-то осо-бо... — Его прервал писк телефона. Директор вынул аппа-рат из карманчика гавайской рубашки. Внешне он почти не отличался от обычной кредитной карточки, только надпечат-ка другая — цветной логотип «Q&A». Приложил карточку к уху. — Да? Что еще? Нет, пусть летит. В крайнем слу-чае, если перекинется, устроим ему пышные похороны... Что?.. Прекрасно... — Он убрал аппарат. — Вот так, мистер Мро-зович. Духи. Вы, кажется, знаете. Посмотрим. На сегодня у нас один труп, двое раненых и два спящивших.

— Я знаю о двух умерших.

— Второй не из-за них.

— Понимаю. Посторонние могут их увидеть?

— Что значит «посторонние»? — Ван дер Крёге кисло усмехнулся. — Успокойтесь. Они у нас на видео.

— Появление?

— Эндемическое. В компьютере найдете карту.

— Их можно обойти? Тогда из-за чего весь этот шум?

— Так они ж сидят в самых интересных местах.

— Степень материализации?

— Различная. Порой только действуют на сознание, иногда их даже нет нужды видеть, а все равно драпаешь куда глаза глядят. Но порой устраивают представления с такими эффектами, что куда там Голливуду!

— Откуда вообще известно, что это духи? Может, какая-то особая форма здешней жизни?

— Нет здесь никаких форм жизни. А если и есть, так формы смерти. Увидите — не станете попусту расспраши-

вать. Кстати, приборы их не берут, они проникают насквозь.

— Камера взяла.

— Один-единственный раз. В других случаях люди видели, а машины — нет. Тот дурень, что помер... Он пытался просканировать их лазером. Ноль. Ничегошеньки.

— И что с ним?

— Э, сам себя просканировал. Похоже, кто-то ковырялся в потенциометре. Кто-то либо что-то. Паршивое дело. Рука — здесь, нога — там. Потом я категорически запретил такие фокусы, потому что люди начали пошептываться о гравитационных ловушках.

— А были какие-то опыты, скажем, не столько научного характера?

Ван дер Крёге захохотал, глянул в пустую бутылку.

— Сколько угодно. У меня тут больше восьмидесяти человек двадцати с гаком национальностей; кто-то даже приволок с Земли черного кота и сварил при полном Гендриксе. — Петер отставил бутылку, посерезнел, взглянул на Мухобоя, который хранил неестественную неподвижность, укрытый пальто, тенью и собственной угрюмостью, словно черным коконом. — Поймите, ведь это молодые люди. По правде-то, они ничего не боятся; по правде-то, хоть и верят в духов, не верят в собственную смерть... Чихали они на все на это, вот что. Средний возраст — двадцать пять. Так же как раньше лавиной шли в информатику либо биоинженерию, так теперь лезут в ксенологию. Ведь еще двенадцать лет назад вообще не было такой науки. Это область юных, очень юных. Чтобы их растрясти, требуется кое-что посерезнее, чем один труп и парочка калек. Жизнь продолжается, а это самое большое приключение, которое им дано

было до сих пор пережить. И не удивляйтесь, если вас попытаются соблазнить... есть тут парочка крепких бабёшек. Потом будут хвалиться, что прихватили самого что ни на есть настоящего экзорциста. — Ван дер Крёге взглянул на часы.

— У вас тут какое время? — поинтересовался Мухобой.

— Земного Прохода зоны Перта; иначе неизвестно было бы чего держаться. Сейчас час пятьдесят две пополудни. — Он встал. — Ну, мне пора. В случае чего ловите меня по единице; телефон у вас в шкафчике под терминалом. После полуночи я дома.

— Которой полуночи?

— Той, что на часах. Завтра, когда ознакомитесь с ситуацией, скажете мне, что думаете об этом деле.

Петер протянул ему руку, но Мухобой не заметил жеста. Директор пожал плечами, забрал соломенную шляпу и вышел.

Спустя три дня в четырех метрах над поверхностью Дракона Мухобоем заинтересовалась Сиена д'Аскент.

— А он, случайно, не пидор? — спросила она, слегка шевеля рулевым рычажком, на что конвертоплан реагировал резкими скачками.

Ван дер Крёге это развеселило.

— Нет, ты слышал? — спросил он невидимого Чико, который вел где-то в хвосте машины непрекращающийся бой с аппаратурой, заполняющей пузатый короткокрылый конвертоплан. Вообще-то Чико не должен был ничего слышать, поскольку кабина пилотов была звуконепроницаемой, однако всех трех связывала система внутренней беспровод-

ной связи, и гаитянин тем же путем ответил Петеру, фыркнув в наушниках с притворной яростью:

— Нимфоманка чокнутая!

Сиена пожала плечами, поправила темные очки.

— Думаешь, обижусь? Чуть что, сразу — нимфоманка. Можно подумать, я принуждаю к разврату, растлеваю несовершеннолетних. Кому не нравится, может отказаться. Хотя не припомню, чтобы ты когда-нибудь придерживался строгих принципов, Чико. Да и ты, Петер, директор наш возлюбленный, всегда не против отведать меня. Скажешь, нет? Это ж видно, это чувствуешь: во всяком случае, я чувствую. А вот наш чертов Мухомор, то бишь Мужобой, — тот словно из стекловолокна.

— Нашла коса на камень, — расквитался с Сиеной Чико. — Возвращайся на восьмерку, это уже граница, переходи на «Циклопа».

Д'Аскент надула губки и положила машину в резкий выраж.

— А может, ты слишком высокого о себе мнения? — сказал ван дер Крёге, надевая очки внешнего обзора. — Может, ты вовсе не такая уж неотразимо привлекательная секс-бестия, что каждый мужик, который автоматически не полезет на тебя, — по меньшей мере пидор или евнух?

Она выпрямила курс, сняла темные очки и взглянула на Петера ангельски-голубыми глазами.

— Но, милый мой, я действительно сексуальная бестия, неужто не знал?

Чико принялся напевать какую-то неприличную песенку. Ван дер Крёге, покачав головой, надел очки, отгородившись от гипнотизирующего взгляда Сиены.

— Когда ты дубасишь себя молотком по колену, а нога не дрыгается, так ты о чем подумаешь? — спросила она ван

дер Крёге, глядя через боковое окно на залитый лучами Джоплены Дракон.

— Заткнись.

Ван дер Крёге, блуждая равнодушным взглядом над желтой пущей Дракона, пережевывал истину слов д'Аскент. Сама об этом не думая, она сказала нечто очень важное, сформулировала вывод, к которому постепенно приходил и сам Петер: Мухобой попросту лишен человеческих рефлексов. И дело тут не в человеческих, морально позитивных реакциях, то есть проявлениях жалости, умении сочувствовать и так далее, что дает основание называть данное существо человечным человеком, и не о человеческих эмоциях, то есть слабостях и недостатках. Дело в том, что о Мухобое вообще трудно было сказать что-либо однозначно категоричное, поскольку его намерения и поползновения оставались неизвестными и никто не мог быть уверен, что именно на самом деле он имел в виду под данным словом либо данным действием. Вероятно, будь на его месте кто-либо другой, такую наглую таинственность восприняли бы как глупое комедиантство — в нем же, с его двумястами двенадцатью сантиметрами роста, лицом, подобным посмертной маске, и угрюмым взглядом, было столько же общего с комедиантом, сколько у Сиены с монахиней.

Дракон раскинулся под ними сотнями квадратных километров чуждой жизни. Это была пуща. Название его пошло от формы на карте: дракон с раскинутыми крыльями. Зарегистрированное излучение говорило о происходящих там крупномасштабных «неспонтанных» ядерных преобразованиях — неглубоко под поверхностью Дракона бушевали природные ядерные реакторы. Ван дер Крёге и Чико летали над пущей, пытаясь с помощью «Циклопа» точно установить их положение, размер и мощность.

— Если хочешь знать, я вообще этого не понимаю, — проговорила д'Аскент. — Многое я в состоянии уразуметь, но духи и Мухобой — это уже явный перебор. Во что мы играем, в какой готический роман? Это Моррисон, чуждый спутник чуждой планеты чуждого солнца. Какие духи, Господи? Все тут, похоже, спятили, а уж Клаймор — больше остальных.

— Ну прямо-таки слышу голос Розанны, — буркнул Петер.

— Так слушай ее внимательнее, потому что она, похоже, умная женщина.

— Не знаю почему, но мне казалось, что именно женщинам удается проще освоиться с ситуацией, они как-то легче примиряют противоречия.

— Вот именно: противоречия.

— Не лови меня на слове. Я не о том. Ведь я тебя, Сиена, знаю. По правде-то, тебя интересуют вовсе не сами духи, а антураж. Будь это привидения в каком-нибудь шотландском замке, ты бы первая кинулась фотографировать эктоплазму и науськивать медиума; но поскольку все происходит на чужой планете, то тебя увлекает абсолютно иное мифотворчество, а в нем нет места ночным кошмарам, привидениям и Мухобою. Я же, в свою очередь, не в состоянии понять именно такие рассуждения. У тебя в мозгу возникли какие-то искусственные блокады. Ежели ты на Земле считаешь вероятным существование целого сонма сверхъестественных явлений, непостижимой в обыденной жизни сферы духа, то я, ей-богу, не знаю, почему ты так изменяешься, пройдя через Проход. Есть экзорцисты, есть шаманы, есть йоги, есть ясновидящие, есть медиумы, есть одержимые. Все это «зона человека». Но ведь в космосе существует не только человек. И они — или, по-твоему, Чужаки — не могут,

не имели, не могли иметь своих верований, своих предрас-
судков, более или менее справедливых? Чего ради мы дол-
жны быть исключением? А? Ну а теперь подумай сама —
почему тебя удивляет Мухобой? Одни интересуются вуду,
другие коллекционируют засушенные черепа охотников за
головами в Новой Гвинее, а он — специализируется на
магии Чужих. Ну, давай найди тут, черт побери, какое-
нибудь противоречие!

— Ну-ну, не нервничай, дорогой, злость вредит красоте.

Он невольно рассмеялся:

— А, иди ты!

Она похлопала его по плечу:

— Где можно записаться в фанклуб Мухобоя?

— Я нашел очень хорошую поляну, от почвы едва кило-
беккерель, — сказал ван дер Крёге, решительно сменив
тему. Он вывел изображение на обзорное стекло и снял
очки.

— Спускаемся, Чико? — спросила Сиена.

— Я бы перекусил малость, — признался гаитянин, и
д'Аскент начала маневр посадки.

В эллипсоидальной поляне было по большой оси метров
пятьдесят; Сиена мягко снизилась, повернула двигатели на
девяносто градусов и опустилась отвесно в самом центре.
Грунт здесь был слегка волнистый, небольшие пологие хол-
мики покрывали бледно-голубые квазицветы. Они вышли,
потянулись. Д'Аскент стала привычно обходить машину, выс-
матривая повреждения. Чико вытащил из люка набор по-
ходной посуды и автоматическую кухоньку, загруженную
обедом.

Ван дер Крёге поставил свой стульчик в тени крыла,
уселся поудобнее, вытянул ноги, нацепил на нос зеркальные

очки, похлопал по карманам, нащупал телефон, вынул его, включил.

— Ну и что? — спросила Сиена, появившись с другой стороны машины.

— Глухо, — вздохнул Петер. — Не понимаю я, ведь, теоретически рассуждая, сигнал должен был бы пройти. Нет, надо будет приволочь сюда с Земли пару ракет и вывести стационарные спутники.

— Для начала рассчитай, не сдернет ли их Гендрикс, — посоветовала Сиена, сбрасывая куртку. — Если это вообще возможно, тут ведь уравнение нескольких десятков масс, а нам нужны очень жесткие и очень высокие орбиты.

— В крайнем случае установим коррекционные, на время нашего пребывания здесь горючего наверняка хватит.

— Какая у Моррисона первая космическая?

— Блинчики или пирожки с курицей? — вклинился полуголый Чико, манипулируя у кухоньки.

— Давай курицу.

— Мне тоже, — решила Сиена, переставляя свой стул так, чтобы целиком уместиться в тени крыла.

— Хм... что-то около двух километров в секунду, — сказал Петер, постукивая себя телефоном по подбородку.

— И-и! Так я бы тебе эти спутники вывела на Г-32, маленьким носителем за стратосферу, никаких ракет не потребуется.

— Г-32! Ты что, чокнулась? Знаешь, во что это обойдется? Экономия, дорогая, экономия; ты для начала подсчитай, прежде чем говорить. Ну и что, что ракеты — примитив, если этот примитив окупается? Ведь проще всего было бы выплевывать эти спутники через приподнятый на несколько километров Проход, но это тоже дороговато.

Что там, Чико? Только не говори, что у тебя цыпленок подгорел.

— Господи Иисусе, — шепнул гаитянин и размашисто перекрестился.

Ван дер Крёге и обмахивающаяся бортжурналом Сиена взглянули туда, куда уставился Чико, а Чико таращился на опушку леса, находившуюся от них в двадцати метрах. Оттуда выходили духи.

Все трое вскочили на ноги.

— Ну ладно, — прошипел ван дер Крёге. — Ну славно. Где камера?

Молчание.

— Чико, — повторил ван дер Крёге. — Бегом за камерой!

Чико раком забрался в машину.

Д'Аскент наклонилась к курточке, вынула солнцезащитные очки и нацепила на нос: очки пилотов могли, кроме всего прочего, увеличивать изображение.

— Ну? — спросил ван дер Крёге.

— Идут на нас.

— Сколько? Трое?

— Трое.

— Плотнеют?

— Угу.

Вернулся Чико.

— На! — Он бросил Петеру камеру.

Петер приложил прибор к глазу, включил. Духи плыли к ним в фуре над землей. Он начал записывать. Как и в предыдущих случаях, это были туманные, полупрозрачные призраки существ, превышающих ростом человека, кажущихся очень массивными. Однако рассмотреть от-

дельные части их тел практически не удавалось, хотя в общем было видно, что их покрывает что-то вроде плюща, переплетенного толстыми жгутами и прикрытого мутными пленками. Туловище? Голова? Конечности? Явное отсутствие. Скорее всего они относились к какому-то подклассу евгленоидов, потому что цветом плющей — сернисто-желтым — походили на моррисоновскую растительность, однако ван дер Крёге не должен был забывать, что это не жизнь, а смерть, и такие ассоциации вряд ли имели какой-то смысл, будучи всего лишь приравниванием неизвестного к неизвестному.

— Спринтерами их, правда, не назовешь, но осталось всего пятнадцать метров, Петер.

— В машину! — распорядился ван дер Крёге, не отводя объектива от духов.

Приказ был выполнен немедленно.

Ван дер Крёге снимал до тех пор, пока духи не оказались в шести метрах от него. Тогда он забрался в машину, присел в дверях и пристегнулся ремнем безопасности. Сиена подняла конвертоплан на высоту трех этажей. Петер продолжал съемку. Духи остановились у стульев и столика с кухонькой.

— А ведь сожрут наших цыплят-то...

— Чтоб они подавились.

Несколько секунд духи висели неподвижно, потом растворились в воздухе.

— Продолжим завтрак?

— Ты спятила?! Наверх и в поселок; на сегодня хватит!

Во время полета Петер несколько раз просмотрел запись, так как на этот раз духи «позволили» себя заснять и были

зарегистрированы с такими подробностями, каких никогда еще не удавалось зарегистрировать.

Как только они вышли из электромагнитной бури Дракона, Петер набрал номер Мухобоя. Тот не ответил. Тогда он перезвонил Зеленому Ясю, выполнявшему обязанности заместителя директора.

— Иди и разбуди нашего экзорциста, у меня четверть часа чистой записи встречи с ними на Драконе.

— С кем?

— Ну, с призраками. Буди Мухобоя. Мы будем через... час десять.

Зеленый Ясь пробормотал что-то невнятное.

— Что такое?

— Я говорю, нет его, — фыркнул Ясь. — Забрал свои шмотки и ушел.

— Куда ушел?

— Я знаю? Куда-то. Он пробовал связаться с тобой, но ты был над Драконом, тогда он позвонил мне. Сказал, что идет улаживать дело. Не мог же я ему запретить!

— Но хоть задержать до моего возвращения мог?!

— Как?

— Ладно, бог с ним. Телефон он взял?

— А почему бы не взять?

— Не знаю. Он не отвечает. Не спит же на ходу.

Где ты?

— В кабинете.

— Бери роллер и жми к нему, проверь в ящиках... и вообще.

— Это так важно?

— Если аппарат взял, а не отвечает, значит — не может. Надо бы кого-нибудь послать на сигнал его передатчика, он уже может там гнить.

— А передатчик у него вообще-то есть?

— Ему дали перед Проходом в бутылке с колой. Он, наверное, даже не заметил, как проглотил. Проверь в пакете Клаймора, там у него подробные данные, в том числе характеристика сигнала.

— Если он действительно пошел ловить духов, то передатчик нам не поможет.

— Это верно. Дракон.

— Дракон. Ну так что? Ехать?

— Пошли кого-нибудь. Ну дела! Клаймор мне башку свернет.

Аппарата не было. Во всяком случае, они его не нашли. Походило на то, что Мухобой либо не объявляется сознательно, либо связь глушит электромагнитный рев Дракона, или же попросту Мухобой не принимает их вызовы, потому что не может. Отсутствие сигналов личного передатчика говорило скорее в пользу второго предположения, однако не исключало и того, что Мухобой лежит хладным трупом где-то посреди Дракона и они уже не отыщут его никогда.

Ван дер Крёге пытался обратным ходом восстановить действия Мухобоя. Это было чрезвычайно трудно: Мухобой явно избегал чьего-либо общества. Скорее всего он ознакомился с собранными сведениями о привидениях, просмотрел съемки, прочитал экспертные заключения и доклады. И уж наверняка разговаривал с Торном, который после несчастного случая на Драконе залечивал, вопреки указаниям врачей, на месте сломанную конечность.

— Что он хотел знать? — спросил Торна Петер.

— То же, что и все. Что именно меня испугало. Он провел со мной сеанс дурацкого психоанализа. Он рисует?

— Не понял.

— Рисует, говорю? Ну, понимаешь? Портрет. Или фотографирует?

— А что?

— Ты заметил, какой у него взгляд? Судя по фамилии, он родился где-то в Восточной Европе. В том культурном кругу это ненормально. Там или смотрят в глаза, или вообще отводят взгляд, иначе человека начинают принимать по меньшей мере за невежу, если не за сознательного наглеца.

— А он?

— А он — как художник. Сразу все тело — без деления на части. Нет чтобы видеть лицо. Он смотрит. Смотрит. Ты и вправду не заметил?

Потом оказалось, что доктор Флавио видел Мухобоя, отправлявшего моррисоновской ночью за своим бунгало какой-то ритуал.

— Что именно? Конкретно?

Флавио почесал пупок.

— Конкретно? Не знаю. Я не присматривался.

— Так почему же сразу вот так — «ритуал»?

Флавио слегка обиделся. Поудобнее устроился в шезлонге.

— Понимаешь, стоит типус на газоне в чем мать родила, проделывает какие-то таинственные tai chi, бормочет себе что-то под нос на незнакомом языке и плюется, что твоя лама; все это с каменной физиономией и такими напряженными мышцами, будто пытается расталкивать руками воздух по сторонам.

— И что?

— Что «и что»? Ждать, пока он меня заметит? Какой-то чокнутый шизик, вот что!

Ван дер Крёге ничего не понимал. Еще раз просмотрел информацию, присланную Клаймором, но не нашел ничего

интересного. Он вспомнил о второй встрече с Мухобоем на следующий день после прибытия на спутник. Он ожидал услышать хотя бы схематический план действий, предварительную оценку — а между тем Мухобой отметил только, что у него слишком мало данных, нет еще сложившегося мнения и ему сначала надо войти в «более близкий контакт». Близкий контакт! Господи Иисусе! Не иначе как на том свете, где же еще-то? Мухобой даже не пытался вселять в Петера надежду.

«Справитесь?» — спросил его тогда ван дер Крёге.

«Посмотрим», — ответил Мухобой.

Одет он был во что-то вроде японского кимоно, на спине по голубому фону извивался черно-красный дракон. Одежда была, разумеется, сшита по размеру.

«Как вам нравится наша маленькая луна?» — спросил его под конец Петер, пытаясь выжить из Мухобоя хотя бы видимость вежливости.

«Доводилось видеть менее жестокие», — ответил Мухобой и вышел.

Долго потом раздумывал ван дер Крёге о значении этого ответа и в конце концов пришел к выводу, что произошло какое-то недоразумение — вероятно, кто-то из них ослушался.

Розанна только что вернулась с наблюдений за дикими деревьями познания; он нашел ее в саду.

— Через три часа у нас плановая переброска, — сказал он, присев на ступеньках задней веранды. — Я смотаюсь на неделю на Землю. Ясь без меня управится, а мне надо прижать Клаймора.

— Этот Мух доконал тебя вконец?

— Чертовщина какая-то, я не знаю, как это выглядит с юридической стороны. Не пойму, что он такое, этот Мрозо-

вич. Похоже, он и вправду псих. — Петер обмахнулся шляпой. — А что, если нашему Уинстончику привиделась какая-то новая авантюра?

— Глупо все это.

Петер пожал плечами:

— Многомиллиардная корпорация, дорогая. Мы, пигмеи, можем самое большее гадать по костям выплюнутых мною жертв. Привезти тебе что-нибудь?

— Твое заявление об отставке, подписанное Клаймором, — проворчала она, вводя в подопытное дерево познания, помеченное номером шестнадцать, какой-то наркотик.

— Двадцать восемь не приведи господь если свалится иди-иди-иди, — пропищало дерево голосом Розанны.

— Иду, иду уж, — вздохнул Петер, вставая.

Ближайшее свободное время выпало Клаймору лишь спустя два дня. Он пригласил ван дер Крёге на обед в нью-йоркский ресторан «Четыре сезона».

— Я прослушал твой рапорт, — сказал он, обмахиваясь меню. — Смутный.

— «Смутный» — это еще слабо сказано, — проворчал Петер. — С чего тебе взбрело в голову присыпать мне этого Мухобоя? С первого взгляда видно — законченный психопат.

— Думаешь, не знаю?

— Тогда в чем же дело?

Клаймор отпустил официанта и быстро провел рукой под крышкой стола, выключая прослушивающую аппаратуру.

— В чем? Я делаю что могу, а не что хочу. Мне ведь пришлось уламывать его лично. Я что, по-твоему, мазохист? Мне за это платят, и притом немало, но, уверяю

тебя, разница в размере наших окладов значительно меньше, чем в грузе лежащей на нас ответственности.

Ван дер Крёге раздраженно покачал головой. Он был в обиде на Клаймора уже за то, что тот выбрал для разговора именно это место: Петеру пришлось вырядиться в костюм, а все его костюмы из домашнего гардероба оказались мало того что давно устаревшего покроя, так еще и неудобными в носке, потому что у ван дер Крёге за время внеземных вояжей изменилась фигура — тут ему жало, там было слишком свободно; после возвращения к чудовищно огромному тяготению Земли у него случались легкие головокружения, а как-то раз он даже потерял сознание, пришлось принимать лекарства, улучшающие кровообращение; ступни распухли и не желали умещаться ни в одном нормальном виде обуви, поэтому он ходил в сплетенных из ремней индейских мокасинах, позаимствованных у знакомого космонавта-пенсионера. В результате он чувствовал себя сейчас словно нувориши, обманным путем проникший в салон. А тут еще и загар. Даже волосы у него выгорели, на что до сих пор он не обращал внимания, но их контраст с темным костюмом прямо-таки бросался в глаза.

— Меня беспокоит правовой аспект, — сказал он, отложив меню. — Ведь этот человек мультимиллионер. У него связи. Стоит разойтись слухам, что его хватил удар на моей луне, и законники отшлифуют себе клыки на моих костях. Ты прекрасно знаешь, что это за юридические хищники! Мне необходимы копии всех подписанных им документов.

— На многое не рассчитывай, — угрюмо заметил президент.

— Все построено на доверии и лояльности?

Клаймор показал взглядом, что нет.

— Ну а в случае чего?

Клаймор снова показал взглядом, что-де нет.

Петер застонал, прикрыл глаза рукой.

— Не устраивай сцен, люди смотрят, — проворчал президент.

— Как ты мог выпустить его без всякой гарантии? А что, если он себе всего лишь ноготь сломает? Ведь его гиены не оставят на моих мослах ни грамма мяса! А компанию... Господи, компанию вообще пошлют с сумой по свету! Ты представляешь себе такой процесс? Ручаюсь, что нам придется впустить на Моррисон Мухобоевых адвокатов, не говоря уже о присяжных и судьях, которым на верняка понравится задарма прогуляться через Проход. Клаймор, ну и дурень же ты, парень, дурень!

— Но-но, достаточно! Выпустил пар, теперь успокойся!

— Ты мне только объясни почему? На тебя затмение нашло, да? Охмурило что-то?

— У меня не было выхода, чудак-человек! — прошипел Клаймор, наклонившись к Петеру. — Через месяц я должен получить полную опись содержимого Дракона, а через два там должно начаться снятие верхнего слоя почвы. Ваши сраные духи прикрывают всю компанию. Если б потребовалось, я поцеловал бы Мухобоя в задницу.

Ван дер Крёге насупился:

— Я тут чего-то не понимаю. У «Q&A» какие-то сложности?

— «Какие-то сложности»! Ничего себе! Ты думаешь, почему пал Оркан? Это же мероприятие с неизвестным уровнем возврата вложений. Русская рулетка; стреляем в звезды: или пан, или пропал. Нет формулы для определе-

ния максимального терпения инвесторов. Вот уже полгода я только и делаю, что хапаю кредиты. Ты знаешь, что такое милосердие Контрольного совета? Так вот: не существует ничего подобного! Они вложили в бизнес миллиарды и миллиарды, а пошел уже десятый год отрицательного баланса. «Q&A» жрет деньги, как дракон! Дракон, Петер, Дракон! Вот в чем наше спасение! Уран, Плутон; наряду с еще более редкими элементами и артефактами Чужих это единственные товары, импорт которых из-за Прохода покрывает расходы. Если немедленно и полным ходом тронется с места эксплуатация Дракона, то, возможно, мне еще удастся в этом году выйти на небольшой плюс. Понимаешь, Петер? Мы ежедневно проводим предварительную разведку по меньшей мере дюжины планет; ежедневно я молю Господа даровать мне спасение. Это лотерея! Бессмысленны любые бизнес-планы, любые прогнозы. Я вынужден тянуть, пока удастся, потому что... ну, вот-вот, еще один день, еще один час — и тут вдруг может открыться Эльдорадо, Рай II. А пока что я латаю дыры в днище тонущей лодки, вычерпываю воду решетом. Человече, да у меня половина пищеварительного тракта искусственная, здесь и здесь присажены кардиологические, эндокринные, неврологические и божественные еще управляющие модули. Я сплю два-три часа в неделю. Я самый стрессированный человек на Земле. А ты являешься и жалуешься мне на Мухобоя! Процесс! Это ведь тоже кое-что! И это еще оптимистическая картина, ведь для того, чтобы компанию могли призвать к ответу, эта компания должна существовать, иначе наш типус может надеяться самое большое на участие в разделе имущества несостоявшегося должника.

— Раны Господни, Уинстон...

— А теперь давай-ка пообедаем, как положено порядочным людям.

Пообедали. Во время обеда Клаймор провел по проводному аппарату столика около двадцати кратких разговоров. В перерывах ван дер Крёге пытался выудить из президента хоть что-то конкретное.

— Я хотел бы по меньшей мере знать официальную точку зрения юридического отдела, — проворчал он, поедая генетически улучшенную устрицу размером с омара. — Если погибает кто-то на борту корабля в открытом океане, то этот факт подпадает под юрисдикцию государства приписки корабля. То же самое на орбите. Луну и Рай уже разделили на части не хуже Антарктиды. А как дела с планетами компаний? Ведь у нас такая сложная структура собственности, настолько перепутанная, что нельзя и говорить о каком-то государственном патронате. И вообще можно ли нам предъявлять иски? Ведь если нельзя, то — по крайней мере в этом вопросе — проблем нет. Поясни, пожалуйста, по доброте своей.

— Ты не понимаешь главного, Петер. Существование всей этой юридической каши — как раз в наших интересах. Отсутствует какая-либо однозначно установленная процедура в подобных случаях — вот и прекрасно! Это дает нам абсолютную власть над всем, что находится по ту сторону Прохода вкупе с людьми. Правда, теоретически Мухобой мог бы нас в порядке гражданского иска привлечь к суду, территориально расположенному в месте регистрации компаний, как субъект права, но юридический отдел дает девяносто пять процентов против пяти, что заблокирует подобный шаг уже в самом начале, со-

славшись на приоритет международного права и соответствующую процедуру экстрадиции, то есть никакой казуистикой не удастся доказать, что твой чертов Моррисон представляет собой неотъемлемую часть Каймановых островов.

— Ну хорошо, покончим с этим, — вздохнул ван дер Крёге. — А как с Мухобоем?

— Что — «как»?

— Этот идиот в одиночку отправился на территорию Дракона.

— За это ему и платят. Район духов, да? Я ему плачу за то, чтобы он их изгнал, и, поверь мне, гонорар далеко не маленький. Как ты думаешь, почему я послал туда Энквиста, почему приказал тебе лично заняться каталогизацией запасов Дракона? Эксплуатация начнется в любом случае, никакие духи меня не остановят. Все — вопрос баланса потенциальных расходов и доходов. Если духи действительно способны напугать человека до сумасшествия, а то и убить, я должен считаться с накапливающимся запозданием и необходимостью постоянного пополнения личного состава за время, короче недельного, что может помешать мне наскрести еще в этом году хотя бы минимальную прибыль. А этого я, в свою очередь, допустить не могу, потому что пара десятков миллионов сверх или ниже нуля — хотя, рассматривая вопрос трезво, в этом для Контрольного совета нет большой разницы — будут означать успех или провал моей миссии. Это символ! Первый год доходов! Улавливаешь? В конечном счете еще может оказаться, что твои чертовы духи завалили компанию. Если б у меня под рукой было больше таких Мухобоев, я послал бы туда их всех. Я не могу пренебречь предрассудками, если ты это имеешь в виду.

— Последняя соломинка утопающего?

Клаймор пожал плечами:

— Люди, которым я доверяю, гарантировали мне, что он действительно в состоянии справиться с подобной проблемой.

— Кто он, собственно, такой? Откуда взялся? Что ты о нем знаешь?

Президент беззвучно рассмеялся:

— Ты хочешь знать — не сумасшедший ли? По правде говоря, мне наплевать. Может, даже лучше, если б он оказался психом, хрен знает, что надо, чтобы покончить с этими духами, может, как раз сумасшествие.

— Ты наверняка малость понюхал, прежде чем предложил ему работу.

— Само собой. Стандарт. Мне шпики помогли создать на него досье толщиной в три стека.

— И что?

— Родился в Тарнове, в Польше; арабистика, жена, один ребенок. Тогда он вовсе не был богатым, подрабатывал ночами на переводах. Подай-ка... благодарю. Заинтересовался верованиями примитивных народов, ездил, собирая, там стипендия, тут какая-нибудь халтурка; Средиземное море, Красное, Карибы, Огненная Земля, Черная Африка, Турция. И где-то там познакомился с шейхом Шахрадом. Сообщения об их первой встрече туманны и противоречивы: повздорили, подрались, один спас жизнь другому — разные версии ходят. Во всяком случае, он начал работать на шейхов фонд. Потом шейх открыл свой Проход. Поступили первые артефакты с Раи. Шейх пригласил его на одну из своих планет. Вероятно, тогда-то и пролезла в мозг Мрозовичу вся эта «чуждая магия». Потом были следующие планеты.

Теперь уже трудно докопаться до подробностей, потому что, сам понимаешь, ни ему, ни шейху, да и не их людям нет смысла распространяться о своих делишках. Поэтому неизвестно, что, собственно, там случилось. Вытащили его из Прохода в состоянии клинической смерти, с ходу — в лечебницу шейха. Реанимация, реанимация, в сумме выкинуло его из жизни больше, чем на полчаса, просто чудо, что он вообще очухался. По общему мнению, после этого случая и охладились отношения между Шахрадом и Мрововичем, у которого явно возникли к шейху претензии. Он ушел из фонда, развелся с женой. Ни с того ни с сего пристрастился к биржевым операциям. Начал с очень скромным капиталом, но, как ты, вероятно, знаешь из фильма о нем, за несколько лет превратился в чудовищного мультимиллионера. Невероятная карьера! На анализе его биржевых махинаций многие защитили докторские, он шел исключительно на самых крупных ставках без единой ошибки; против него возбудили сотни процессов по обвинению в бесстыдном использовании конфиденциальной информации — все были замяты, никаких доказательств, хоть это и противоречит логике. Ведь откуда-то он, черт его возьми, мог знать... М-м... Примерно так все это выглядело. Если тебе это так важно, я перешлю тебе его досье.

— А откуда возникло прозвище Мухобой?

— Кто его знает? Пошло вроде бы от арабов из обслуживающего персонала Прохода шейха, незадолго до или вскоре после несчастного случая... Сдается — перевод какой-то их идиомы; впрочем, не уверен. — Клаймор отер губы салфеточкой, взглянул на ван дер Крёге. — Так уж он тебя допек?

Петер поморщился:

— Понятия не имею, что с ним делать. Полез в этот Дракон — ручаюсь, и костей не найдем. Ну так как, посыпать за ним людей, собак? Или плюнуть и растереть? С другой стороны — духи. Они у меня тоже вот где сидят. Но так же нельзя, Уинстон, ты присылаешь мне чокнутого шамана, я даже не знаю, кому он подчиняется. Кто кого должен слушаться? «Любая возможная помощь», тоже мне... Если я вынужден возвращаться на Землю и отсиживаться с тобой в роскошном ресторане в надежде, что ты наконец соблаговолишь объяснить мне что к чему, так чего же, ё-моё, ты от меня ожидаешь? Если бы я не подсуетился, то, наверное, до самого конца не знал о твоем плане и свалилась бы на меня вся твоя авантюра с Драконом совершенно неожиданно... А я уж подумал было, что Мухобой — какой-то твой негласный инспектор! Не играй с людьми так, это скверные шуточки. Если ты собираешься взяться за Дракон всерьез, то для начала пришли мне несколько ракет на самодной установке, чтобы я мог поместить на орбите спутники связи, лучше всего лазерные системы «Эика», иначе сквозь рев Дракона не пробьешься, обычная связь в том районе не работает. У спутников должен быть крепкий запас горючего для коррекций, потому что с Гендриксом и его мусором у нас там «казус Юпитера» в квадрате.

Президент вздохнул, обмахнулся платочком:

— *Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa**¹, не бей лежачего, не то облюю тебе твои мокасины. Получишь, получишь все. Что до Мухобоя, то я не могу в служебном порядке разрешить тебе командовать им, потому что его наняло управление для разовых услуг, но если ты каким-то образом столкнуешься с ним на месте — я одобрю. Впрочем, проблема эта чисто академическая, потому что, как ты сам

* Моя вина, моя вина, моя великая вина (лат.).

говоришь, Мухобой уже наверняка принят матушкой землей, то бишь батюшкой Драконом... Что же касается духов... У меня возникла мысль выжечь всю драконью пущу напалмом.

— В атмосферных условиях Моррисона это самоубийство, ничего больше.

— Знаю, — кивнул Клаймор. — Я только хочу, чтобы ты понял, до чего я дошел. Любые средства уже не кажутся мне чересчур радикальными. Продумай все сказанное и дай необходимые заявки.

Петер откинулся на спинку кресла, глянул в потолок.

— Значит — война, — буркнул он. — И с кем? С духами!

— Война.

Зеленый Ясь как раз завершал девятую полусотню в открытом бассейне под кровавым Гендриксом моррисоновской полуночи, когда прибежала Сиена д'Аскент.

— Вылезай из воды, чемпион!

Он не услышал.

Она подняла с его брюк телефон и кинула в него. Ясь оглянулся, подплыл к бордюру.

— Ну, чего? Чем ты в меня кинула? Что ты себе позволяешь, Сиена, думаешь, тебе все дозволено, потому что у тебя такие шикарные сиськи? Я — твой начальник. Могла бы быть попочтительнее. Запишу тебе выговор.

— Заткнись и вылезай. Мухобой вернулся.

Ясь вылез, глянул на брюки.

— Это был телефон. Ты же могла мне глаз выбить!

— Бедняжка! — Она подала ему полотенце. — Получай, вытрясишь, у тебя яйца трясутся.

— Ну что там с этим Мухобоем?

— Приполз и хотел встретиться с Петером. Кажется, звонил ему, а потом тебе, но ты плескался в ванночке. Тогда он набрал следующий номер, тройку, это, как тебе известно, Розанна. Она тоже пыталась выловить тебя и в конце концов послала меня. Они ждут в кинозале. Ну, поторопись.

— Не погоняй, не погоняй, — бормотал Зеленый Ясь, затягивая штанины. — Что он говорит?

— Кто?

— Ну, Мухобой.

— А ничего. Не знаю. Пока ждет. Вроде бы немного не в себе, во всяком случае, так это назвала Розанна, ну а в действительности, возможно, едва дышит. Идем.

Они пошли. По пути Ясь мотал головой, вытряхивая воду из ушей. Сиена позвонила Розанне:

— Да. Уже.

Гендрис стоял во всей красе своего королевского пурпуря, иссеченного полосами ярких и не столь ярких теней, каждая в отдельности в несколько тысяч километров, хаотично крапленного темными пятнами лун и большим кругом самого Моррисона, который был как раз на половине поворота к Джоплене, скрытой где-то в надире. Тела Сиены и Яся окрасились цветом разбавленного малинового сока, их тени плыли по газону зыбкими озерцами тьмы.

Розанна и Мухобой сидели в пустом фойе бездействующего игрового комплекса за столиком кафе. Опершись о крышку соседнего столика, стоял Пуласки, сейчас выполнивший обязанности заместителя исполнительного директора по вопросам безопасности. Свет был приглушен, сквозь прозрачную стену в фойе вливались отблески планеты. Пуласки, который всего несколько часов назад вернулся из полета на Рыбу, южный континент Моррисона, затягиваясь

сигаретой, поглядывал на Мухобоя. Мухобой сидел неподвижно, опустив веки; его одежда была в плачевном состоянии, порванная, вывалянная в какой-то непонятной гадости, местами обгоревшая. Над левым глазом на лбу краснела длинная царапина, уже покрывшаяся коркой засохшей крови.

Ясь придвинул себе стул напротив Мухобоя, Сиена, поздоровавшись с Пуласки, присела на стойку бездействовавшего бара, подтянула длинные ноги и скрестила их чуть ли не в позе лотоса.

— Где вы были? — проворчал Зеленый Ясь, уставившись в находящееся в метре-полутора лицо Мухобоя. — Не могли хотя бы сообщение оставить? Почему не отвечали?

— Я должен был решить задачу, — сказал Мухобой, едва приоткрав глаза. При этом он проделал какой-то странный дрыг-рывок бедрами, однако руки его по-прежнему безвольно висели вдоль туловища. — И решил. Неприятностей с духами больше не будет.

— Как же! — фыркнула Сиена, занятая тем, что доливала в шейкер напитки.

— Думаете, мы поверим на слово? — поморщился Ясь. — Что вы, собственно, сделали?

— И вообще вы знаете хоть, в чем там дело? — спросил Пуласки, стряхивая пепел за спину, туда, где, по его мнению, должна была находиться пепельница, стоявшая на середине столика, на который он опирался. — С этими духами. Э?

— Разумеется.

— Итак? — настаивала Розанна. — Ну, нам из вас каждое слово клещами вытаскивать, что ли?

— Я считал, что доложу обо всем директору.

— Нет его. Вернется послезавтра. А пока — дождите нам.

— Это значит кому?

— Это значит — мне! — разозлился Зеленый Ясь, наклоняясь к Мухобою. — Ну, начинайте наконец!

Мухобой старательно закинул ногу на ногу, заморгал, взглянулся на Яся. Если не считать глаз и губ, лицо Мухобоя оставалось неподвижным, словно кто-то заблокировал нервы, управляющие его мимикой.

— Разумеется, это были духи обитателей Моррисона.

— Обитателей? Вы имеете в виду разумных обитателей? — догадалась Розанна.

— Да.

— Подохли, а теперь пугают? — иронически усмехнулся Пуласки.

— На Моррисоне нет ни одного разумного вида растений, животных или евгленоидов, — тут же заметила Розанна.

— Может, уже вымерли! — воскликнула Сиена со стойки бара, переливая коктейль из шейкера в стакан.

— Нет и никогда не было, — проворчала Розанна, посматривая на д'Аскент.

Сиена молча подняла в ее честь бокал.

— Направление вектора времени здесь не имеет никакого значения, — сказал Мухобой. — Духи — это эманации живых существ, когда сами они не живут. Магия бывает разная.

Ясь и Пуласки переглянулись.

— Вы утверждаете, — недоверчиво спросил первый, что они появляются обратно течению времени? Так сказать, вспять?

Мухобой какое-то время молчал, явно обдумывая подходящую формулировку; в наступившей тишине Сиена д'Аскент грохотала брошенными в бокал кубиками льда.

— Это тоже неверно, — сказал он наконец.

Все ожидали продолжения. Но продолжения не было.

— Тогда в чем же истина? — процедил сквозь зубы Зеленый Ясь.

— Всякая бывает магия, — спокойно повторил Мухобой. — Колдуешь как видишь. Как слышишь. Как чувствуешь. Как живешь. Человек. Нечеловек. Чем является время для дерева? И дальше: чем время не является? Если умираешь — то куда? Надолго?

— Но что за бред! — воскликнула Розанна. — Что вы знаете в действительности? Чего вам, собственно, удалось добиться?

Ее снова перебила д'Аскент:

— Вы говорите, что перед нами духи будущих жителей Моррисона; но из какого они будущего?

— Заткнись, Сиена! — шикнул Зеленый Ясь.

— Нет-нет! — замахал рукой, не выпуская недокуренной сигареты, Пуласки. — Она правильно спрашивает. Прошлое — одно, но будущих много. Аналогично: миллиард лет назад на Земле могли появляться призраки как гуманоидов, так и динозавров. И бог весть кого еще, но в конце концов все свелось к нам. Я правильно говорю, мистер Мрозович? Такова логика. Но кто те, чьи призраки появляются здесь? Неужто духи всех возможных моррисонян боятся друг с другом за будущее владение планетой? А?

— Совершеннейший идиотизм, — буркнул Зеленый Ясь, почесывая шею.

— Они боятся с нами, — сказал Мухобой.

— Что-что?

— Минутку, — вклинилась Розанна. — Давайте сначала разберемся, чтобы потом не было недоразумений: речь

идет о коренных жителях Моррисона, не о каких-то пришельцах с других планет. Так?

— Так, — ответил Мухобой.

— Что значит «бьются с нами»? — настаивал Зеленый Ясь. — За что бьются? За Дракон?

— За себя.

— Тогда почему они выбрали Дракон?

— Полагаю, просто потому, что вы уделяете ему так много внимания. Они бьют по самому чувствительному месту.

— Вы так думаете?

— Ведь я их не понимаю. Это не моя радость, это не моя любовь.

— Не понял.

— Простите. Не имеет значения.

— Я по-прежнему не понимаю, — начал Пуласки.

— Чего же ты не понимаешь? — фыркнула Сиена, прикладывая холодный бокал к щеке. — Все ясно. Они хотят нас прогнать, пока мы не переработали Моррисон настолько, что на нем в результате эволюции не возник бы никакой интеллект, а значит, и они. Очень прагматичные духи, ничего не скажешь... За их здоровье!

Какое-то время все переваривали слова д'Аскент.

— Совершеннейший идиотизм! — взорвался наконец Зеленый Ясь, уцепившись за эти слова, словно за спасительный круг. — Логики ни на грош! Сказки, сказки он нам рассказывает!

— Сказки сказками, а духов я видела собственными глазами... — пробормотала Сиена, заглядывая в опустевший бокал.

— Мистер Мрозович, — Пуласки отбросил бычок и махнул рукой, чтобы привлечь внимание Мухобоя, — поду-

майте немного. Положим, мы не уберемся отсюда и изничтожим здесь всю коренную флору, фауну и что тут еще живет; тогда в будущем не будет никаких моррисонян, кроме обосновавшихся здесь людей. Тогда кто же, черт побери, шастает тут по Драконовской пуще? Чьи духи? А? Я вас спрашиваю.

Мухобой подумал, пожалуй, с минуту и сказал:

— Не вижу противоречия.

Пуласки громко выдохнул воздух и воздел очи горе:

— Сдаюсь. Он — сумасшедший.

Мухобой пронзил его ледяным взглядом:

— Вы меня оскорбляете.

— Нет, это вы оскорбляете мой интеллект, — тут же ответил Пуласки.

— Вы меня оскорбляете, — повторил Мухобой и встал.

— Но-но-но — только без этих... — возвысил голос Пуласки, подняв голову и отступая за столик.

— Мистер Мрозович, успокойтесь, нечего тут бузу разводить, будем серьезными, — вступил Зеленый Ясь.

Мухобой сел.

— Простите. Мне не следовало.

— Вы сказали, что они больше уже не будут для нас проблемой, — через минуту проговорила Розанна. — Что вы сделали? Изгнали их?

— Я не владею их магией, — ответил Мухобой.

— А чьей владеете? — фыркнула Сиена, рыская взглядом по полкам в поисках напитков для очередного коктейля.

— Что вы сделали с духами? — не отступала Розанна, не давая увести беседу в сторону.

— Мы договорились.

— Договорились?

— Договорились. Они не будут вам мешать.

— О чём же вы сумели с ними договориться? — удивился Пуласки. — Что вы могли предложить им взамен за них, если мы верно поняли ваши слова, согласие на небытие?

— Надул их, вот и все, — рассмеялась Сиена. — Осудил духов на смерть и жизни! Хе-хе-хе!

Зеленый Ясь погрозил ей кулаком.

— Вы пошли на Дракон и договорились о том, что духи покинут Моррисон? — уточнила Розанна.

— Правильно ли я понял? — забеспокоился Пуласки, поспешно отодвигаясь к самому бару. — Он приполз сюда прямо с Дракона?

— Ага, — поддакнула развеселившаяся д'Аскент.

— У кого-нибудь есть при себе счетчик Гейгера?

— О Господи! — Зеленый Ясь вскочил со стула, перевернув его, и прыгнул в угол. — Розанна, ты его не провелила?

— Понимаешь, как-то так получилось... — смутилась Розанна.

— Все — вон! — рявкнул Зеленый Ясь, пятаясь к двери.

— Горит, что ли... — пробормотала Сиена, осторожно сползая со стойки бара, но не выпуская бутылку.

Мухобой смотрел на них совершенно равнодушно, словно даже собственная жизнь была ему полностью безразлична. Вскоре он остался один. Розанна вышла последней.

Долго, очень долго — десять, пятнадцать минут — он сидел неподвижно, спиной к прозрачной стене. Гендрикс уже коснулся краем диска склона долины, тени выросли, превратились в пятна бездонной тьмы. Кто-то ходил по газону, посвистывая и махая рукой на пса, вынюхивающего что-то вдоль бордюра. Рука Мухобоя приблизилась к оконной плите плексигласа, пошевелились пальцы, словно пы-

таясь дотянуться до ее поверхности вопреки остальному телу, вопреки самой руке. Но нет, рука упала. На лице — пустота.

Снова ночь. Но другая, почти полная. Гендрикс — воздушный шар черной пустоты с полоской кармина, криво приклеенной к ободку дуги. Широкополосные лазеры были в поселок с вершин четырех стометровых мачт. Теперь для большинства людей как раз началась активная пора биодикла, и по территории поселка сновала масса народу. Остановившись в широко распахнутых дверях переходного холла, ван дер Крёге глубоко вздохнул. Картина этого неба была для него как аромат родного дома.

— Ого-го... вот это чудовище! — Зеленый Ясь, перестав отстукивать макрокоманды на прикрепленном к поясу эргоплейдере, обходил огромный груз платформы.

— Подвесим сателлиты над Драконом, Ясь, — не обворачиваясь, ответил ван дер Крёге. — Со следующей переброской придут первые модульные экскаваторы. Надо будет сначала собирать «Молох». Клаймор расщедрился. Конец Дикому Западу, пора доставать абаки. Сюда двинется вся добывающая промышленность. Может, даже откопает труп Мухобоя. Ну, чего ты гогочешь?

— Он вернулся.

— Шутишь? — обернулся к нему ван дер Крёге.

— Говорит, покончил с проблемой духов.

— Покропил святой водицей?

— Заключил какой-то договор. Они больше не будет появляться. В чипе, который пошел параллельной платформой, мы отослали рапорт на эту тему. Мой, Пуласки и Розанны, а также самого Мухобоя.

— Розанна здесь?

— Должна быть. Крачик летит на Флаги только через несколько часов.

Ван дер Крёге несколько секунд размышлял.

— Присмотри, чтобы все сняли и сложили, — приказал он наконец Зеленому Ясю. — Позвони Сиене, пусть начинает подготовку к запуску. Не в долине, конечно, под Карлами или на Урочище, поторопи Чико с картой Дракона. Он может закончить ее на основании орбитального сканирования. Только скажи Сиене, пусть заменит модули в сателлитах. И попробуй поймать Джонса относительно второго ангара Прохода у Дракона, подробные данные о его размещении и возможной передвижке должны пойти через неделю, и я не имею ничего против, если к этому времени он уже будет стоять там вместе с пусковыми установками и экранами. Кулей пусть задаст компьютеру оптимизацию трассы от нас к этому ангару. С сегодняшнего дня мы Моррисон-Один, а ангар Джонса — Моррисон-Два. После первого сателлита начнем дублировать систему связи. Канзи и Мэри Вторая уже, думаю, зажарились до угольков, поторопи их относительно акций и английской травки в соответствии с параметрами «Sunny Village Beta». Джонс сразу после ангара возьмется за домики для горняков и остальное, как записано в проекте. Понял?

— Jawohl, mein Führer!*

Ван дер Крёге начал спускаться с холма. Инстинктивно отыскал взглядом крышу своего дома, затерявшуюся среди бледной зелени. Лазеры отбрасывали от Петера черные тени в четыре стороны чуждого мира; была и пятая, очень слабая, не сочетающаяся с остальными — тень от Гендрикса. Чуждые планеты, чуждые солнца, чуждые небеса. Есть в этом что-то стыдливое, неприличное; он не

* Так точно, мой фюрер! (нем.)

мог сказать что. Проходил мимо людей, приветствовал их кивком, движением руки, улыбкой, шуткой. Подчиненные не питали к нему неприязни. Его метод защиты от ужасающего одиночества руководителей, святых и тиранов основывался на абсолютном освобождении от комплекса комичности; даже когда он выгонял кого-либо с Моррисона в дисциплинарном порядке без единого цента в кармане, это воспринималось не как проявление хамского презрения и зазнайства, а самое большее — как обычная человеческая подлость. Он держал дистанцию. И вот это-то и было настоящей грубостью, и как говорится, «нос кверху». Таким «нос кверху», которого не сломает никакая клевета и пересуды, не коснется никакая насмешка. Он был в безопасности. Он верил в себя. Потому-то так хорошо понимал Клаймора: по сути, они не отличались ничем, кроме исполняемых функций. У него даже мысли не возникало подавать в отставку. А Розанна знала; Розанна знала прекрасно. За последние два года ей ни разу не удалось по-настоящему вывести Петера из себя. Он был недосягаем. Все понимал и прощал. На крик отвечал улыбкой: не требовал и не отказывал. Она во всем винила работу. И была права. Чуждые планеты, чуждые солнца, чуждые небеса. Он это любил. Он мог прикрыть глаза и минутами просто вдыхать аромат мира. У каждого — свой собственный, как у женщин. У каждого свои тайны, свои страхи и надежды. Ступая по земле, по которой еще никто не ступал, любуясь пейзажами, которых еще не коснулся ничей взгляд, пересекая страны, еще никем не названные, даря смерть или жизнь существам, еще никаким богом не окрещенным, — он получал дары, за которые воистину не было слишком высокой цены. Однако в этом, несомненно, есть что-то необычное, что-

то противоестественное. Он не должен был. Не должен. Незаметно подсмотренное лишает чистоты сам факт его обнаружения. Проходы нарушают порядок Вселенной. Он не мог дать этому более точного определения. Когдато он рассказал об этом Розанне, но та только посмеялась. Он свел все к шутке.

Сейчас он вошел сзади, через сад; деревья зашептались за ним. Ее не было ни в салоне, ни в кухне. Она была в лаборатории.

— О Мрозовиче знаешь? — спросила она, не отводя глаз от экрана.

— Знаю, что он вернулся. Что за договоренность?

Она коротко передала вчерашнюю беседу с Мухобоем.

— И он действительно не был облучен?

— Нет. Не был. Неполных четыре бэра. Видимо, остерегался.

Ван дер Крёге присел на табурет у стены, подсвеченной диорамой, изображающей секционированное дерево познания.

— В этом что-то есть, — прошептал он, наклонившись и упервшись локтями в колени. — В этом что-то есть. Я чувствую. Я читал его документы.

Розанна повернулась к нему вместе с креслом.

— Успокойся. Я говорила тебе: у меня относительно него скверные предчувствия. Не нравится мне история с духами. Не знаю, лжет ли он, но ведь и всей правды не говорит. И даже не скрывает этого.

— Вот именно. Тут есть какая-то тайна. — Петер надул щеку, чмокнул. — Это крутится у меня на кончике языка. Черт побери! Одно словечко — и угадаю!

— Ты глухой, что ли? — обиделась Розанна. — Я же прошу тебя отпустить его. Он опасный тип, псих. Даже ты

это признаешь. Не имеет значения, действительно ли он завершил историю с духами или нет. Все равно...

— Вот тут ты ошибаешься, — сухо хохотнул Петер. — Это важно, и еще как! Клаймор...

— Плевать мне на Клаймора! — Розанна встала, подошла к нему. — Мне важен ты.

— Приятно слышать.

Она схватила его за руку.

— Он пришел прямо сюда. Это страшный человек. Перестань мучиться. Мне приснилось...

Он отнял руку.

— Прости, пожалуйста, но сейчас мне надо кое-что обдумать. Вертится у меня в мозгу... То, что он сказал о духах. Договор, да, договор... — Петер поднялся, чмокнул жену в щеку, но глядел куда-то в сторону, наморщив лоб. — Если это действительно... и если вправду магия...

Она закусила губу. Отступила, указала вечным пером на диораму.

— Видишь?

Он взглянул:

— О чём ты?

— Дерево познания.

— Ну?

— Я просмотрела оба фильма, твой и Малика. Загрузила компьютер задачей на имитацию накладывающихся вероятных радиаций. Мне следовало подумать об этом раньше. — Она подошла, постучала по диораме. — Видишь?

От изумления он даже присел.

— От заразы!

Она кивнула.

— Сколько?

— С двенадцати тысяч.

— Так быстро? Невероятно.

Она грустно улыбнулась:

— Дракон.

Он хлопнул себя раскрытой ладонью по темечку.

— Дракон! Господи Иисусе! Ну конечно, Дракон. При таком постоянном облучении. Фабрика интеллекта. Розанна, — он раскинул руки, — я буду целовать следы твоих ног.

— Достаточно сами ноги.

— Это как бесплатное приложение. Хм, ты проверила, все ли они идут от одной ветви?

— Обратному нет доказательств. Прежде всего — проблема скорости перемещения. Духи двигаются со скоростью нескольких сантиметров в секунду, но не знаю, в какой степени это их собственная мобильность, а в какой, я бы так сказала, *spiritus movens**. Деревья познания, те, что с юга Дракона, белая разновидность, уже теперь делают метр в сутки. Следовательно, на пути к интеллекту происходит переход к полной хищнической специализации, исчезают характерные свойства евглоидальности; честно говоря, это меня поразило. Они гораздо массивнее теперешних деревьев, и если только ты посмотришь внимательнее...

Он резко вскочил, принял размахивать руками, словно возбужденный мальчишка.

— Не говори! Не говори! Иначе у меня убежит аналогия. Я должен подумать.

Он вышел из лаборатории, из дома, по привычке присел на ступенях, ведущих в сад. Сквозь окно она видела только его ноги, однако ей не было нужды смотреть, чтобы представить себе выражение его лица. Она снова присела к экрану, рассеянно глядя прямо перед собой, не замечая графиков

* движущий дух (лат.).

и символов. И она не знала, что делать с руками. Потом закинула ногу на ногу, закурила и горько улыбнулась стене:

— Стервец.

Тем временем Петер сидел на ступенях и пытался поймать разбегающиеся мысли. Что-то мельтешило на грани ассоциаций. Он крутил головой, стискивал кулаки. Запищал телефон, он выключил его. В отчаянии взглянул на диск Гендрисса, разделенный терминатором на огромную черноту и маленький пурпур. Все это походило на попытку поймать дым.

«Так что уже не себе до псевдохлорофилла», — проговорило ближайшее дерево голосом Розанны.

— Заткнись, — автоматически прикрикнул на него ван дер Крёге.

«Потаскуха пусть кретинка! А выглядит куда там верно? Если дам тебе по морде», — проговорило оно еще тремя различными голосами.

В ответ разболтались два соседних дерева.

«Французу прямо-таки половинка» (Зеленый Ясь). «Ну да я ему гамак из задницы повырываю» (Сиена). «Междужабой» (не распознал). «Подай-ка мне» (Розанна). «Хехе-хе я тебя прошу» (он сам).

«И бутылка рома!» (фон Принц). «Ароматическим углеводородом» (Мэри Вторая). «Ааааааааа» (не распознал). «Клеп хасид Фаренгейта» (Зеленый Ясь). «Как же, жди» (Розанна).

«Зеленый как раз вполне хр-р», — ответило голосом Петера помеченное номером пять дерево, которое и начало весь диалог.

В ответ восьмой номер расплакался голосом Розанны, а номер четырнадцатый пукнул. Номер пятый издал свист, напоминающий выпускаемый пар. Шестнадцатый ответил да-

леким раскатом грома. Ван дер Крёге сообразил, что эта стохастическая беседа начинает проявлять серьезные ономатопеические искажения, и продекламировал фрагмент из Уильяма Блейка, вставил Райнера Марию Рильке, добавил нецензурщины. Результат последовал незамедлительно.

«Чтоб тебя с антены Вашингтоном! В Швейцарию вообще прибить этого Петросо чтоб его».

«Всегда что ли конечно тебя ты уделал? Отделался отвращением и все по доброте своей? Однако ж примерно половина наполовину».

«Страх страх одновременно станции которому с тридцать пять бабенок, почему у тебя такие кредитные показатели выше. Ух! Зараза какая-то».

«Сделано этак дешево выплюнь это слово ха-ха-ха деревьям познания теперь времени идиотским может даже *frutti di mare**».

«Иинии не плуй мне на ноги экземпляром номер наоборот взаимно не в рамках».

«Придумал ты, — тут пошел фрагмент на французском, вероятнее всего, в исполнении Сиены. — По лбу».

— «Я люблю вечерами бродить по окраинам города, вдоль границ нашей сомнительной вольности, — начал Петер, чтобы подлить масла в огонь. — Наблюдаю сверху за тем, как копошатся армии их мира, слушаю гул барабанов...»*

Это явно подхлестнуло деревья познания под номерами пять и девять.

«Йо йо йо верхним слоем стратосферы словно овечки на лужайке. Что? Все кости тебе мх-м. Отто фон Бисмарк сколько? Категорически».

* дары моря (ит.).

** Строки из «Донесения из осажденного города» Эбигнева Герберта.

«И долго так? Скоро, — тут послышался кашель, — начихать мне без вазелина за старт. шлепок нейронные клеточные сети горячо и».

«Кто фактически этим Мрозовичем водит жертвы на кишках видела тебе что-нибудь? Конец любви запись паразит плановый номер».

У Петера отвисла челюсть. Он затаил дыхание. Деревья продолжали свой диалог, но он уже не обращал на них внимания. Смотрел ничего не видящими глазами на один из малых спутников Гендрикса.

— Но ведь это невозможно, — прошептал он через секунду. Тряхнул головой. Встал. — Это безумие.

Вспомнил о дереве, потянулся к стоящему у ступеней холодильнику и бросил в ветки пятого номера самый большой кусок моррисоновского «мяса». Дерево втянуло мясо, зашелестело, слегка скорчилось и тут же повторило последнюю произнесенную Петером фразу.

Впрочем, ван дер Крёге не слушал. Он уже выходил из сада. Розанна это видела. Затянулась дымом, сжала губы. Через минуту отвернулась от окна, выключила экран, выбросила окурок и, перейдя в кухню, принялась готовить салат. Дому приказала включить Вивальди, тут же изменила решение и выбрала Генделя, потом Мендельсона. Однако музыка ничуть не успокоила ее.

По собственной невнимательности она порезала палец. Потекла кровь. Розанна выгнулась и рубанула ножом по столешнице. Кусочки разрубленного перца полетели в разные стороны. Она глубоко вздохнула, прислонилась спиной к холодной стене. Нервы — никуда, даже дыхание и то злое. Она подняла кровоточащий палец. Видела, как красные капельки тяжело ударяют о стол. Побледнела.

— Господи! Он мертв. Он его убил.

* * *

Ван дер Крёге направился к домику Мухобоя напрямую, и правильно сделал, потому что сумел подойти к ряду невысоких строений с тыла, а там на газоне сада, частично заслоненного деревьями, нагой Мухобой предавался своему тайному *tai chi shuan*.

Ван дер Крёге остановился, как только понял, что Мухобой заметил его: тот замер на мгновение, не завершив движения, потом опустил руки и, выпрямив полусогнутые в коленях ноги, повернулся к Петеру лицом. Это лицо, учитывая расположение мачт с лазерами, было посечено на многочисленные маленькие и большие участки кипящего свечения и холодные тени, словно облитая чрезмерно резким светом гранитная статуя. В этот момент Петер почти понял мрачные предчувствия Розанны, потому что дело здесь было вовсе не в самой физиономии Мухобоя, ее форме, выражении — а в полной неподвижности и мертвенностии мрачного лица. Актерам приходится долго и упорно обучаться этому, и все равно им не удается достичь подобной змеиной неподвижности тела. Слишком многое сложнейшим образом пересекающихся нитей связывают человеческую психику и сому, любая мысль, признак мысли, подсознательные аналогии, движение памяти — и вот уже дрогнули губы, затрепетали ресницы, шевельнулись пальцы, почти незаметно дернулись глазные яблоки и покатили цунами движений десятков мимических мускулов. Это невозможно сдержать. Как лесной пожар.

Но не у Мухобоя.

— Вы вернулись.

— Мы вернулись оба.

Ван дер Крёге пытался заглянуть Мухобою в глаза. Один был скрыт мраком, второй залит светом.

— Чем вы заплатили духам деревьев?

— Не все ли вам равно? — ответил Мухобой достаточно спокойно, чтобы мягким тоном снизить грубость самих слов.

— Чем-то должны были. Но вы солгали, сказав, что они убрались. А то и вообще лжете во всем.

— Я никогда не лгу.

— Неужто? — удивился ван дер Крёге, медленно направляясь к заднему входу в дом. — Достойно удивления. Тогда скажите, кто вы такой?

Мухобой загородил ему дорогу.

— Что вам надо?

— Кто вы такой? — повторил ван дер Крёге. — Вот что мне надо.

Мухобой взглянул на него равнодушно с высоты своих двухсот двенадцати сантиметров.

— Президент Клаймор нанял меня, чтобы я ликвидировал проблему духов. Я ликвидировал. Даю вам слово: больше вы их не встретите, они ни в чем не будут вам мешать. Чего вы еще от меня хотите?

Петер невольно улыбнулся:

— И вы также дадите слово, что все, рассказанное вами о духах, — правда?

— Даю.

— Значит, единственный торг, который вы могли вести с ними относительно их ухода с Дракона, должен был исходить из обещания противодействовать какому-либо дальнейшему вмешательству людей в развитие жизни на Моррисоне, то есть *de facto* на обещании удалить нас со спутника, ибо я не представляю себе, чем можно перебить при торговле цену права на жизнь для обладающего интеллектом существа. Я прав? Прав. Значит, вы солгали уже по крайней мере дважды: раз им, а раз — мне, утверждая, будто никогда не

ажете. Ну? — Ван дер Крёге ткнул Мухобоя в оголенный торс выпрямленным указательным пальцем. — Теперь, вот теперь, дайте мне слово.

Мухобой мягко оттолкнул его от себя на расстояние вытянутой руки, однако сам не сдвинулся с места.

— Я ни разу не давал ложных обещаний, — сказал он. — Никогда не предпринимал ничего такого, что противоречило бы моим истинным намерениям. Я никогда не нарушал данного мной слова. Я никогда не обещал, не брал на себя обязательств и не свидетельствовал вопреки возможности. Такова моя честь. Такова моя... мой культ. Вы пытаетесь меня оскорбить.

— Культ, да? — Ван дер Крёге облизнул губы, отступил еще на шаг. Он начинал чувствовать дрожь возбуждения. — Значит, все-таки так. Я это вижу. Ты. Ты! — Он погрозил Мухобою сжатым кулаком. — Ты действительно намерен сдержать данное духам слово. Хотя это явно противоречит намерениям Клаймора; но ведь за что он заплатил, то ты и выполнил. Правда? Правда? Магия. Хрен это, а не магия. Ты — не Мрозович. — Здесь он замолчал, чтобы посмотреть, какое впечатление произвело на Мухобоя его замечание, однако реакции не дождался. — Как называлась та планета шейха? И вообще — была ли это планета? А? Полдня ушло на твою реанимацию. Это время необратимого изменения. Я знаю. И ты знаешь, что я знаю. Заклинаю тебя твоей честью, твоим культом, чем бы он ни был в действительности, заклинаю тебя, скажи: кто ты?

Мухобой молчал.

Ван дер Крёге удовлетворенно усмехнулся:

— Ты не думал, что кто-то тебя раскусит, да? Так вот — ты ошибся. Скажи, как выглядело существо, которым ты был при жизни? К какой расе принадлежало? Из чего было

построено? Углерод? Кремний? Германий? Что-то еще? Существует ли еще его род, или ты отыскал Мрозовича на каком-то планетном некрополе вроде Рая? А может, ты знаешь Рай, может, знаешь... Зачем тебе «Чайник» и другие артефакты? Ты умеешь ими пользоваться? Что ты знаешь об их создателях? Что знаешь о «Филантропах»? Сколько времени прошло с момента возникновения твоего вида? Сколько — с момента твоей смерти? Каковы твои намерения? Говори!

— Что меня выдало? — тихо проговорил после недолгого молчания Мухобой.

Ван дер Крёге рассмеялся.

— Уверенность пришла только сейчас. Но что тебя выдало... Из-за чего я начал подозревать... Секс тебя выдал, дорогой мой. Да-да. Секс, чувство юмора, искусство — предполагаю, это те области, с которыми у тебя основные сложности, поскольку ты не можешь их понять разумом, перевести на язык своей логики, мгновенно и верно отреагировать. Здесь в основном надо полагаться на инстинкт, а твой инстинкт ведет тебя на бездорожье. Поэтому ты ничего не делаешь. Или делаешь скверно. Кто мог предполагать, а? Печально. Достаточно подослать к тебе этакую Сиену — и все станет ясно.

Мухобой молчал.

— Ну и что ты теперь будешь делать? — фальшиво озабочился ван дер Крёге. — Ты уже не можешь сдержать слова. Исключительный контроль над Проходом, а значит, и над всем Моррисоном осуществляю я, и если я того захочу, ты никогда не вернешься на Землю. А если захочу другого, вернешься арестантом или официально погибнешь где-то в космосе. Даже если б ты оставил у нотариусов заявление, тяжелейшим образом обвиняющее компанию, — твои адвокаты сломают себе зубы на несовместимости запроходного права; я это знаю, потому что проконсультировался.

Пойми — ты обречен на мою милость и немилость. Но я не хочу причинять тебе зла. Я хочу лишь одно: знать. Узнать секреты твоей расы, секреты твоей жизни и смерти, тайны нечеловеческой магии... Понимаешь.

Мухобой стоял и смотрел. Вокруг него начали сгущаться тени. Свет снаружи затуманился, поблек даже серп Гендрикса, даже звезды. Похолодало. Движение воздуха почти прекратилось.

Свет лазеров, доходящий до сада, как бы померк, потерял силу.

— Ну-ну, — забеспокоился Петер. — Лучше не выделяй такие фокусы. Розанна знает, куда я пошел...

Темно, все темнее...

— Ей-богу, вот уж не думал, что ты способен на такую примитивщину, — фыркнул ван дер Крёге, краем глаза наблюдая за тем, как между тенями проплывают какие-то овальные, не вполне материализовавшиеся сгустки, размерами и формой напоминающие молодых акул.

Мухобой продолжал молчать и по-прежнему стоял неподвижно, однако постепенно все это термовизуальное представление размылось и исчезло без следа.

— Та-ак. Уже лучше, — буркнул Петер, усмехаясь себе под нос. — Интересно: ты его убил или только заморочил? Может, где-то еще сохранилась долька Мрозовича? Ведь все это — лишь одержимость, не что иное. Эй, Мрозович, ты меня слышишь? Слышишь меня? Подай какой-нибудь знак! Ты еще тут? Явно — нет. — Ван дер Крёге почесал подбородок, наклонил голову, всмотрелся в неподвижного мужчину, щуря глаза и слегка надувая губы. Медленно полез в карман за телефоном. — Пора бы уж решиться, а? Ну, выбирай. Я тебе сказал: я не хочу причинять тебе вреда. Только удовлетвори мое любопытство. Сам понима-

ешь, что немного. Слова, данного духам деревьев, ты в любом случае сдержать не можешь. Клаймор уже развел пары; но ты не виноват, ты поклялся, искренне веря в сказанное. Ну? Решайся, пока я не врос здесь в землю. Ну? Мистер Мухобой?.. Кстати, откуда такое имя — «Мухобой»? А? Так тебя прозвали или же...

— Потому что я убиваю мух, — сказал Мухобой и, не проделав ни малейшего движения, прикончил ван дер Крёге.

В тишине и полумраке моррисоновской ночи тело беспомощно повалилось на газон. Пустые глаза, раскинутые в стороны руки, неестественно согнутые ноги, слюна изо рта, кровь из ушей...

Мухобой вернулся домой. Двигаясь, он тихонько нашептывал отдельные слова и фразы, как-то нескоординированно двигал руками и головой, словно пародируя свое вечернее *tai chi*. Гендрикс заходил, заканчивался день на Моррисоне, остались только четыре тени от лазеров. Поселок жил своей жизнью, не скоординированной с моррисоновской: лаяла собака, вдали Милей Дэйвис грустно наигрывал на трубе, в небе таращел идущий на посадку конвертоплан. Мухобой массировал себе лицо, продевая под прикрытием руки жуткие гримасы.

Его увидела жена и, посасывая порезанный палец, вышла навстречу.

— Господи, я уже была уверена, что он тебя прикончил! — Она подтолкнула Петера к стене и, притянув за рубашку, жадно поцеловала. — Черт побери, Петер, здесь что-то надо менять, мои нервы долго не выдержат!..

— Изменим, — шепнул Мухобой, перебирая пальцами тонкие волосы женщины, а другую руку двигая вверх по гладкой коже ее бедра. — Изменим.

Содержание

Анджей Сапковский	5
СЛУЧАЙ В МИСЧИФ-КРИК	7
В ВОРОНКЕ ОТ БОМБЫ	71
БОЕВОЙ ПЫЛ	118
ТАНДАРАДАЙ!	135
Яцек Собота	181
СТРАДАНИЯ ГРАФА МОРТЕНА	183
ГОЛОС БОГА	202
ЭТО ТЕБЕ ЗАЧТЕТСЯ	226
Томаш Колодзейчак	251
ПРИКОСНОВЕНИЕ ПАМЯТИ	253
НОЧНОЙ КОНЦЕРТ	290
Яцек Дукай	297
МУХОБОЙ	299

Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около 50 издательств и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию более 10 000 названий книг самых разных видов и жанров.

Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов.

В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости:

Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

**Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и
получить по почте в любом уголке России. Пишите:**

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших **фирменных магазинах**:

Москва

- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- м. «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22
- м. «Таганская», м. «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- ТК «Крокус-Сити», 65-66-й км МКАД, тел. 754-94-25
- м. «Сокольники», м. «Преображенская площадь», ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- Зеленоград, корп. 360, 3-й мкрн, тел. 536-16-46
- ТК «Твой дом», 24-й км Каширского шоссе, «Книги на Кашире»

Регионы

- г. Архангельск, 103-й квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182) 65-44-26
- г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112) 44-10-95
- г. Краснодар, ул. Красная, д. 29
- Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1/Волжская наб., д. 107
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- г. Череповец, Советский пр., д. 88а, тел. (8202) 53-61-22
- г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/61, тел. (8312) 33-79-80
- г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 38а, тел. (0732) 13-02-44
- г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 15, тел. (8-86-32) 35-99-00
- г. Новороссийск, сквер Чайковского
- г. Орел, Московское ш., д. 17
- г. Тула, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 18

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Справки по телефону:

(095) 215-01-01, факс 215-51-10

E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству АСТ.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
 правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

ПОЛЬСКАЯ ФЭНТЕЗИ

Салковский А.

Собота Я.

Колодзейчак Т.

Дукай Я.

Художественный редактор О. Аласкина

Компьютерный дизайн: А. Сергеев

Технический редактор О. Панкрашина

Младший редактор А. Рычкова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение

№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

ООО «Издательство АСТ»

368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

Наши электронные адреса:

WWW.AST.RU

E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано по заказу ЗАО НПП «Ермак»

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
“Самарский Дом печати”

443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам



В.Д. Польская
Фэнтези

Цена(руб)

20

2 023137 600026



ISBN 5-17-015041-5

9 785170 150410



ПОЛЬСКАЯ ФЭНТЕЗИ

Поклонники польской фэнтези!

**Вы и вправду верите, что в этом жанре все
«началось с Сапковского и им же заканчивается»?**

Вы не правы!

Хотите проверить? Пожалуйста!

Перед вами — ПОЛЬСКАЯ ФЭНТЕЗИ как она есть.

**Повести и рассказы — озорные и ироничные, мрачновато-
суровые, философские и поэтичные, ОЧЕНЬ разные —
и ОЧЕНЬ талантливые.**

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ФСТ